

Толстой представляется мне гигантом  
в области писательского искусства,  
но еще большим гигантом  
в искусстве гуманизма.

У. Сароян



ЯСНОПОЛЯНСКИЙ  
СБОРНИК \* 1988















«...НЕТ, ЭТОТ МИР НЕ ШУТКА, НЕ ЮДОЛЬ ИСПЫТАНИЯ ТОЛЬКО И ПЕРЕХОДА В МИР ЛУЧШИЙ, ВЕЧНЫЙ, А ЭТО ОДИН ИЗ ВЕЧНЫХ МИРОВ, КОТОРЫЙ ПРЕКРАСЕН, РАДОСТЕН И КОТОРЫЙ МЫ НЕ ТОЛЬКО МОЖЕМ, НО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ПРЕКРАСНЕЕ ДЛЯ ЖИВУЩИХ С НАМИ И ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСЛЕ НАС БУДЕТ ЖИТЬ В НЕМ».

*Лев Толстой*

# ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СБОРНИК 1988



**СТАТЬИ  
МАТЕРИАЛЫ  
ПУБЛИКАЦИИ**

ТУЛА  
ПРИОКСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1988



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

К. Н. ЛОМУНОВ (главный редактор), Н. И. АЗАРОВА, Э. Г. БАБАЕВ,  
А. М. ДРИБИНСКИЙ, В. С. КАРЛОВ, В. А. КОВАЛЕВ, В. А. ЛЕБЕДЕВА,  
Л. М. ЛЮБИМОВА, Н. П. ПУЗИН, А. И. ШИФМАН, Б. М. ШУМОВА.

*В этой книге используются фотографии из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого. Публикуя их, издательство стремится показать редкий фотоматериал из жизни великого писателя.*

Художник М. Г. Рудаков

**Яснополянский сборник 1988:** Статьи, материалы,  
Я 82 публикации.— Тула: Приок. кн. изд-во, 1988.—255 с., ил.

В пер. 1 р. 50 к. 10 000 экз.

Настоящий сборник характерен значительным количеством статей, освещающих актуальные проблемы советского толстоведения в свете решений XXVII съезда КПСС.

Большое место в книге занимают разделы «Толстой и искусство. Толстой в фотографиях» и «Музеи Толстого в СССР», содержащие ранее неизвестные сведения о богатейших фондах толстовских музеев, об их новых приобретениях.

Издание рассчитано на литературоведов, студентов и преподавателей гуманитарных вузов, на всех, кто интересуется жизнью и творчеством великого русского писателя.

4603010102—61  
я ————— 49.88  
М 154(03)—88

83. ЗР1

# СОДЕРЖАНИЕ

От редколлегии

7

## К 160-летию со дня рождения Л. Н. Толстого

*К. Н. Ломунов.* Толстой с нами

9

*А. А. Демченко.* Чернышевский и Толстой в 1856—1857 гг.

19

## Толстой и о Толстом

*Л. Н. Толстой.* «Сто лет». Черновой набросок начала романа (публикация  
Т. Г. Никифоровой)

32

Новая рукопись «Сказки об Иване-дураке...» (публикация

Л. Д. Громовой(Опупьской)

36

*В. А. Громов.* К истории запрещения речи Л. Н. Толстого об И. С. Тургеневе

43

*С. Ф. Юльметова.* Лев Толстой и «Вехи»

54

## Проблемы творчества Л. Н. Толстого

*Э. Г. Бабаев.* О единстве и уникальности «Войны и мира»

67

*А. И. Шифман.* О своеобразии языка Толстого-публициста

85

*В. И. Немцева.* К спорам о смысле эпиграфа к роману «Анна Каренина»

93

*В. З. Горная.* «Крейцера соната» в восприятии современников писателя

105

*М. Л. Калугина.* Л. Н. Толстой об А. П. Чехове (по «Яснополянским запискам»  
Д. П. Маковицкого)

115

## Толстой и искусство. Толстой в фотографиях

*А. С. Дробыш.* Толстой в творчестве Е. Е. Лансере

120

*Л. В. Щербухина.* О художнике Л. Д. Крюкове и его миниатюрах

128

*Т. К. Поповкина.* Л. Н. Толстой в фотографиях Д. А. Олсуфьева

132

*О. Е. Ершова.* Юбилейный фоторепортаж из Ясной Поляны

140

*М. Г. Логинова.* Фронтовые фотографии Павла Трошкина

153

*Е. Г. Корнаухова.* Ценная коллекция

159

## Дневники и мемуары

Из воспоминаний С. Л. Толстого об отце (публикация Н. П. Пузина)

161



Письма Н. И. Толстого к жене (публикация Н. И. Азаровой)  
170

А. Н. Полосина. Неизвестные дневники А. А. Толстой  
178

М. С. Бибикова. Воспоминания (публикация Н. А. Калининной)  
183

Ф. А. Страхов. Две поездки в Ясную Поляну (публикация Л. С. Дробат)  
190

### **Музеи Толстого в СССР**

В. Ф. Булгаков. Дом Толстого в Ясной Поляне (публикация Н. А. Никитиной)  
201

Т. В. Полякова. Письменный стол Л. Н. Толстого  
209

З. Н. Иванова. Новые поступления в отдел рукописей  
218

И. К. Грызлова. Драгоценные экспонаты  
222

Т. Т. Бурлакова. Яснополянскому передвижному музею — 10 лет  
226

### **Материалы и сообщения**

Б. С. Сладковский. Домашние врачи Толстого  
232

Г. М. Поляков. Толстой в доме у И. И. Озолина  
243

С. С. Корыстин. Л. Н. Толстой и Э. Кросби (из истории переписки)  
248

Памяти Э. Е. Зайденшнур  
253

Выход в свет настоящего, *семнадцатого*, выпуска «Яснополянского сборника» совпадает со знаменательной датой — 160-летием со дня рождения Л. Н. Толстого. В сборнике освещены актуальные проблемы советского толстоведения в свете решений 27-го съезда КПСС.

Великое наследие Толстого не стареет. С каждым годом оно все больше приближается к нашей современности, помогая в решении важнейших идейно-нравственных проблем. Толстой также наш могучий соратник в борьбе за мир, за дружбу между народами, против войны, реакции и мракобесия.

Неразрывной связи Толстого с современностью, непрекращающейся идейной борьбе вокруг его наследия посвящена статья К. Н. Ломунова «Толстой с нами», исследования С. Ф. Юльметовой «Лев Толстой и «Веки», Г. Н. Ищука «Толстой о читателе и читательском восприятии» и некоторые другие. Эта тема звучит и в статье А. А. Демченко «Чернышевский и Толстой в 1856—1857 гг.», приуроченная к 160-летию со дня рождения выдающегося критика и революционного демократа.

Как всегда первая рубрика сборника «Толстой и о Толстом» открывается вновь найденными текстами писателя. Таковы черновой набросок незавершенного романа Толстого «Сто лет» (публикация Т. Г. Никифоровой) и неизвестный вариант рукописи «Сказки об Иване-дураке» (публикация Л. Д. Громовой-Опульской). Ценность этих документов, как и публикаций А. Н. Полосиной «Неизвестные дневники А. А. Толстой», Н. А. Азаровой «Письма Н. И. Толстого к жене», Н. П. Пузина «Из воспоминаний С. Л. Толстого об отце» и др. — в их подлинности и новизне. Подобные впервые публикуемые документы расширяют наши представления о замыслах писателя, об окружавшей его среде. К этому разделу примыкают публикации Л. С. Дробат и Н. А. Калинин в разделе «Дневники и мемуары», воспроизводящие воспоминания близких друзей писателя.

Традиционный раздел «Проблемы творчества Л. Н. Толстого» содержит ряд исследований художественных произведений и публицистики писателя, его связей с крупнейшими литераторами его времени. Этим темам посвящены статьи Э. Г. Бабаева, А. И. Шифмана, В. И. Немцевой и др. Авторы статей — частью молодые толстоведы — «прочитывают» Толстого по-своему, свежими глазами — и в этом интерес и своеобразие этих разнообразных по содержанию работ.

Кроме уже названных разделов, большое место в сборнике занимают



рубрики «Толстой и искусство», «Толстой в фотографиях», «Музеи Толстого в СССР», «Материалы и сообщения», содержащие ранее не известные сведения о богатейших фондах толстовских музеев, об их новых приобретениях, а также другие материалы, обогащающие наши знания о жизни и творениях великого художника.

*К. Н. Ломунов*

## ТОЛСТОЙ С НАМИ

### 1

Сегодняшний мир живет в сложное, тревожное, опасное время: критической черты достигла гонка вооружений, над человечеством нависла реальная угроза всеобщего самоуничтожения в пожаре ядерной войны.

Семь десятилетий назад В. И. Ленин говорил о том, что милитаристы крупнейших капиталистических стран, развязав мировую войну, используют «самые могучие завоевания техники», ведя дело «к массовому истреблению миллионов человеческих жизней». Они добиваются «обращения всех производственных средств на служение делу войны». Война между передовыми странами, предупреждал Ленин, «неминуемо поведет,— к подрыву самих условий существования человеческого общества»<sup>1</sup>.

Кто и что могло помешать империалистам осуществить их зловещие планы в то время, когда были сказаны Лениным эти поистине пророческие слова?

Только одно: победа социалистической революции в России. У человечества появилась надежда на то, что в мир пришла такая сила, которая остановит кровавую бойню и не даст ей возникнуть вновь.

Каждый наш школьник знает, что одним из первых декретов молодого Советского государства явился Декрет о мире.

«Окончание войны,— писал В. И. Ленин,— мир между народами, прекращение грабежей и насилий — именно наш идеал...»<sup>2</sup>.

Именно эти идеалы наш народ отстаивал в самой кровопролитной из всех когда-либо возникавших на земном шаре войн — второй мировой войне 1941—1945 гг. Для советского народа это была Великая Отечественная война, в которой решался вопрос о том, быть или не быть нашей Родине советской или впасть в порабощение к фашистским варварам.

Отстояв свою свободу, советский народ спас человечество от фашистской чумы, а народам ряда стран помог освободиться не только от нацистов, но и от «своих» поработителей. Так

впервые в истории возникло содружество свободных братских народов, вставших на путь социалистического развития.

Почти полвека над нашей Родиной и другими странами социалистического содружества — мирное небо. СССР, его союзники и друзья были и остаются главным гарантом сохранения мира на планете.

На своем историческом XXVII съезде Коммунистическая партия Советского Союза подтвердила верность ленинскому курсу мира и мирного сосуществования. «В условиях полной неприемлемости ядерной войны, — говорится в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии, — не конфронтация, а мирное сосуществование систем должно стать законом межгосударственных отношений»<sup>3</sup>.

В Политическом докладе Центрального Комитета партии убедительно обоснована мысль о том, что для позитивного решения этого вопроса существуют серьезные объективные факторы: «Мы реалисты и полностью отдаем себе отчет в том, что два мира разделяет очень многое и разделяет глубоко. Но ясно видим и другое: потребность решить насущнейшие общечеловеческие задачи должна побудить их к взаимодействию, пробудить невиданные еще силы самосохранения человечества»<sup>4</sup>.

С решением этих глобальных, общечеловеческих задач партия связывает разработанную ею программу перевооружения народного хозяйства на основе новейших достижений науки и техники.

На успешное решение этих задач громадное влияние оказывает человеческий фактор, главной, решающей силой ускорения становится живое творчество миллионов народных масс.

И вот здесь — в осознании исключительного значения человека в решении и глобальных и внутренних задач, вставших перед нашим народом на новом витке истории, — особая роль принадлежит искусству и литературе. В Политическом докладе ЦК КПСС их значение и задачи определены следующим образом: «Нравственное здоровье общества, духовный климат, в котором живут люди, в немалой степени определяются состоянием литературы и искусства. Наша литература, отражая рождение нового мира, вместе с тем активно участвовала в его становлении, формируя человека этого мира — патриота своей Родины, подлинного интернационалиста. Тем самым она верно выработала свое место, свою роль в общенародном деле».

В ответственный период истории, переживаемый нашей страной и всем миром, «возникает общественная потребность осмыслить время». При этом «ни партия, ни народ не нуждаются в парадном многописании и мелком бытокопательстве, в конъюнктурщине и делячестве. Общество ждет от писателя художественных открытий, правды жизни, которая всегда



была сутью настоящего искусства». (Выделено мною.— К. Л.)

Что же такое означает **правда**, утверждаемая настоящим искусством всегда и в наши дни в особенности? «Она в свершениях народа и противоречиях развития общества, в героизме и повседневности трудовых будней, в победах и неудачах, то есть в самой жизни, во всей ее многогранности, драматизме и величии. Только литература — идейная, художественная, народная — воспитывает людей честных, сильных духом, способных взять на себя ношу своего времени»<sup>5</sup>.

И в Политическом докладе Центрального Комитета, и в документах, принятых XXVII съездом КПСС, четко обозначены задачи в области культурного строительства, в достижении новых творческих высот литературой и искусством.

В новой редакции Программы партии, принятой XXVII съездом, сказано: «**КПСС придает большое значение более полному и глубокому освоению трудящимися массами богатств духовной и материальной культуры, активному приобщению их к художественному творчеству.** Последовательно руководствуясь ленинскими принципами культурного строительства, партия будет заботиться об эстетическом воспитании трудящихся, подрастающих поколений на лучших образцах отечественной и мировой художественной культуры. Эстетическое начало еще больше одухотворит труд, возвысит человека, украсит его быт»<sup>6</sup>.

В решении этой благородной задачи принимают энергичное участие не только выдающиеся писатели, ученые, артисты, но и все деятели народной интеллигенции, в том числе многочисленная армия музейных работников, которых известный советский писатель К. А. Федин называл удивительным, святым племенем страстных энтузиастов, бескорыстно преданных своему гуманнейшему делу. Перед теми из них, кому доверено хранение, исследование и пропаганда наследия гения русской и мировой литературы — Л. Н. Толстого, время ставит немало новых, сложных проблем и вопросов.

## 2

В грозные тридцатые годы, когда фашисты вынашивали бредовый замысел мирового господства, Горький обратился к художественной интеллигенции стран буржуазного Запада со знаменитым вопросом: «С кем вы, мастера культуры?» Люди старшего поколения, мы хорошо помним, как велико было воздействие этого обращения не только на интеллигенцию зарубежных стран, но и на всех честных людей земли, многие из которых испытывали в ту сложную пору чувство растерянности, не сразу определили свое место в борьбе за мир и демократию.

Недавно моему коллеге из Института мировой литературы

им. А. М. Горького АН СССР один развязный гость — американский журналист — задал вопрос: «А как бы Лев Толстой отнесся к Советской власти, доживи он до Октябрьской революции?» Мой коллега его спросил: «А вы читали статью В. И. Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции»? Прочитайте внимательно и найдете ответ на ваш вопрос. Толстой не отделим от своего народа, и народу принадлежит его наследие».

Не отличающийся начитанностью в русской литературе, да и в литературе своей страны, упомянутый американский журналист, разумеется, не подозревал, что, затеяв разговор о том, на чьей бы стороне был сегодня Толстой, он, в сущности, повторил горьковский вопрос, прозвучавший на весь мир более полувека назад: «С кем вы, мастера культуры?»

Не требуется больших усилий для того, чтобы установить, кто «подсказал» бойкому журналисту его «коварный» вопрос. Достаточно познакомиться с тем, что писали о Толстом такие соотечественники гостя из США, как «советологи» Глеб Струве, Эрнст Джон Симмонс, Марк Слоним и другие. Считая себя специалистами «по Толстому», они отвергали ленинскую трактовку его взглядов и творчества, поднимали на щит всё, что в наследии писателя относилось к прошлому, брали под защиту самую слабую часть его учения — проповедь непротивления злу насилием. «...Ленин, — утверждал Симмонс, — не придавал должного значения той важной роли, которую имело полное отрицание насилия в любой форме у Толстого. А это было краеугольным камнем всей доктрины»<sup>7</sup>.

Симмонса и других американских исследователей взглядов и творчества Толстого «не устраивала» ленинская характеристика писателя, как «горячего протестанта, страстного обличителя, великого критика», осуждавшего и отвергавшего эксплуататорский общественный строй в корне<sup>8</sup>. Их единомышленнику, западногерманскому профессору Юргену Рюле пришлось не по душе высокая ленинская оценка Толстого как гениального художника и великого мыслителя, порвавшего с дворянским классом, к которому он принадлежал по рождению и воспитанию, и перешедшего на сторону «100-миллионного земледельческого народа»<sup>9</sup>. Слово бы не зная ни «Исповеди» Толстого, ни других его произведений 80—900-х годов, Юрген Рюле заявляет: «Интеллектуал и граф никогда не имел контакта с крестьянским движением. Толстой был лишь тогда на высоте, — продолжает Рюле, — когда он подвергал анализу и рисовал «конфликты своего класса»<sup>10</sup>.

Можно привести и много других примеров, свидетельствующих, что международная Толстовиана была и остается полем острейшей идеологической борьбы. Заокеанские и западноевропейские «советологи» не оставляют своих попыток доказать, что ленинская концепция Толстого «устарела», что нужны

«новые подходы» к изучению и оценке наследия писателя.

Для нас же — советских толстоведов, да и для всех искренних почитателей Толстого — ленинская характеристика и оценка мировоззрения и творчества писателя сохраняет все свое значение, помогая показать и противоречивую сложность его ищущей мысли, и главное направление, в каком она развивалась, и всю грандиозность созданного им мира художественных образов. Никогда не утратит своего значения ленинская оценка творчества Толстого как «шага вперед в художественном развитии всего человечества», как гениального художника, «который дал ряд самых замечательных художественных произведений, ставящих его в число великих писателей всего мира»<sup>11</sup>.

О масштабах социально-исторического значения наследия Толстого дает представление другая ленинская формула: «зеркало русской революции».

Между этими основополагающими формулами-оценками существует глубинная, диалектическая связь: эпоха подготовки первой народной революции в России нашла в Толстом художника, запечатлевшего в своих произведениях то, что было в ней самым главным: «великое народное море, взволнованное до самых глубин»<sup>12</sup>.

Каким бы сложным и долгим ни был путь идейных и творческих исканий великого писателя, направление своего пути он сверял одним компасом: служение народу и человечеству.

И пусть не покажутся эти слова чересчур высокими и торжественными. Для Толстого в них был заключен вполне реальный, конкретный и, если можно так сказать, каждодневный житейский смысл. Не так уж много найдем мы среди писателей, обладавших европейской, а то и всемирной известностью, кто бы мог, отвечая едва ли не каждому новому из бесчисленных своих корреспондентов, сказать вот такие слова: «Был рад возможности вступить с вами в общение».

И это не было фразой или простым долгом вежливости. Напротив, общение со многими и самыми разными людьми было постоянной душевной потребностью писателя. «Мне,— говорил Толстой,— всегда особенно радостно чувствовать свое братское общение с людьми, которые географически, и этнографически, и политически, казалось бы, так отдалены, как только могут быть отдалены люди...» (80, 107).

Эта потребность Толстого к общению с людьми, жившими бесконечно далеко от Ясной Поляны, с каждым днем его жизни получала все более широкое удовлетворение. В самом начале нашего века Горький писал о Толстом: «Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити...»<sup>13</sup>.

В архиве Толстого хранится свыше пятидесяти тысяч писем к нему, многие из которых как раз и выполняли роль «живых,

трепетных нитей», связывавших писателя с его современниками. «Чувствую себя человеком своего времени», — отметил молодой Толстой в записной книжке 1858 года (48, 76). Почти полвека спустя он то же самое говорит о себе в одном из писем: «я очень занят современностью», добавив к сказанному, что «в ней есть и вечное» (73, 57).

Эти признания многое объясняют в позиции Толстого. Он страстно вмешивался в дела века, смотря далеко вперед, думая о жизни будущих поколений.

За Толстым давно упрочилась слава «певца живой жизни»<sup>14</sup>. И действительно, он — один из самых жизнелюбивых писателей в мировой литературе. Это подтверждают не только его художественные произведения, но и публицистика, дневники, письма.

Можно было бы (и давно нужно!) написать работу о толстовской «философии жизнестроительства», коренные положения которой выражены в его широко известных аксиомах: «Жизнь есть все» (12, 158); «Жизнь есть основа всего»; «Жизнь человека есть движение» (53, 66).

Обобщая эти и подобные им аксиомы, Толстой вывел следующее заключение, высказав в нем свое понимание цели и смысла человеческой жизни: «Самое короткое выражение смысла жизни такое: мир движется, совершенствуется; задача человека участвовать в этом движении и подчиняться и содействовать ему» (53, 193).

Так мог думать и говорить лишь писатель активной жизненной позиции, смотревший на искусство как на «одно из условий человеческой жизни»<sup>15</sup>, как на средство тесного общения людей и их основанного на доверии взаимодействия (30; 63, 339).

### 3

В предыдущем выпуске «Яснополянского сборника» мы уже говорили о связях Толстого с руководителями и участниками движения борцов за мир его времени<sup>16</sup>. Добавим к сказанному ранее, что не все они пользовались его симпатиями и поддержкой. Например, писатель не мог не осудить Гаагскую мирную конференцию 1899 года, узнав, что одним из главных ее организаторов явился такой «миротворец», как русский император Николай II. На запрос одной американской газеты Толстой ответил: «Гаагская мирная конференция есть только отвратительное проявление христианского лицемерия» (72, 116—117).

Как и предвидел Толстой, организаторы Гаагской «мирной» конференции отказались рассмотреть вопрос о сокращении вооружений. Писатель разоблачил ее «пустоту, праздность и лицемерие» в обширном «Письме шведской интеллигенции», посланном в Стокгольм в январе 1899 года.

Он не мог не знать, что «именно такими конференциями»



(72, 13) милитаристы и их пособники обманывают людей, «которые не только болтают, но которые (принуждены сражаться) сами идут на войну...» (72, 116).

Однако, осуждая сборища милитаристов, вызывавшие в нем «сильное чувство отвращения за лицемерие, столь в них явное» (72, 116), Толстой считал себя обязанным поддерживать деятельность людей, искренно выступавших против опасных замыслов империалистов. Ярчайшие тому доказательства — согласие Толстого, которому шел уже 81-й год, поехать в Стокгольм для участия в конгрессе сторонников мира и прочесть приготовленный для него доклад. В программе доклада он написал: «Надо сказать всю правду» (57, 95).

Устроители конгресса отложили его на год, явно испугавшись, что «приглашенный» ими писатель явится в Стокгольм и выступит с докладом. «Как нам быть? — говорил о них Толстой. — Прогнать нельзя, и отложили конгресс». Толстой верно отгадал «увертки» устроителей конгресса: в 1910 году он состоялся, но доклад, присланный из Ясной Поляны, не был зачитан ни на одном из его заседаний.

О какой правде хотел говорить писатель с трибуны конгресса?

В «Яснополянских записках» домашнего врача Толстого Д. П. Маковицкого мы находим немало таких суждений писателя, которые воспринимаются как «заготовки» к его «Докладу Стокгольмскому конгрессу мира». Вот некоторые из них. «Вся культура теперь направлена на то, чтобы придумывать самые совершенные орудия убийства». Запись этих слов писателя сделана Маковицким 27 октября 1906 года<sup>17</sup>. Летом 1909 года в Ясной Поляне зашел разговор о новинках военной техники. Д. П. Маковицкий рассказал о том, что уже научились взрывать бомбы электричеством без применения проволоки. Другой участник беседы, врач Д. В. Никитин, слышал, что «изобретено бесшумное стрельба из ружей; до сих пор был только бездымный порох». К сказанному его собеседниками Толстой с глубокой иронией и осуждением добавил: «Все к «лучшему». Как Блерио перелетел через Па-де-Кале, первые рассуждения: какое применение найдет себе авионика в войне».

Любопытно, что в тот же день 7 августа 1909 года Маковицкий отметил в дневнике: «Л. Н. сегодня читал (...) доклад Конгрессу мира»<sup>18</sup>.

В том же году Толстой написал статью «О науке». Есть в ней и противоречивые рассуждения, но в то же время дана такая точная и острая характеристика использования науки при буржуазном общественном строе, которая и сегодня верна до последней буквы. «Теперь, — пишет Толстой, — при капиталистическом устройстве жизни, успехи всех прикладных наук, физики, химии, механики и других, неизбежно только увели-

чивают власть богатых над поработенными рабочими и усиливают ужасы и злодеяния войн» (38, 141—142).

Где же выход? Каковым он представлялся Толстому? Как непреложная аксиома звучат его слова из трактата «Царство божие внутри вас»: «Существующий строй жизни отжил свое время и неизбежно должен быть перестроен на новых началах» (28, 289). Цитируемый трактат с таким по-евангельски звучащим заглавием, наряду с изложением религиозно-этических взглядов Толстого, содержит острейшую критику капиталистического строя, милитаризма, разбойничьей, грабительской политики империалистических государств. Здесь же, как и в других публицистических работах 80—900-х годов, писатель делает вывод о том, что человеку необходимо ради сохранения жизни на земле установить такой общественный строй, при котором любые разногласия, споры, конфликты будут решаться мирно, путем переговоров.

В середине 80-х годов писатель выразил уверенность в том, что «насильный строй не вечен» (63, 393). Десятилетием позднее он все более определенно и настойчиво говорил о необходимости замены его другим строем. В 1905 году Толстой писал: «Существующий строй жизни подлежит разрушению. В этом согласны как те, которые стремятся разрушить, так и те, которые защищают его.

Уничтожиться должен строй соревновательный<sup>19</sup> и замениться должен коммунистическим; ...уничтожиться должен строй милитаризма и замениться разоружением и арбитражией (...), уничтожиться должны всякие религиозные суеверия и замениться разумным религиозным нравственным сознанием, уничтожиться должен всякого рода деспотизм и замениться свободой; одним словом, уничтожиться должно насилие и замениться свободным и любовным единением людей» (68, 64).

В пространным письме своему единомышленнику немецкому писателю Эугену Генриху Шмиту, откуда мы привели эти строки, Толстой развивает также некоторые мотивы своего учения о «всеобщем братстве» и путях его достижения.

Но главное в его письме — другое. И об этом — другом — хорошо сказал австрийский писатель Стефан Цвейг: «Не надо поддаваться обману евангелической кротости его братских проповедей, христиански смиренной окраске его речи, ссылок на Евангелие по поводу враждебной государству социальной критики... Толстой больше, чем кто-либо из русских, вскопал и подготовил почву для будущего взрыва»<sup>20</sup>.

«Взрывная сила» толстовской критики получила всестороннюю и высочайшую оценку в статьях и высказываниях В. И. Ленина, посвященных великому писателю. Ленину же принадлежат знаменитые слова: «Это наследство берет и над этим наследством работает российский пролетариат»<sup>21</sup>.

В первые же послеоктябрьские годы Владимир Ильич Ле-

нин позаботился о том, чтобы как можно быстрее были подготовлены массовые издания произведений русских писателей-классиков, подчеркнув при этом: «Толстого в первую очередь». Он позаботился о том, чтобы издан был «весь Толстой», имея в виду, что многие его произведения запрещались царской цензурой. Ленин проявил заботу о том, чтобы были навсегда сохранены памятные места, связанные с жизнью и творчеством писателя. Подпись Ленина стоит на Постановлении Советского правительства об установлении в стране памятников выдающимся участникам революционного движения, ученым, деятелям культуры. Список писателей в этом историческом документе открывается именем Льва Толстого.

Радостно сознавать, что в нашей стране свято сохраняется ленинское бережное отношение к наследию Толстого. За советские годы его книги издавались 3067 раз общим тиражом 391 938 тысяч экземпляров. Они печатаются у нас в стране на 114 языках народов Советского Союза и зарубежных стран<sup>22</sup>.

В 1978—1985 годах издательство «Художественная литература» выпустило Собрание сочинений Л. Н. Толстого в 22 томах тиражом в миллион экземпляров. Где, когда, в какой стране, какой из писателей удостаивался такой чести?!

Но дело, разумеется, не только в том, что выпуск первого тома этого беспрецедентного в книгоиздательской практике издания был приурочен к 150-летию со дня рождения Толстого и явился юбилейным подарком миллиону подписчиков. Дело в том, прежде всего, что Толстой, как Пушкин, как Горький и другие наши классики, очень нужен нашим современникам, занимая громадное место в их духовной жизни.

Сердечную озабоченность посетителей Ясной Поляны вызывало с некоторых пор нарушение экологической культуры в окружающем ее районе, вызванное сверхнормативными, вредными для лесных насаждений выбросами газов, допускаясь щекинским производственным объединением «Азот» и другими предприятиями, расположенными недалеко от музея-усадьбы. Об этом подробно рассказано в статье «Тень над Ясной Поляной», опубликованной в газете «Правда» 20 января 1986 года. Одновременно в «Правде», «Советской России» и других органах печати периодически сообщается о мерах, принимаемых для того, чтобы в окружающей музей-заповедник экологической среде всегда сохранялись благоприятные для него условия. Партийные, государственные, общественные организации не пожалеют ни усилий, ни средств для того, чтобы эта цель была в ближайшее время достигнута. Чего бы это ни стоило, но это должно быть и будет сделано.

Толстой всегда с нами и в наших умах и сердцах. «Человек человечества», как назвал его Горький<sup>23</sup>, дорог не только нам, но и честным людям всей земли. Не одним нам, но и всем живущим на планете Толстой завещал позаботиться о том, чтобы

наш общий дом «сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем» (52, 121).

Толстой верил, что мы живем в одном из «вечных миров». Теперь мы знаем, что только неослабными усилиями миллионов людей, усилиями каждого, кому дорога живая жизнь, наш мир сможет остаться и останется вечным.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 396.

<sup>2</sup> Там же, т. 26, с. 304.

<sup>3</sup> Правда, 1986, 26 февр., с. 8.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же, с. 10.

<sup>6</sup> Правда, 1986, 7 марта, с. 7.

<sup>7</sup> Симмонс Эрнст Джон. Лев Толстой (на англ. яз.). Бостон, 1946. Цитата приводится в переводе И. Б. Овчинниковой.

<sup>8</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 21.

<sup>9</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90-та т. Юб. изд. М.—Л.: ГИХЛ, 1928—1958. Т. 76. М., 1956, с. 45 (Далее все ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы).

<sup>10</sup> См.: Актуальные проблемы теории литературы и искусства, М., 1972, с. 194—195.

<sup>11</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 32.

<sup>12</sup> Там же, т. 20, с. 71.

<sup>13</sup> Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М.: ГИХЛ, т. 14, 1951, с. 280.

<sup>14</sup> Вересаев В. В. Полн. собр. соч.: В 16-ти т. М.: Недра, 1928—1929. Т. 7, 1929, с. 6, 75—112, 194—198.

<sup>15</sup> Подробнее об этом см. в кн.: Ломунов К. Н. Лев Толстой в современном мире. М., 1975, с. 156—162.

<sup>16</sup> См.: Ломунов К. Н. Великий поборник мира.— Яснополянский сборник. 1986. Тула: Приок. кн. изд-во, 1986.

<sup>17</sup> Лит. наследство. У Толстого. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. М., т. 90, кн. 2, 1979, с. 186.

<sup>18</sup> Там же, кн. 4, с. 34.

<sup>19</sup> Так Толстой именовал буржуазный строй, имея в виду рекламируемую его идеологами «свободу конкуренции».

<sup>20</sup> Цвейг Стефан. Три певца своей жизни. Казанова — Стендаль — Толстой. Л., 1929, с. 279.

<sup>21</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 23.

<sup>22</sup> Сведения об изданиях Л. Н. Толстого приводятся по данным Всесоюзной книжной палаты на 1 января 1985 г.

<sup>23</sup> Горький М. Собр. соч., т. 14, с. 278.



А. А. Демченко

## ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ТОЛСТОЙ В 1856—1857 гг.

В обширной литературе о Толстом-художнике нет работы, в которой так или иначе не учитывалась бы оценка психологического мастерства писателя, нашедшая выражение в знаменитой формуле «диалектика души». Статья Чернышевского о Толстом 1856 года прочно вошла в толстовскую историографию и заняла в ней основополагающее место.

В последние годы были предприняты попытки подвергнуть сомнению авторство Чернышевского в отношении этой статьи. Повод для сомнений дал сам Чернышевский. Просматривая статью много лет спустя, он пометил в списке своих сочинений: «Детство и отрочество Толстого? едва ли»<sup>1</sup>. Кроме того, в вновь найденной рукописной тетради А. В. Дружинина «Материалы и заметки для критических статей» обнаружена следующая часть текста статьи Чернышевского: «Особенность таланта графа Толстого состоит в том, что он не ограничивается изображением результатов психического процесса: его интересует самый процесс,— и едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайно быстротою и неистощимым разнообразием, мастерски изображаются графом Толстым. Есть живописцы, которые знамениты искусством уловлять мерцающее отражение луча на быстро катящихся волнах, трепетание света на шелестящих листьях, переливы его на изменчивых очертаниях облаков: о них по преимуществу говорят, что они умеют уловлять жизнь природы. Нечто подобное делает граф Толстой относительно таинственнейших движений психической жизни. В этом состоит, как нам кажется, совершенно оригинальная черта его таланта»<sup>2</sup>. Н. Н. Скатов, впервые опубликовавший выписку из тетради Дружинина, предполагает, так сказать, «дружининское» происхождение строк Чернышевского. «Трудно сказать, что стоит за этим совпадением»,— пишет исследователь, поясняя, впрочем, что «вряд ли Дружинин передал Чернышевскому свои материалы и тот прямо ими воспользовался» и «всего скорее Дружинин занес в свои заметки (они не датированы) привлечшие его внимание высказывания»<sup>3</sup>. Между тем почему

же «трудно» объяснить буквальное совпадение отрывков? Не «всего скорее», а совершенно очевидно, что Дружинин переписал из статьи Чернышевского в свою тетрадь заинтересовавший его текст. Косвенно это подтверждается приведенной Н. Н. Скатовым же записью Дружинина в «Листах из записной книжки» 1856 года: «Читал Ч(ернышевского) вполне удовлетворен. Мои собственные мысли совершенно в том же направлении». Авторство Чернышевского засвидетельствовано сохранившимся автографом статьи (нет лишь начала, но задолго до процитированного Дружининым места) и указанием самого Чернышевского в письме к Некрасову от 5 декабря 1856 года: «В «Критике» — конец моих «Очерков» и моя статейка о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах» Толстого, написанная так, что, конечно, понравится ему, не слишком нарушая в то же время и истину»<sup>4</sup>. Нет никаких оснований хоть сколько-нибудь усомниться в принадлежности статьи Чернышевскому, и если что в действительности нуждается в специальных разъяснениях, то это причины, побудившие объяснить Некрасову собственное, нелестное для Толстого отношение к нему, а много лет спустя вообще предположить, что статья не его.

Исследователи приложили немало усилий для выяснения существовавших расхождений между печатными и частными отзывами Чернышевского о Толстом в 1856—1857 гг.<sup>5</sup>. Попытки свести эти очевидные расхождения к минимуму<sup>6</sup> не могут считаться объективными. Однако, несмотря на значительные успехи в исследовании темы, отдельные достаточно существенные ее стороны остаются до сих пор не учтенными. Вполне понять природу отношений Чернышевского-критика к творчеству Толстого возможно только при особом внимании к той конкретной обстановке, какая сложилась в ту пору в редакции «Современника».

Толстой, как известно, начал публиковаться в «Современнике» с 1853 года, предложив редакции свою первую повесть «Детство». С этой поры Некрасов делал все, чтобы закрепить талантливого автора за журналом, обещая ему «полный простор». «Я заинтересован Вашим талантом как журналист — умалчиваю о прочем — и не желал бы навлекать на «Современник» Ваше неудовольствие», — писал Некрасов Толстому в январе 1855 года<sup>7</sup>. Сразу же по приезде в Петербург в ноябре того же года Толстой был посвящен Некрасовым в редакционные планы журнала и вскоре вовлечен в число авторов, составивших так называемое «обязательное соглашение», по которому за исключительное сотрудничество в «Современнике» предусматривалось дополнительное материальное вознаграждение. Кроме Толстого, участниками договора стали И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Д. В. Григорович.

История «обязательного соглашения», вступившего в силу с января 1857 года, обстоятельно освещена исследователями<sup>8</sup>.

С помощью договора с «обязательными» участниками Некрасов значительно укреплял в журнале беллетристический отдел, а вместе с ним, как он надеялся, и журнал в целом. Сотрудничеством с Толстым он особо дорожил. Приходилось учитывать, что Толстого усиленно зазывали в свои издания Катков и Дружинин. Так, в декабре 1855 года В. П. Боткин предупредил Некрасова: «Русский вестник» сильно имеет виды на Толстого. Это прими к сведению и прими свои меры»<sup>9</sup>. «Меры» были приняты самые решительные, и, уезжая за границу в августе 1856 года, Некрасов, оставлявший «Современник» на И. И. Панаева и Чернышевского, особо позаботился о всемерном укреплении идеи и практики «обязательного соглашения». Чернышевский обязан был следовать и неукоснительно следовал этой литературной политике. Ситуация «обязательного соглашения» объясняет его отношения ко всем участникам договора, в том числе и к Толстому.

Вступив в договорные отношения с «Современником», Толстой очень скоро пришел к выводу, что поторопился с выбором. В кругу «Современника» его взгляды, в ту пору еще не установившиеся, не находили полной поддержки. Особенно настораживали, как выразился Некрасов, «следы барского и офицерского влияния», нападки на сочинения Ж. Санд и вообще идеи эмансипации<sup>10</sup>. Недовольством Толстого редакцией «Современника» пытался воспользоваться Дружинин, вытесненный из этого журнала Чернышевским. Против автора «Эстетических отношений искусства к действительности» и «Очерков гоголевского периода» и его идей было направлено почти все, что тогда появлялось из-под пера Дружинина<sup>11</sup>. В июле 1855 года Дружинин уверял Боткина, будто Чернышевский задался целью «перессорить журнал со всеми сотрудниками»<sup>12</sup>. Дружинин явился одним из инициаторов создания направленного против Чернышевского фарса, ставшего известным под названием «Школа гостеприимства»<sup>13</sup>. В октябре 1856 года Дружинин советует Толстому приобрести вместе с Тургеневым и Островским «контроль над журналом и быть его представителями». «Не принимайтесь за дело круто, — советует он, — и до времени терпите безобразие Чернышевского, хотя теперь вы все некоторым образом за него отвечаете». Толстой отвечал: «Безобразие Чернышевского, как Вы называете, все лето тошнит меня»<sup>14</sup>. Речь, конечно, идет прежде всего об «Очерках гоголевского периода русской литературы», утверждавших жизненность сатирического, отрицательного направления в отечественной словесности. Толстой держался убеждения, что, как записал он в записной книжке 29 мая 1856 года: «Для жизни довольно будет и тех вещей, к <оторые> не возбуждают негодования — любви. А у нас негодование, сатира, желчь сделались качествами» (47, 179). Осуждаемая Толстым формула распространена и на Чернышевского. «Человек желчный, злой не в нормальном

положении,— пишет он Некрасову в июле 1856 года.— Человек любящий — напротив, и только в нормальном положении можно сделать добро и ясно видеть вещи... вы сделали... ошибку, что упустили Друж(и)н(а) из вашего союза. Тогда бы можно было надеяться на критику в «Совр(е)м(е)ннике», а теперь срам с этим ...господином» (60; 75, 74).

Отвечая Толстому, Некрасов подчеркнул отвлеченно-нравственный ход рассуждений о «любящем человеке». «Вам теперь хорошо в деревне, и Вы не понимаете, зачем злиться; Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости — у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будет лучше,— то есть больше будем любить — любить не себя, а свою родину», «мне досадно, что Вы так браните Чернышевского»<sup>15</sup>.

Аргументации Некрасова Толстой пока не принимал. «Гражд(анская) злоба нехороша, потому что отрешаешься от возможности всякой деятельности», — записал он в записной книжке (47, 195), а в письме к Е. П. Ковалевскому от 1 октября 1856 года заявил: «Умышленно ищи всего хорошего, доброго, отворачивайся от дурного» (60, 90). Мысль о «злобе» по-прежнему обращена исключительно в нравственную сферу. Хорошо осведомленный Е. Я. Колбасин сообщал о Толстом Тургеневу в ноябре 1856 года: «Против Чернышевского озлобление адское и доверия ни на грош»<sup>16</sup>.

Недружественность высказываний Толстого не оставалась для Чернышевского тайной, но, однако, не мешала публично отзываться о писателе только положительно. К этому его обязывало признание высокой одаренности автора «Детства» и «Отрочества» и положение редактора, отстаивающего интересы «обязательного соглашения».

Первое значительное упоминание о Толстом было включено Чернышевским в рецензию на стихотворения Огарева: рассуждение о «прозаике» и «поэте», которые «по всей вероятности, поведут за собою и литературу; мы могли бы сказать,— прибавлял Чернышевский,— что по некоторым благородным и свежим качествам таланта можно еще не оставлять надежды и на деятельность третьего»<sup>17</sup>. Имена не названы, но указания достаточно прозрачны: имеются в виду Тургенев, Некрасов и Толстой. Слова о «третьем» близко совпадают с мнением, сложившимся в кругу «Современника». О чрезвычайной талантливости Толстого и вместе с тем о незрелости его политических высказываний писали Тургенев, Панаев, Чернышевский. Подразумевая «душевную ломку», которая происходит в Толстом, Некрасов писал самому Толстому, что он любит в нем «великую надежду русской литературы»<sup>18</sup>. Возможно,



и Чернышевскому Некрасов написал нечто подобное о Толстом, и слова о «надежде» появились в рукописи рецензии не случайно. В письме к Некрасову от 24 сентября 1856 года, когда рецензия была написана и опубликована, хотя и без строк о «прозаике», «поэте» и «третьем», Чернышевский из круга современных авторов, пользующихся наибольшим успехом, выделил трех писателей — Тургенева, Некрасова, Толстого<sup>19</sup>. О намерении повлиять на Толстого Чернышевский сообщал Некрасову в письме от 5 ноября: «Я побываю у него, — не знаю, успею ли получить над ним некоторую власть — а это было бы хорошо и для него и для «Совр(еменника)». Спустя месяц: «Я не имел еще случая сойтись с ним, но Боткин говорит, что он исправляется от своих недостатков и делается человеком порядочным. На днях я увижу его у Боткина»<sup>20</sup>. Слова «можно еще не оставлять надежды на деятельность третьего», если соотнести их с Толстым, вполне согласуются с мнением Чернышевского о нем.

Показательно, что, обращаясь к Некрасову, Чернышевский сдержан в критических суждениях о Толстом: редактор не должен заподозрить в пристрастности своих оценок. «По совести, «Юность» должна быть несколько хуже «Детства» и «Отрочества», — писал, например, Чернышевский Некрасову 5 декабря 1856 года, — я сужу по первой половине, которую прочитал. Но все-таки вещь недурная». Тургеневу он высказал свое мнение более откровенно: «Прочитайте его «Юность» — Вы увидите, какой это вздор, какая это размазня (кроме трех-четырех глав)», «пошлость, скука, бессмыслие, хвастовство бестолкового павлина своим хвостом», «жаль, а ведь есть некоторый талант у человека. Но — гибнет оттого, что усвоил себе пошлые понятия, которыми литературный кружок руководится при суждениях своих»<sup>21</sup>. Эти приговоры имели частный характер, для печати не предназначались и содержали убеждение, что талантливый художник «усвоил себе пошлые понятия».

Отзыв о «третьем» в рецензии не был отрицательным, но он все же свидетельствовал о сомнении в правильности развития его дарования («некоторые благородные качества таланта», «можно еще не оставлять надежды»). При самолюбии Толстого эти строки могли быть восприняты бурно и вызвать нежелательную для журнала реакцию. Возникали и другие неловкости. Например, из участников «обязательного соглашения» указывались двое, что было незтичным по отношению к двум другим и могло вызвать едкие комментарии в журналах. Возможно, на эти издержки обратил внимание Панаев, возможно, также получение письма Некрасова о Толстом, и Чернышевский вычеркнул рассуждение о неназванных писателях<sup>22</sup>.

Спустя месяц (в ноябре) в «Современнике» появилась написанная, вероятно Чернышевским, краткая заметка, обещающая специальную рецензию на сочинения Толстого<sup>23</sup>. Представляется, что это объявление преследовало тактические цели:

в ноябрьской книжке «Отечественных записок» печаталась статья Дудышкина о Толстом, и «Современник» намеревался учесть этот отзыв, чтобы при необходимости защитить своего «обязательного» сотрудника.

Статья Чернышевского появилась в декабрьской книжке «Современника», когда высказались главные конкуренты в Петербурге — «Библиотека для чтения» и «Отечественные записки». С обобщенного суждения об этих отзывах Чернышевский и начинает свой разбор творчества писателя.

Едва ли не общим местом в критике стало указание на «чрезвычайную наблюдательность, тонкий анализ душевных движений, отчетливость и поэзию в картинах природы, изящную простоту»<sup>24</sup>. Действительно, Дружинин, например, указывал: «Зорко подмечает он все мельчайшие поэтические подробности внешнего и внутреннего мира»<sup>25</sup>. В рассказах Толстого «нет действия, а есть картины и портреты», — писал Дудышкин<sup>26</sup>. Е. Я. Колбасин в рецензии на сборник «Для легкого чтения» (СПб., 1856), где напечатан рассказ «Записки маркера», замечал: «Великий процесс развития ума и тела, физики и души — передан автором с анатомической верностью. У него обозначены мастерски даже те переходные пункты, то переходное состояние, которое даже в физическом человеке очень часто ускользает от заботливого глаза, а тут смело и отчетливо выставлено... как бы точнее выразиться? духовное расширение человека. Задача страшно трудная!» — почти «предчернышевское» проникновение в природу толстовского мастерства<sup>27</sup>. Но то, что у предшественников Чернышевского не поддавалось терминологическому обозначению, получило в статье точное и глубокое определение: «диалектика души». С этой особенностью психологического мастерства критик связывает «чистоту нравственного чувства», которое сохранилось «во всей юношеской непосредственности и свежести» и «придает поэзии особенную — трогательную и грациозную — очаровательность»<sup>28</sup>. Чернышевский не отвергает все прежние характеристики дарования Толстого, предложенные другими критиками. Он лишь углубляет их, терминологически уточняя.

Вполне в духе Толстого решает Чернышевский и вопрос о свободе художественного творчества. Критик располагал двумя суждениями на этот счет, принадлежащими Дружинину и Дудышкину. Автор «Метели» и «Двух гусар» охарактеризован Дружининым «как один из бессознательных представителей той теории свободного творчества, которая одна кажется нам, — пишет Дружинин, — истинною теориею искусства». «Бессознательным» — потому что опирался только на свой опыт художника, вступив в литературу после смерти Белинского. В результате для Толстого «как будто не существовало прошлого, все мелкие грешки нашей словесности: ее общественный сентиментализм, ее робость перед новыми путями,

ее одностороннее стремление к отрицательному направлению, наконец остатки старого дидактического педантизма, отнявшие столько силы у наших современных деятелей,— нимало не отразились на таланте нового повествователя». Толстой «всегда останется независимым и свободным творцом своих произведений»<sup>29</sup>. Казалось бы, Чернышевский должен был обрушиться на эти попытки прочно связать творчество писателя с теорией «чистого искусства». Однако этого не происходит. Чернышевский знал, насколько высоким авторитетом пока еще пользовался Дружинин у Толстого. К тому же сочинения писателя, далекие от обличительных тенденций, не давали материала для серьезного отпора Дружинину.

Оставляя в стороне Дружинина (Толстой не мог этого не оценить), Чернышевский совершенно неожиданно (прежде всего неожиданно для самого Толстого!) начинает прямую полемику с Дудышкиным, хотя высказывания критика, на первый взгляд, не давали повода для спора. Ведь именно Дудышкин упрекнул Толстого в том, что после «Детства» писатель «не сделал ни шага вперед на поприще искусства, не создал ни повести, ни драмы, которые захватывают так много жизненных вопросов и ставят автора лицом к лицу с обществом; ...он постоянно до сих пор ограничивается портретной живописью и разработкой одной психологии»<sup>30</sup>. Но Чернышевский разгадал маневр «Отечественных записок», которые хотели сказать, что Толстой как «обязательный» участник «Современника» идейно разошелся с редакцией, все настойчивее призывающей современных авторов к отражению общественных тем. Соредактор Краевского в «Отечественных записках» как бы торопился зафиксировать раскол между «Современником» и Толстым — таков вклад конкурентов в борьбу против «обязательного соглашения».

Чернышевский нашел способ противодействовать «Отечественным запискам». Суждения Дудышкина о равнодушии Толстого к «общественным вопросам», в сущности разделяемые Чернышевским, переведены сотрудником «Современника» в сугубо теоретический план, в котором можно было бы опереться на дорогие Толстому мысли о свободе творчества. В других своих статьях Дудышкин постоянно рассуждает о свободе писателя и о художественности — «удивительные понятия о художественности! Да ведь автор хотел изобразить детский и отроческий возраст, а не картину пылкой страсти... Мы любим не меньше кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности — единство произведения и что потому, изображая детство, надобно изображать именно детство, а не что-либо другое... И люди, предъявляющие столь узкие требования,

говорят о свободе творчества!»<sup>31</sup> Дудышкину преподан урок из теории словесности, и доводы автора «Отечественных записок» сразу потеряли устойчивость и далеко рассчитанную ударную силу.

Противостоят Дудышкину и рассуждения о «развивающемся таланте» Толстого: «Вероятно, он напишет много такого, что будет поражать каждого читателя другими, более эффектными качествами,— глубиной идеи, интересом концепций, сильными очертаниями характеров, яркими картинами быта»<sup>32</sup>. Оппонентам «Современника» и Толстому Чернышевский показал, что так называемая «дидактическая» критика, адептом которой он стараниями Дружинина признан повсеместно, вполне способна, вопреки установившемуся мнению, на эстетический разбор художественных произведений. Только такой аспект критической оценки мог вызвать интерес и сочувствие Толстого. Потому-то Чернышевский заранее успокаивал Некрасова: статья, «конечно, понравится» Толстому, Чернышевский на первое место ставит редакционную политику Некрасова, всемерно укрепляя заключенное «обязательное соглашение» с Толстым. Имея в виду редакционно-дипломатические способности Чернышевского, Некрасов писал Тургеневу 25 ноября 1856 года: «Чернышевский просто молодец, помани мое слово, что это будущий русский журналист, почище меня, грешного, и т. п.»<sup>33</sup>. В случае с Толстым Чернышевский вполне оправдывал надежды Некрасова. Ведь Некрасову более чем кому-либо было известно, что далеко не личными симпатиями обусловлена статья Чернышевского о Толстом.

Слова Чернышевского «не слишком нарушая в то же время и истину» не представляют загадки: Толстой действительно талантлив и вполне заслуживает высоких отзывов. Однако есть в этих словах, как и в статье в целом, еще один — скрытый — смысл. Ограничиваясь эстетическим анализом сочинений Толстого, критик как бы указывал на преждевременность разбора с точки зрения их общественного значения. Между тем, по мысли Чернышевского, только такой критерий является истинным делом критики. Эта мысль пронизывает все значительные статьи Чернышевского, помещенные в той же декабрьской книжке «Современника». В девятой (заключительной) главе «Очерков гоголевского периода русской литературы», напечатанной рядом со статьей о Толстом, их автор, завершая свой историко-критический труд выписками из сочинений Белинского, с особой силой подчеркнул жизненность «так называемого отрицательного направления». В качестве важнейших принципов литературных суждений выдвигалось «понятие об отношении литературы к обществу и занимающим его вопросам». «Во всех отраслях человеческой деятельности,— предупреждая писал он в «Очерках» как бы в дополнение к рассуждениям о сочинениях Толстого,— только те направ-

ления достигают блестящего развития, которые находятся в живой связи с потребностями общества»<sup>34</sup>. В связь с общим ходом размышлений критика включены также подытоживающие литературный год слова Чернышевского из «Заметок о журналах» за декабрь 1856 года: «Всякая живая мысль, всякое дельное слово принималось публикою с горячим одобрением, эта симпатия должна была действовать и на литературу,— и, действительно, литература старалась оправдать требования и надежды публики; с справедливою гордостью может она сказать, что в истекающем году была, хотя до некоторой степени, достойна ее внимания»<sup>35</sup>. По развиваемой Чернышевским логике сочинения Толстого не всегда оправдывали требования и надежды современного читателя. В статье о Толстом прямо заявлено, как бы и не в укор автору, что писателя не занимали картины «влияния общественных отношений и житейских столкновений на характеры»<sup>36</sup>. Таким образом, содержание статьи о творчестве Толстого вполне выясняется лишь в контексте других в том же номере журнала опубликованных работ Чернышевского. Этот журнальный контекст раскрывает позицию критика во всей полноте ее идеологических проявлений. И настолько не вписывалась статья о Толстом в систему литературно-критических суждений Чернышевского той поры, что много лет спустя, читая ее отдельно и, возможно, не помня всех обстоятельств, предшествовавших появлению статьи, Чернышевский готов был усомниться в собственном авторстве.

Выступление Чернышевского, несомненно, смягчило отношение Толстого к редакторам «Современника», но не больше, «дружелюбия»<sup>37</sup> возникнуть не могло — настолько резкими были совсем недавние выпады писателя против критики. О наметившемся сближении свидетельствует дневниковая запись Толстого от 18 декабря 1856 года: «К Панаеву, там Чернышевский, мил» (47, 105) — даже если слово «мил» относится к Панаеву (такая трактовка записи возможна), а не к Чернышевскому, как принято считать. Значение имел и восторженный отзыв Панаева о «Юности», переданной автором в редакцию журнала<sup>38</sup>.

В декабре же Толстой принимает решение основательно изучить теорию Белинского. Прежние размышления по поводу того, что «никакая художническая струя не увольняет от участия в общест[венной] жизни» получили новый ход в связи с суждениями о «высоком» назначении искусства (47; 95, 101). Усилились наметившиеся в ноябре расхождения с Дружининым. «Поклонник Дружинина сознался,— сообщил о Толстом Е. Я. Колбасин Тургеневу в январе 1857 года,— что ему тяжело оставаться с Дружининым с глазу на глаз», Толстой «все добывает посредством собственной критики»<sup>39</sup>.

Между Чернышевским и Толстым возникла возможность

диалога, и Чернышевский, точно выбрав время, незамедлительно воспользовался этой возможностью. Свое прежнее намерение посетить Толстого он исполнил 11 января 1857 года. «Пришел Чернышевский, умен и горяч», — записал Толстой в дневнике (47, 110). «Умен» — следовательно, диалог состоялся и привел к известному взаимопониманию; «горяч» — значит, это был диалог-спор.

Чернышевский не оставил сведений о содержании беседы, но она состоялась на шестой день после выхода «Современника» с новым отзывом Чернышевского о Толстом в составе «Заметок о журналах», и трудно представить, чтобы этот отзыв в разговоре не фигурировал. Чернышевский на этот раз писал, что в декабрьской статье о Толстом он рассуждал «о силах, которыми теперь располагает его дарование, почти совершенно не касаясь вопроса о содержании, на поэтическое развитие которого употребляются эти силы». И далее следовала фраза, останавливающая внимание: «Между тем нельзя не помнить, что вопрос о пафосе поэта, об идеях, дающих жизнь его произведению, — вопрос первостепенной важности»<sup>40</sup>. «Пафос поэта» — из терминологии Белинского, над статьями которого Толстой размышлял в ту пору. Наибольшее впечатление произвела на Толстого именно пятая статья Белинского о Пушкине с рассуждениями об одушевляющем художника «пафосе», «поэтической идее», которая является в произведении «не отвлеченною мыслью, не мертвою формою, а живым созданием» (47; 108, 109)<sup>41</sup>. Конечно, вопрос о «пафосе» Чернышевский решал применительно к собственным взглядам на задачи художника. Это понятие критик непосредственно связывает с воззрением писателя на жизнь. «Границы содержания» прежних произведений Толстого, напечатанных до декабрьской статьи «Современника», определить было бы, пишет Чернышевский, «очень легко», но речь шла о таланте, «быстро развивающемся». Говоря теперь о «Записках маркера» и «Двух гусарах», критик замечает: «Как расширяется постепенно круг жизни, обнимаемой произведениями графа Толстого, точно так же постепенно развивается и само воззрение его на жизнь». В «Юности» Чернышевский обратил внимание читателей на сцены университетской жизни Иртеньева — имелись в виду, конечно, главы «Новые товарищи», «Зухин и Семенов», в которых описывалась жизнь студентов-разночинцев, оказавшихся умнее, начитаннее, благороднее иных комильфотных аристократов. В «Утре помещика» автор сумел передать взгляд крестьян на вещи, «умеет переселяться в душу поселянина» — вот тема, действительно достойная писателя<sup>42</sup>. Об этом, нужно думать, и говорил Чернышевский Толстому во время встречи, опираясь, как и в отзыве об «Утре помещика», на свои представления о «пафосе поэта», «поэтической идее». Толстой, вероятно, воспринял слова критика как призыв писать в «обли-

чительном духе». По крайней мере, со слов Толстого так передали его впечатления от встречи с Чернышевским П. И. Бирюков и Н. Н. Гусев<sup>43</sup>. Толстой и Чернышевский различно решали вопрос о назначении художника. Но область соприкосновения была все же значительной, коль скоро «никакая художническая струя не увольняет от участия в общественной жизни».

Как редактор Чернышевский наверняка говорил Толстому и о его отношении к «обязательному соглашению». Ведь если Толстой выступил в «Современнике» 1857 года дважды, опубликовав в общей сложности более десяти печатных листов (вдвое больше, чем Тургенев и Островский вместе взятые), то в этом была и заслуга Чернышевского, удержавшего Толстого в журнале в момент, когда угроза одностороннего расторжения писателем договора с «Современником» оказывалась весьма реальной.

Факты свидетельствуют, что дальнейшее охлаждение Толстого к Дружинину также можно считать одним из последствий редакционной политики Чернышевского. Толстой «кажется забыл о моем существовании», — сетовал Дружинин в письме к Тургеневу от 13 марта 1857 года<sup>44</sup>. А в апреле Чернышевский писал А. С. Зеленому: «Толстой, который до сих пор по своим понятиям был очень диким человеком, начинает образовываться и вразумляться (чему отчасти причиной неуспех его последних повестей<sup>45</sup>) и, может быть, сделается полезным деятелем»<sup>46</sup>.

Не следует, однако, преувеличивать степень сближения Толстого с редакцией «Современника» в 50-е годы. Направление журнала, все более ярко выражавшее идеологические позиции Чернышевского и его сторонников, не находило в Толстом поддержки. Именно в конце 1857 года у него возникает план создания «чисто художественного» журнала<sup>47</sup>. План не состоялся, но и контакты Толстого с «Современником» слабели и вскоре привели к уходу писателя из этого журнала. Как справедливо отмечает современный исследователь и биограф Толстого, «не примкнув ни к одной из группировок, он стремился найти свой путь в жизни и литературе»<sup>48</sup>.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16-ти т. М., 1939—1953, т. XVI, с. 644.

<sup>2</sup> Там же. т. III, с. 426; Дружинин А. В. Материалы и заметки для критических статей. — ЦГАЛИ, ф. 167, оп. 3, № 21а.

<sup>3</sup> Скотов Н. Н. А. В. Дружинин — литературный критик. — Русская литература, 1984, № 4, с. 118.

<sup>4</sup> Чернышевский. Указ. соч., т. XIV, с. 329—330.

<sup>5</sup> См.: Толстой в «Современнике» (1856—1857). — В кн.: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. — Л., 1974, с. 279—336; Чуприна И. В. Трилогия



- Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность». Саратов, 1961; Николаев М. П. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский. Тула, 1969; Егоров Б. Ф. Очерки по истории русской литературной критики середины XIX в. Л., 1973, с. 135—138.
- <sup>6</sup> См., напр., в кн.: Л. Н. Толстой: Сборник статей и материалов. М., 1951, с. 189—267.
- <sup>7</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 12-ти т. М., 1948—1953, т. X, с. 216, 219.
- <sup>8</sup> См.: Евгенийев-Максимов В. Е. Неудавшаяся коалиция.— Лит. наследство, т. 25—26. М., 1936, с. 357—380; Макашин С. Ликвидация обязательного соглашения. Из истории «Современника» конца 1850-х гг.— Лит. наследство, т. 53—54. М., 1949, с. 289—297; Дементьев А. Некрасов и «обязательное соглашение».— Вопросы литературы, 1971, № 6, с. 136—163.
- <sup>9</sup> Голос минувшего, 1916, № 9, с. 177.
- <sup>10</sup> Некрасов Н. А. Указ. соч., т. X, с. 264; Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. II, с. 337.
- <sup>11</sup> См.: Козьмин Б. П. Журналистика шестидесятых годов XIX века. М., 1948, с. 64.
- <sup>12</sup> Письма к А. В. Дружину (1850—1863). Летописи Государственного литературного музея, кн. 9. М., 1948, с. 38.
- <sup>13</sup> См. подробнее: Мещеряков В. П. Чернышевский, Дружинин и Григорович.— В кн.: Н. Г. Чернышевский. Эстетика. Литература. Критика. Л., 1979, с. 209—225.
- <sup>14</sup> Письма к А. В. Дружину, с. 305.
- <sup>15</sup> Некрасов Н. А. Указ. соч., т. X, с. 284.
- <sup>16</sup> Тургенев и круг «Современника». Незданные материалы. 1847—1861. М.—Л., 1930, с. 296.
- <sup>17</sup> Чернышевский Н. Г. Указ. соч., т. III, с. 847.
- <sup>18</sup> Некрасов Н. А. Указ. соч., т. X, с. 291—292.
- <sup>19</sup> Чернышевский Н. Г. Указ. соч., т. XIV, с. 315.
- <sup>20</sup> Там же, с. 328, 330.
- <sup>21</sup> Там же, с. 332, 345.
- <sup>22</sup> Ср.: Нольман М. Л. Не нарушая истины.— В кн.: Освободительное движение в России. Саратов, 1979, вып. 9, с. 122.
- <sup>23</sup> Современник, 1856, № 11, отд. IV, с. 28.
- <sup>24</sup> Чернышевский Н. Г. Указ. соч., т. III, с. 421.
- <sup>25</sup> Библиотека для чтения, 1856, № 9, отд. V, с. 12.
- <sup>26</sup> Отечественные записки, 1856, № 11, отд. III, с. 17, 18.
- <sup>27</sup> Библиотека для чтения, 1856, № 9, отд. VI, с. 23. См.: Штейнгольд А. М. Ранние произведения Толстого и литературно-критическая мысль 1850-х гг.— В кн.: Л. Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л., 1979, с. 145—146. Однако рецензия здесь ошибочно приписана Дружину на основании данных В. Спиридонова (см.: Спиридонов В. С. Л. Н. Толстой. Биобиблиография. М.—Л., 1933, т. I, с. 64). Между тем она принадлежит Е. Я. Колбасину, который сообщил Дружину 16 августа 1856 года: «Для сентябрьской книжки я написал разбор II тома «Легкого чтения». Мне поручил это Майков, так как я написал уже несколько слов о первом» (Письма к А. В. Дружину, с. 156).
- <sup>28</sup> Чернышевский Н. Г. Указ. соч., т. III, с. 427, 428.
- <sup>29</sup> Библиотека для чтения, 1856, № 9, отд. V, с. 6, 7.
- <sup>30</sup> Отечественные записки, 1856, № 11, отд. III, с. 17, 18.
- <sup>31</sup> Чернышевский Н. Г. Указ. соч., т. III, с. 429.
- <sup>32</sup> Там же, с. 427.
- <sup>33</sup> Некрасов Н. А. Указ. соч., т. X, с. 301.
- <sup>34</sup> Чернышевский Н. Г. Указ. соч., т. III, с. 299.
- <sup>35</sup> Там же, с. 724.
- <sup>36</sup> Там же, с. 422—423.
- <sup>37</sup> См.: Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957, с. 132.
- <sup>38</sup> См.: Тургенев и круг «Современника», с. 58.
- <sup>39</sup> Там же, с. 315.
- <sup>40</sup> Чернышевский Н. Г. Указ. соч., т. IV, с. 681.

<sup>41</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.—Л., 1953—1959, т. VII, с. 312. См.: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974, с. 320—321.

<sup>42</sup> Чернышевский Н. Г. Указ. соч., т. IV, с. 681—682.

<sup>43</sup> Лит. наследство, т. 37—38, с. 560; Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год, с. 134.

<sup>44</sup> Тургенев и круг «Современника», с. 209.

<sup>45</sup> Подразумевались рассказ «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный», опубликованный в дружининской «Библиотеке для чтения» и прошедший, по словам Боткина, «почти незаметно» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. 1851—1869. М.—Л., 1930, с. 112; «Приняли холодно», — писал Толстой в дневнике.— Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Юб. изд., т. 47, с. 100), и повесть «Юность», которую Чернышевский ставил невысоко.

<sup>46</sup> Чернышевский Н. Г. Указ. соч., т. XIV, с. 343.

<sup>47</sup> Письма к А. В. Дружину, с. 306; Краснов Г. В. К расколу редакции «Современника» в 50-е годы XIX в. (по новым материалам).— В кн.: Проблемы истории общественной мысли и историографии. М., 1976, с. 122. См. также: Письма к А. В. Дружину, с. 337.

<sup>48</sup> Ломунов К. Н. Жизнь Льва Толстого. М., 1981, с. 38.

*Л. Н. Толстой. «СТО ЛЕТ»*

### ЧЕРНОВОЙ НАБРОСОК НАЧАЛА РОМАНА

*(Публикация Т. Г. Никифоровой)*

В 17-м томе Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого опубликованы наброски начала исторического романа, над которым писатель работал в 70-е годы. Сохранились 34 рукописи, которые редактор текста П. С. Попов распределил на шесть циклов, приурочив их к определенным историческим моментам. Хотя начала последнего, шестого цикла не выходят по времени действия из пределов эпохи Петра I, можно предположить, что они скорее примыкают к замыслу незавершенного романа «Декабристы».

Шестой цикл состоит из девяти рукописей, восемь из которых печатаются в Юбилейном издании как варианты 26—33. Рукопись, обозначенная ЕХХХ, не опубликована, она состоит из 7 листов. Листы густо исписаны с лицевой стороны, они вырезаны из тетради неровно, текст у отрезанного края частично поврежден, но легко восстанавливается по смыслу.

Публикуемый отрывок дополняет картину работы Л. Н. Толстого над исторической темой в 70-е годы. Он свидетельствует о глубоком интересе писателя к крестьянскому быту давней эпохи и поразительном знании его подробностей.

#### СТО ЛЕТ

#### І ЧАСТЬ. І ГЛАВА. РОЖДЕНИЕ ИВАНА

В 1723 году в Чернском уезде на реке Черни на краю большого села жил бедный одинокий мужик Дмитрий<sup>1</sup>. Уже 8 лет, с тех пор как умер отец<sup>2</sup>, был Дмитрий не в силах, чтобы поддержать свой дом, и только кормился с семьей и справлял подати царские и помещичьи. Село их было барское князя Вяземского. Но забрать силы исправить избу, прибавить (1 нрзб.) никак не мог, сколько ни работал, все та же у него была скотина: коровенка, две лошади и 5 овец и старая изба.

Дмитрию тогда в 23 году было 35 лет<sup>3</sup>. 23 года Успенским

постом с воскресенья на понедельник Дмитрий ночевал с мужиками в ночном. Перед зарей он прилег, закрылся шубой и сам не заметил как и заснул. На заре кум Василий разбудил его. Дмитрий выпростал спутанную голову из-под шубы и огляделся: заря уже заревом загорелась, уже было совсем видно и заря далеко разошлась по небу. Мужики уже ловили лошадей. Поводив плечами от пробиравшегося утреннего холода и почесавшись, Дмитрий вскочил на ноги, потер глаза, расправил русые волосы, подрал курчавую бороду и, перекрестившись на восход, поднял намокшую от росы шубу и шапку, свалившуюся во сне, и стал одеваться. Одеваясь, он окинул глазами полную туманом лощину, на которой они ночевали и по которой, фыркая, ходили лошади, и отыскал между другими своих лошадей.

Пегая кобыла была в самой лощине и щипала траву. Он тотчас признал ее по густому гнедопегому хвосту. Чалого мерина он искал долго. В лощине его не было, он зашел за бугор и, сойдясь с Онисимовым стригуном, чесал холку. Подняв узду и надев шапку, Онисим<sup>4</sup> пошел ловить лошадей. Обе были спутаны, да и так давались. Распутав и обратав мерина, Дмитрий подвел его к кобыле, распутал ее, повесил ей на шею молчаливое путо и, не обратывая ее, ввалился на нее брюхом (она тянулась в поводу и зато он на ней ездил), взобрался на нее и, пошевеливая длинными ногами в раскисших лаптях, поехал. Он ехал не один, а впереди, сзади ехали человек 15 деревенских так же как он с лошадьми из ночного. Разговаривая о том, что кто отселялся, а кто нет, о том, что день красный будет и что рожь доводить надо, хорошо, у кого она доведена, и о том, что у Никифора стригун пропал, мужики въехали в село. Дмитриева кобыла сама поворотила ко второму с краю двору и стала у ворот.

Бабы уже были вставши и топили печку для хлебов<sup>5</sup>. Черный густой дым валил из (1 нрзб.) оконца и поднимался над избой. Он услышал, что жена открывает подворотню. Ехавши с мужиками, Дмитрий был веселый, разговорчивый и смеялся с мужиками, но как только он подъехал к дому, так нахмурился<sup>6</sup>. Вспомнил он, что жена жалилась поясницей и охала вчера вечером, а мать сказала, что как бы в ночь не дал Бог родить Марфе. Значит со старухой за снопами ехать, а она человек старый — ни подать, ни воз увязать. Да и та, коли жене рожать, дома останется. Опять не свожена рожь. Люди и свозили и отселяли, а у него еще в поле, да посеяна еще не вся и не намолочена.

— Однако видно не родила, — подумал он, услышав, что жена окликает его из-за ворот. — Отворяй, что ли. Али не слышишь? — крикнул он. Подворотню отняли, и ворота, скрипнув, отворились.

— Хорошо ночевали? — давая дорогу лошадям, весело ска-

зала большая ростом, плотная, круглая, румяная черноглазая баба в кичке на голове, в синей поневе, без занавески и босиком. Дмитрий не отвечал, снял оброть с мерина и пустил лошадей на небольшой, но хорошо заплетенный крытый двор.

— Али рожь возить?

— А то чего же ждать? Люди уже свозили,— ответил сердито Дмитрий.

Марфа пошла под навес додаивать пеструю коровенку, оставившуюся на входящих лошадей, а Дмитрий, не входя в избу, разделся, кинул шубу в сани и взялся за телеги, готовя их. Надо было подмазать, подвязать снятые на соху (1 нрзб.) чересседельни, вырубить и подвязать сломавшийся у одной подтяжек, приготовить возжи, переменить колесо. Дмитрий никогда не скучал работать и часто завидовал батракам. Дадут снасть готовую, знай работай, но он скучал заботиться сборами. Хорошо было работать, как старик все приладит, знай запрягай, да и пошел, а теперь, поди вон, возжи на гумне в сарае, подтяжек выруби, думал он, надевая колесо и глазами отыскивая топор на чурке, где он оставил его вчера. Топора не было.

— Куда топор девали! Эх, дуй тебя горой,— крикнул он жене, уносившей молоко.

— Топор матушка в избу взяла.

Дмитрий взял сердито топор, вырвал из рук и тотчас же стал отрубать хворостину, выдернутую из-под крыши на подтяжек.— У людей старик есть,— продолжал думать Дмитрий,— ну помрет старик, ребята растут, а мне и приждать нечего. Девки да девки. Гляди, еще девку родит.— И он сердито закинул зад телеги из-под навеса мимо на двор с таким грохотом, что овцы шарахнули к воротам. Потом выпрягся в другую телегу, выдвинул ее. Не останавливаясь, пошел через калитку на гумно, достал возжи, смотал их, привязал за грядку, привязал чересседельни. Поймал лошадей, надел хомуты, запрет и тогда только, сгибаясь в низкую дверь, по притолоку которой стоял густой дым, как кисель, сизый, вошел в избу<sup>7</sup> и, подойдя к ушагу, зачерпнул ковшом воды, помыл лицо и руки и, собрав мокрые волосы расческой, висевшей у него на поясе, помолился Богу, прочтя Отче наш и Богородицу, сел к столу на лавку. Марфа между тем сходила за водой, подняла девчонок и, выгнавши скотину, месила с старухой хлебы и рассказывала про то, как у Аксиньи Морозовой овцу козюля укусила. Вся распухла, и пастух в стадо не взял. Как только муж вошел, она оскребла с засученных рук в дежу приставшее тесто и, достав чашку, налила в нее квасу, поставила на стол, достала из тестушки под лавкой огурцов, отрезала хлеба на столе ломоть, выдвинула ящик в столе, вынула солонку и ложку и все положила перед мужем и тотчас же пошла в чулан обуваться. Только он вылез из-за стола и помолился Богу<sup>8</sup>, жена,

обутая в лапти, чтобы жнивье не кололо босую ногу, вышла из-за перегородки, убрала чашки, сама закусилась хлеба, захватила с собой ломоть и огурчик, положила в пазуху и дала девчонкам, выпустила их на улицу.

— Совсем, что ли? — спросила старуха.

— Выдвигай лошадей.

(На этом рукопись обрывается.)

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Вместо этой фразы в рукописи было:

В деревенской глуши у одинокого мужика Онисима родился первый сын. Онисим был мужик одинокий, [Он дома] У него был один работник в доме. Помогали ему в доме его старуха-мать Кирилловна — старуха еще свежая, женщина умная и еще в силах работать, и жена Марфа. Но Марфа была ему плохая помощница, хотя тоже была женщина хорошая. У нее были малые дети, и дети все были девочки. В 14 лет своего замужества она родила 6-х и все были девочки. Три умерли, а три — Дунька старшая 8 лет, и две маленькие — Машка 4-х и Аксютка 2-х лет были живы.

<sup>2</sup> Далее было: и меньшой брат в тот же год пропал без вести, был Онисим не в силах, чтобы поддержать свой дом, прокормиться и справить подати (село было помещичье князя Вяземского).

<sup>3</sup> Далее было: Он был мужик ростом высокий. Выше его ростом никого не было в деревне. Он был человек во всей силе. Брат [бы его] был еще выше его, сестра, отданная в Болгары за однодворческого мужика, была ростом выше своего мужа, и Онисим был выше всех в деревне. Он был высокий, худой, так что на спине лопатки у него торчали как два горба из-под кафтана, и плечи были погнуты вперед и в длинных ногах его и руках его было много силы и руки длинные и сильные. Редко кто из мужиков мог поравняться в работе. Мужик работающий, но грубый и не разговорчивый. И голос, и обхождение у него были грубые. Голова понурая, брови насулпленные, борода небольшая, курчавая. Ходил он не прибористо, кафтан надевал самый старый, обрывком подпоясывался, шляпа была рваная и лапти донашивал дотла. И к скотине был не милостив. Лошади у него всегда были загнанные, худые. И ел он также что попало и где попало, но зато в работе ни на покое, ни на жнитве, ни в земляной работе, никто против него не мог выстоять. Жил он с женой хорошо и только один раз пьяный побил ее и убил бы до смерти, если бы мать не отняла, но с тех пор зарекся бить и ни разу пальцем не тронул и только ругался, когда рассердится. Ругательство его было «дуй тебя горой!» Ругался он не долго; а выругается и если сердит, то только злей примется работать.

<sup>4</sup> Так в тексте. Далее везде исправлено на Дмитрий.

<sup>5</sup> Вписано на полях: Окно для дыма.

<sup>6</sup> Вписано на полях: Что скажет жена при встрече из ночного?

<sup>7</sup> Вписано на полях: Где умывается, как?

<sup>8</sup> Вписано на полях: Молится ли Богу?

Осенью 1982 г. в Нортвестернском университете США (Эванстон, близ Чикаго) происходил советско-американский симпозиум, посвященный русской литературе конца XIX — начала XX в. Советскую делегацию возглавлял член-корреспондент АН СССР В. Р. Щербина. Были сделаны и обсуждены доклады о Л. Толстом, А. Чехове, М. Горьком, И. Бунине, А. Блоке. На одной из встреч с американскими славистами мне преподнесли подарок: микрофильм о подлинной рукописи Л. Н. Толстого, хранящейся в США.

Это копия с многочисленными поправками и вставками Толстого — между строк, на полях и на отдельных листках. На первой странице автором зачеркнуто название «Сказка» и написано другое: «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях». Рукопись полная — всей сказки.

Раньше исследователи Толстого знали, что известны не все рукописи сказки. В «Описании рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого» (М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 288—290) значится: «Копия с несохранившейся рукописи...» (рук. 3) и «Часть рукописи списана с несохранившегося оригинала...» (рук. 4). На самом деле и «рукопись» и «оригинал» сохранились — только не в архиве Толстого.

Микрофильм передан в СССР — с правом публикации.

Недостававшее ранее звено — третья редакция сказки (первая была напечатана в 1937 г. в т. 25 Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого — с. 590—599; отрывок из второй — там же, с. 599—600).

После исправления и дополнений, внесенных Толстым, текст приблизился к окончательному. Однако многие фрагменты отличаются и от первоначальных и от печатной редакции: именно они предлагаются здесь к публикации.

Скобки означают зачеркнутое Толстым.

---



О том, как жил Иван-дурак с отцом и матерью в деревне, в окончательном тексте сказано кратко: «остался дома работать, горб наживать».

В нашей рукописи дальше было:

И корячил Иван дома за троих, [дом построил] и дома не уронил, отца с матерью кормил, [жил хорошо] и развел и лошадей и скота и хлеба много. Жил хорошо.

Семен-воин просит отца: «Отдели мне третью часть, я в свою вотчину переведу».

В рукописи просьба обращена к Ивану и выражена подробнее:

«А я из лошадей только [одного жеребца да мерина сивого] чалого жеребца да кобылу с снегом возьму, [корову только одну, да из снасти третью часть отдай, говорит, мне, Иван. Больше мне не надо], а из рогатого только корову с быком, а из овец мне два десятка довольно, больше не надо, а из снасти третью часть».

Именно в этой рукописи «Тарас-кулак» заменен всюду «Тарасом-брюханом».

«Нажил и Тарас-брюхан денег много — женился на купчихе, да все ему мало было, приехал к отцу и говорит:

— Отдели мне мою часть» — так в печатном тексте.

По рукописи первоначально было:

«Жил Тарас — [кулак] брюхан хорошо. Полюбил его купец, отдал за него дочь. [Стал Тарас богачом.] Разбогател Тарас. Да стало у него брюхо отрастать, и что больше брюхо растет, то больше Тарасу денег хочется. Думает Тарас: что моя отцовская часть пропадает, пойду возьму и у себя в селе торговлю открою. Еще больше наживусь».

Затем изменено (в этой же рукописи):

«Нажил и Тарас-брюхан денег много, женился на купчихе и захотел в своем городе торговлю открыть. Приехал в свой город, построился, понадобилось ему ржи, овса, гречи для начала торговли.

Приехал к отцу и говорит:

— Отдели мне, — говорит, — мою часть хлебом, я хочу в своем городе торговать. Заведу лавки и постоянный двор, и трактир. Будете ко мне заезжать, я с вас за постой брать не буду».

Первая глава сказки заключается благополучной концовкой, снятой потом:

«И хорошо жили все три брата, не ссорились и друг к другу в гости ездили».

Братьям начинает вредить старый дьявол с тремя чертями (при работе над этой рукописью они заменены «чертенятами»). Чертям дается характеристика (текст зачеркнут):

«И позвал старший дьявол одного черта войскового: этот черт и войска заводит и войска переводит, из солдат жилы вытягивает, тоску нагоняет. Другого черта торгового: этот

черт деньги заводит и деньги переводит и купцам брюхо растит. И третьего черта мужицкого: этот черт хлеб заводит и хлеб переводит и мужикам животы срывает».

О том, как решили действовать чертенята, в печатном тексте сказано кратко: «...спорили, спорили, каждому хочется полегче работу выгадать, и порешили на том, что жеребий кинуть, какой кому достанется. А коли кто раньше других отделается, чтоб приходил другим подсоблять».

В рукописи передан весь спор:

«Один чертенок говорит:

— Вот как, ребята: кинем жеребий, с кого начинать. И на кого выпадет, все на того пойдем, разорим одного, потом все вместе пойдем на другого, отделаем другого, тогда все вместе пойдем на третьего, так дело умнее будет.

А другой чертенок говорит:

— А по-моему не так надо, надо порознь каждому на одного, а чтоб никому обидно не было, надо по дням чередовать их, нынче я к Семену-воину, а ты к Тарасу, а он к Ивану-дураку, а завтра я к Тарасу, ты к Ивану, а он к Семену-воину, и так кругом идет.

А третий чертенок говорит:

— А по-моему,— говорит,— надо жеребий кинуть: какой кому достанется, пусть **каждый** по своей части на одного идет, а кто первый отделается, тот приходи другим подсоблять».

Как действовать с Семеном-воином и с Иваном-дураком, было ясно с самого начала (от редакции к редакции велась, в сущности, стилистическая правка). С Тарасом иначе. В окончательном тексте чертенок губит купца, наведя на него зависть: «что ни увидит, все ему купить хочется».

В рукописи — другое:

«Стал торговый черт у Тараса работать: муку, крупу, всякий товар гноить, мышам кормить, на постоялом дворе народ пугать, от двора отваживать и на скотину мор напускать. Стало у Тараса-кулака дело по двору и по лавке разлаживаться. Во всем убытки. [Захотел Тарас-кулак поправиться, поехал большую рощу покупать. А торговый черт отвел глаза Тарасу. Увидал Тарас рощу — думает: здесь рубль на рубль барыша будет, надо купить. Приехал к хозяину, стал покупать. А хозяин дорожится. Затянулся Тарас, отдал все деньги — купил. Приехал в рощу — глядь, там и слеги нет, один хворост, и копейки на рубль не выручишь.] Видит Тарас — плохо дело, во всех делах прогорел. Хотел около дома похлопотать, да вдруг отросло у него брюхо как мешок, ни поворотится, ни встанет, ни приглядит ни за чем, пошло его дело все хуже и хуже».

В рассказе об Иване серьезная правка коснулась эпизода с корешками.

Первый корешок Иван съел сам, чтоб живот перестал болеть.

Со вторым корешком — история сложная.

В первой редакции Иван хочет вылечить им заболевшую мать, но отец с матерью посылают его в город — вылечить купчиху: «тебе подарки дадут, ты нам привези» (25, 596).

Во второй редакции появился новый эпизод, скопированный в нашей рукописи:

«Заболел раз поп, стала попадья его лечить, всех лекарей призывала, никто не мог попу вылечить. [Стал поп умирать.] Едет попадья по дороге и плачет, а Иван навстречу навоз везет.

— Об чем,— говорит,— ты плачешь?

— Да мой старик помирает, никто лечить не берется.

Вспомнил Иван про корешки в шапке. Ощупал, тут корешки.

— Что же ты,— говорит,— мне не сказала, я его вылечу.

— Поедем,— говорит,— со мной.

— Ну что ж,— говорит.

Свалил Иван навоз, поехал с попадьею.

Приехал к попу, достал из шапки корешок, велел проглотить. Проглотил поп, сейчас выздоровел. [Вернулся Иван домой.] Надавали Ивану гостинцев, привез домой, отдал отцу с матерью».

Все это зачеркнуто, и написана на отдельном листке новая вставка:

«И забыл было Иван про свои корешки в шапке. И случилось раз: запаршивел, зачиврел у Ивана кобель старый, с места не вставал. Взял Иван после обеда хлеба, положил в шапку, понес кобелю старому. Высыпал ему из шапки, а шапка продралась и выпал один корешок. И слопал его с хлебом кобель старый.

Только проглотил корешок, кобель вскочил, стал играть, хвостом махать, совсем здоровый стал. Увидели отец с матерью, подивились. А Иван говорит:

— У меня еще один корешок остался, кого хочешь вылечу».

В окончательном тексте — «собака дворная старая» (гл. VIII).

Третий корешок, определенный, как положено в сказке, царской дочери, сразу был отдан «побирушке косорукой». А царская дочь сама выздоровела.

В рукописном тексте третьей редакции Иван чаще смеется (много раз повторяется фраза: «Засмеялся Иван») и вообще ведет себя вольнее: братьям обещает осенью, когда соберет урожай, не только «пива сварить», но и «вина накурить». Так и поступает.

И все время работает так, что старому черту становится нестерпимо тошно.

Вот несколько отрывков, не вошедших в печатный текст.

«Время косить, я хоть жилы перерву, да выкошу.

Бился, бился — не спорится работа, ровно мешает кто-то. Однако выжал Иван всю рожь.

Пришел Иван ночью овес косить, чтоб не сыпался.

Приехал из ночного Иван, пошел с девкой молотить. Только залезет черт в сноп, а Иван его на ток и начнет бузовать. Думает черт, ночью отдохнет, а Иван и ночью молотит. Обмолотил, на семена отсеял.

Обо всем этом и в окончательном тексте будет рассказываться подробно и с любовью.

Впервые в рукописи третьей редакции записан закон Иванова царства:

[И был у него в царстве только один закон: чтобы кто за стол садится, показывал хозяйке ладони. Есть мозоли, пускай за стол со всеми, а нет мозолей, доедай обедки.]

«И делал всякий что хотел. Только один закон: прежде чем за стол сажать, смотреть у людей руки. У кого мозоли, того сажать, а у кого нет, тому обедки отдавать. И завелся такой обычай по всему Иванову царству».

Старый черт явился в Иваново царство сначала в виде купца, затем — воеводы: все бесполезно (первая редакция).

Во второй написан эпизод с англичанином-купцом, который «объявил, что хочет жить у них и за все им будет платить». Но мозолей у него не оказалось: «перестали ему давать яиц и курятины, одного хлеба давали. И ушел черт, не солоно хлебавши» (25, 599—600).

В третьей рукописи появился новый текст (автограф):

«Разорил старый дьявол обоих братьев и пошел к Ивану. Пустили его жить. А у Ивана в царстве всё дураки жили, денег у них не было, друг дружке работой платили или вещь на вещь меняли. Стал старый дьявол себе дом заводить.

— Приносите,— говорит,— ко мне что мне нужно. И ходите ко мне работать, а я буду вам золотые деньги давать.

Взяли у него золотые деньги, стали работать.

Стал лошадей, коров выменивать за золотые деньги, дали и лошадей, и коров, и хлеба, и крупы, и говядины давали ему за золотые деньги. Золотые штучки в диковинку. Разобрали по себе дураки золотые деньги девкам на косы вешать и ребятам играть. Радует старый дьявол: думает, пошло мое дело на лад, разорю дурака и куплю его с потрохами за мои деньги. Только забрались дураки золотыми, раздали все девкам, всем ребятам, у всех много стало, не стали больше брать. Повешает старый дьявол, чтобы к нему на завтра приходили сто человек работать, сад сажать, обещает каждому по золотому на день. Пошли только два мальчика да одна девка, у них еще не было золотых штучек. На другой день никто не пришел. Идет старый дьявол на базар, себе хлеба и говядины покупать. Сунулся в одну лавку, дает золотой за говядину, не берет

хозяин, у меня, говорит, много и так. Сунулся к торговке соседке купить хлеба и дает золотой.

— Не нужно мне,— говорит.— У меня,— говорит,— детей нет, играть некому, а я и то три штучки для редкости взяла.

Забрались все. Куда ни пойдет старый дьявол, никто не дает ничего, а все говорят:

— Что-нибудь другое принеси или приходи работать.

Рассердился старый дьявол.

— Зачем,— говорит,— работать, когда я вам золото даю. Вы за золото всего купите и всякую работу наймете.

Не слушают дураки.

— Нет,— говорят,— нам не нужно. [И так Христа ради покормить можно. Дали ему хлеба.] С нас платы и подати никакой нет. Куда же нам деньги?

Лег не ужинавши спать старый дьявол».

Но и эта редакция не удовлетворила Толстого. В этой же рукописи появилась новая вставка.

«Дошло дело до Ивана-дурака.

— Проявился немец — ест, пьет, одеваться просит да еще всего самого лучшего просит, а только золотые штучки дает. Что с ним делать? Никто не дает ему ничего, как бы не помер с голода.

Засмеялся Иван.

— Ишь ты,— говорит.— Кормить надо. Пускай по дворам как пастух ходит.

Нечего делать: стал старый дьявол по дворам ходить, плохо пришлось старому дьяволу. В каждом дворе осматривает хозяйка руки и не сажает за стол, а объедки с свиньями дает.

Дошла очередь до Иванова двора. Пришел старый дьявол обедать. Осмотрела Иванова жена — видит, руки белые, гладкие, когти длинные, видно, в руках никогда никакого дела не побывало.

Осмотрела Иванова жена.

— Не взыщи,— говорит,— немец, нельзя мне тебя за стол пустить. Вот дай люди поедят, тогда доедай что останется.

Обиделся старый дьявол, что его у царя с свиньями кормить хотят. Стал Ивану говорить:

— Дурацкий у тебя,— говорит,— закон в царстве, чтобы без мозолей еды не давать. Это вы по глупости придумали. Разве одними руками люди работают? Люди головами работают пуще чем руками. [Ты смотришь, что у меня на руках мозолей нет, а не знаешь, сколько я головой работал, может быть головой-то труднее, чем руками.]

Удивился Иван.

— Ишь ты,— говорит. [— Что же, говорит,— ты головой работаешь?

А старый дьявол и говорит:

— А всякие дела. Что только вздумаю, то я головой и сде-

лаю. Кабы ты захотел, я бы и тебя научил, как вместо рук головой работать только.

— Ну что ж,— говорит,— научи.] А мы, дураки, все норовим руками да горбом.

Обрадовался старый дьявол. Думает, пойдет дело на лад — собьет Ивана.

— Я,— говорит,— научу тебя, как головой работать, тогда ты много счастливее будешь.

— Ну что же, научи,— говорит.— А то другой раз уморятся руки. Так хоть переменять их головой-то.

И стал старый дьявол расписывать.

— Только не легко,— говорит,— и головой работать. Вы вот мне есть не даете оттого, что у меня нет мозолей на руках, а того не знаете, что головой в 10 раз труднее работать. Как я работаю, голова трещит.

Удивился Иван.

— Ишь ты,— говорит.— Зачем же ты, сердечный, так себя мучаешь? Ты бы уж лучше легкую делал работу — руками да горбом работал.

Старый дьявол говорит:

— А затем я себя и мучаю, что я вас, дураков, жалею. Кабы я себя не мучал, вы бы век дураками были. Я головой работал, теперь и вас научу.

Обрадовался Иван.

— Научи, пожалуйста».

Дальше — эпизод с каланчой, откуда старый дьявол, обесилев, свалился (дураки, видя как он считает ступеньки, решили, что это и есть работа головой). Только в рукописи — не «господин», как в печатном тексте, а «немец».

И снова в самом конце рукописи повторен (вписан) закон. Вариант близок окончательному тексту: «Только один закон: у кого мозоли на руках, садись за стол. А у кого нет — с свиньями».

С рукописи (микрофильм поступил теперь в Рукописный отдел Государственного музея Л. Н. Толстого) была в 1885 г. сделана копия, и автор снова исправил текст и дал окончательное заглавие: «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах». Затем сказка переписывалась еще раз, и лишь этот пятый вариант Толстой отдал в печать, чтобы потом выправить текст в корректурах (фрагмент корректуры сохранился).

«Сказка об Иване-дураке...» появилась в XII части «Сочинений гр. Л. Н. Толстого» (М., 1886) и тогда же в издательстве «Посредник», но с цензурными искажениями и пропусками.

К ИСТОРИИ ЗАПРЕЩЕНИЯ РЕЧИ Л. Н. ТОЛСТОГО  
ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ

1

Среди огромного множества суждений одного писателя о другом, очень редко попадавших при их жизни в печать, речь, которую называли также докладом, лекцией, публичным чтением, предназначалась прежде всего именно публике, то есть имела характер литературно-критического выступления и потому требовала основательной предварительной подготовки. Уже одно только согласие на такой шаг было для Толстого почти беспрецедентным. Во время чествований Тургенева в 1879 году газеты отмечали, что «для полного блеска собрания», где был представлен весь цвет русской литературы, «недоставало только И. А. Гончарова и графа Л. Н. Толстого»<sup>1</sup>, который отсутствовал также в следующем году и на пушкинских торжествах, поскольку никогда не смотрел на такого рода чествования с сочувствием.

«Вспоминаю,— мотивировал он свой отказ участвовать в каких бы то ни было церемониях по поводу своего 80-летия,— как давно уже, лет около тридцати тому назад, во время чествования Пушкина и поставления ему памятника, милый Тургенев заехал ко мне, прося меня ехать с ним на этот праздник. Как ни дорог и мил мне был тогда Тургенев, как я ни дорожил и высоко ценил (и ценю) гений Пушкина, я отказался, зная, что огорчал Тургенева, но не мог сделать иначе, потому что и тогда уже такого рода чествования мне представлялись чем-то неестественным и не скажу ложным, но не отвечающим моим душевным требованиям» (78, 105).

Высказаться же о самом Тургеневе в связи с его кончиной Толстой счел для себя и возможным и необходимым. «Смерть Тургенева,— писал он Страхову 2 сентября 1883 года,— я ожидал, а все-таки очень часто думаю о нем теперь» (63, 138). 24—25 августа, когда еще не дошла эта скорбная весть до Ясной Поляны, там гостил Г. А. Русанов, записавший слова Толстого о Тургеневе: «Тургенев — хороший человек, огромный ум, гуманный... Я люблю его, но жаль его... Теперь он так болен... Вы не слышали, что с ним теперь?» В ответ на последнее газетное известие сказал: «Да, я читал это. Пишут, что его

посещает масса наших русских, что этот, как его?.. Оже? Читал ему свою комедию. Какие ж теперь комедии! — с неодобрительной миной продолжал Толстой. — Недавно написал ко мне собственноручно, тогда еще он мог сам писать, очень доброе письмо, просит меня не оставлять писать». Разговор касался личной жизни Тургенева, его желания перебраться навсегда в Россию, и это вызвало эмоциональное замечание Толстого: «Да, его тянет в Россию, должно тянуть!». Он одобритительно отозвался о «Стихотворениях в прозе», а сюжет «Песни торжествующей любви» нашел «отвратительным». Тогда же был высказан и общий взгляд на творчество писателя, о котором, как думалось Толстому до получения известия о его смерти, «сохранится память, похожая на ту, какую оставил по себе Жуковский»<sup>2</sup>.

Сообщения газет и корреспондентов Толстого о впечатлении, какое произвела повсюду смерть Тургенева, давали много нового для размышлений о нем, побуждали глубже всматриваться в прожитую им жизнь, полнее представить себе объективное значение созданных им произведений, истинные намерения автора. «Теперь, — писал 16 сентября 1883 года Страхов Толстому из Петербурга, — все здесь заняты Тургеневым, и похороны его будут что-то колоссальное. Очевидно, из них хотят сделать демонстрацию; но большинство волнуется просто из искреннего или подражательного почтения к литературе [...]. Вы пишете, что Вам думается о нем — конечно, **Вы понимаете его и его смерть лучше, чем кто-нибудь**. Я прочитываю в газетах рассказы об нем и отзывы, и перестал на него сердиться. Он был добродушный, мягкий сердцем и несчастный человек. Ему хотелось славы, и он постарался создать себе огромную известность. Но он мучился, не зная, чего держаться. В одно он верил, в прогресс, в молодое поколение — и рассорился с ним»<sup>3</sup>.

Потребность в слове Толстого о Тургеневе имела глубокий общественно-литературный характер. «Написал, — сообщал ему Страхов 28 ноября, — несколько страниц об Тургеневе, но неужели Вы ничего не напишете? Ведь во всем, что писано, такая фальшь, холод! А я с ним помирился — хоть и не имею права так говорить: не знал его почти вовсе»<sup>4</sup>. «Вы говорите, — отвечал на эти слова Толстой, — что помирились с Тургеневым. А я очень полюбил. И забавно, за то, что он был без-заминки! и свезет, а то рысак, да никуда на нем не уедешь, если еще не завезет в канаву [...]. Ведь Тургенев и переживет Достоевского и не за художественность, а за то, что без заминки» (63, 142).

Тургеневская тема продолжала оставаться для Толстого одной из животрепещущих, что и вызвало настойчивое предложение Страхова в ответном письме к нему от 12 декабря: «Если так, то напишите же, бесценный Лев Николаевич, о Тургеневе. Как я жажду прочесть что-нибудь с такою глубокою



подкладкою, как Ваша! А то наши писания — какое-то баловство для себя или комедия, которую мы играем для других»<sup>5</sup>.

Можно только сожалеть, что возникшая у Толстого душевная потребность высказать вслух свое представление о Тургеневе как художнике и человеке, сложившееся за три десятилетия творческого и личного взаимодействия с ним, натолкнулась на внешнее препятствие, оказавшееся непреодолимым. Изучение подоплеки и действительных причин запрещения непроизнесенной речи способствует уяснению характера ее замысла и целей, намерений Толстого, а также некоторых результатов этой напряженной внутренней работы.

## 2

Первое печатное упоминание предполагавшегося публичного выступления Толстого появилось 7 октября 1883 года: «5-го октября происходило закрытое заседание членов Общества любителей российской словесности, на котором обсуждался вопрос о том, как почтить память И. С. Тургенева. Общество предполагает для этого устроить публичное заседание, на которое пригласит известного писателя Л. Н. Толстого, **обещавшего сказать обширную речь о Тургеневе**»<sup>6</sup>. Этой информации, появившейся под рубрикой «Московский дневник» и составленной, очевидно, председателем общества С. А. Юрьевым, предшествовали его переговоры с писателем через посредство С. А. Толстой, начатые после того, как на заседании 16 сентября было «одним из действительных членов высказано предположение о необходимости посвятить чествованию памяти Тургенева отдельное заседание и обратиться от имени общества к ближайшим друзьям покойного, Я. П. Полонскому, П. В. Анненкову, Л. Н. Толстому, с просьбой принять участие в предстоящем чествовании памяти Тургенева»<sup>7</sup>, который одновременно с Л. Н. Толстым стал действительным членом этого общества «по предложению К. С. Аксакова, с 28 января 1859 года»<sup>8</sup>. Не исключено, что Юрьев заручился согласием Толстого выступить на тургеневском заседании во время его краткого пребывания в Москве между 22 и 26 сентября. Основание для такого предположения дает посланное Толстому вдогонку из Москвы письмо С. А. Толстой от 28 сентября: «Еще Юрьев был сегодня и сказал, что если ты согласен говорить о Тургеневе, то это можно 8-го или 15-го октября только. И ты должен об этом заявить **непременно** за неделю. Пожалуйста, ответь»<sup>9</sup>. Отзвуки разговоров в Москве о возможном выступлении слышны в письме Толстого к жене от 29 сентября из Ясной Поляны: «Переночевал в Крапивне. Все читал Тургенева. И нынче в 9 часов выехал» (83, 395).

На следующий день, получив письмо от 28 сентября, он сразу ответил: «О Тургеневе все думаю и ужасно люблю его,

жалею и все читаю. Я все с ним живу. Непременно или буду читать, или напишу и дам прочесть о нем.

Скажи так Юрьеву, но лучше 15-го». В конце письма он вновь возвращается к этой центральной для него в те дни теме размышлений и занятий: «Я в хорошем духе, и всех люблю, и тебя прежде всего.— Сейчас читал Тургеневское «Довольно». Прочти, что за прелесть» (83, 397). Через день, 1 октября: «Вчера очень долго не мог заснуть — читал Тургенева» (83, 399). 4 октября, за три дня до возвращения в Москву: «Мне хорошо одному [...]. Проснусь в 9, пойду в Заказ, вернусь, напьюсь кофею, сяду за работу часов в 11 и сижу до 1/2 4-го и опять пойду в Заказ до обеда. Обедаю, читаю Тургенева...» (83, 402).

Это заполненное мыслями о своем старшем современнике время оставило глубокий след и в памяти детей писателя, в преданиях всей толстовской семьи. «В 1883 году папá получил от Ивана Сергеевича его последнее, предсмертное письмо, написанное карандашом, и я помню, — писал И. Л. Толстой, — с каким волнением он его читал. А когда пришло известие о его кончине, папá несколько дней только об этом и говорил и везде, где мог, выискивал разные подробности о его болезни и последних днях [...]. Когда вся наша семья переехала на зиму в Москву, отец остался в Ясной Поляне один, в обществе Агафьи Михайловны и начал усиленно перечитывать всего Тургенева»<sup>10</sup>. «Во время болезни Тургенева, — вспоминал С. Л. Толстой, — отец относился к нему с большим участием, а когда Тургенев умер, он живо почувствовал его утрату. Тогда он, несмотря на всю нелюбовь к публичным выступлениям, решил прочитать доклад о Тургеневе в Обществе любителей российской словесности.

Я помню, как в то время отец тепло относился к Тургеневу, как перечел все его произведения и как ему хотелось добром помянуть своего старшего сотоварища и указать на его значение в литературе. Как известно, администрация воспрепятствовала ему это сделать. Но совесть его могла быть спокойна. Он в последние годы жизни Ивана Сергеевича сделал все, что мог, для того, чтобы изгладить воспоминания о черной кошке, пробежавшей когда-то между ними»<sup>11</sup>.

Впоследствии и сам Л. Н. Толстой говорил: «Когда умер Тургенев, я хотел прочесть о нем лекцию. Мне хотелось, особенно ввиду бывших между нами недоразумений, вспомнить и рассказать все то хорошее, чего в нем было так много и что я любил в нем. Лекция эта не состоялась. Ее не разрешил Долгоруков»<sup>12</sup>. В письме к А. Н. Пыпину от 10 января 1884 года, которое по существу является сжатым конспектом запрещенной лекции о Тургеневе, под конец выражено то же самое: «Много еще хотелось бы сказать про него. Я очень жалел, что мне помешали говорить о нем» (63, 150). Об этом же вспо-

минала и С. А. Толстая перед тридцатилетием со дня смерти Тургенева:

«Когда Тургенев скончался, Лев Николаевич решил прочесть в Москве лекцию о Тургеневе.

Администрация лекцию запретила.

Лев Николаевич искренно недоумевал:

— Почему не разрешили? То, что я предполагал говорить о дорогом мне Иване Сергеевиче, было так же невинно, как Красная Шапочка...»<sup>13</sup>. В том же 1913 году С. А. Толстая в примечании к письму Л. Н. Толстого к ней от 30 сентября 1883 года по поводу предполагавшегося выступления писала: «Сергей Андреевич Юрьев устраивал в память Тургенева заседание и предложил Льву Николаевичу прочесть что-нибудь о Тургеневе. Лев Николаевич согласился, а власти московские запретили»<sup>14</sup>. «К сожалению,— вспоминал И. Л. Толстой,— предполагавшееся публичное чтение отца о Тургеневе не состоялось.

Правительство, в лице министра графа Д. А. Толстого, запретило ему принести эту последнюю дань своему умершему другу, с которым он всю жизнь ссорился только потому, что он не мог быть к нему равнодушен»<sup>15</sup>.

### 3

Публикации в 1917 году Ю. Никольского «Дело о похоронах И. С. Тургенева»<sup>16</sup> и в 1918 году Б. И. Николаевского «Л. Н. Толстой и департамент полиции»<sup>17</sup> пролили дополнительный свет на историю этого запрещения. Появление газетного известия о согласии Толстого, обычно уклонявшегося от участия во всякого рода публичных литературных собраниях и чтениях, сказать обширную речь о Тургеневе насторожило начальника главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова, обратившего в официальном отношении к министру внутренних дел 11 октября 1883 года внимание на два обстоятельства: 1. Л. Н. Толстой — «человек сумасшедший; от него следует всего ожидать; он может наговорить невероятные вещи — и скандал будет значительный». 2. Принять меры предосторожности требовалось еще и потому, что председатель и секретарь Общества также не внушали доверия властям, «ибо Юрьев и Гольцев, прикрывшись Толстым, способны на все». Таким образом, из опасения, что «Юрьев и Гольцев вместе с гр. Толстым могут произвести нежелательную демонстрацию», министр внутренних дел порекомендовал московскому генерал-губернатору потребовать для предварительного просмотра статьи и речи, предназначавшиеся для прочтения.

20 октября 1883 года В. А. Долгоруков ответил на шифрованную телеграмму Д. А. Толстого от 12 октября следующим донесением: «Я пригласил к себе председателя названного

Общества г. Юрьева и, усмотрев из его объяснений со мною, что на предложение гг. Гольцеву и гр. Толстому представить приготовляемые ими к заседанию статьи и речи, они могут отозваться неимением их в рукописи, а затем, в самом заседании, потребовав слова, могут произнести приготовленное ими заранее, как бы импровизацию, причем отказать им в ту минуту в праве произнесения речей было бы неудобно, так как это могло бы возбудить в публике нежелательные толки,— я предпочел, по соглашению с г. Юрьевым, устранить вовсе предполагаемое заседание. С этой целью оно объявлено отложенным на неопределенное время. Формальным поводом к этому выставлено то, что лица, желающие участвовать в заседании своими статьями и речами, не все еще к этому приготовились»<sup>18</sup>.

Непубликовавшиеся письма В. А. Гольцева к А. Н. Пыпину от 4 и 14 ноября 1883 года содержат сведения о причинах запрещения тургеневского вечера, ставшие уже тогда достоянием передовой общественности и, несомненно, Л. Н. Толстого: «Заседание, которое должно было быть посвящено памяти Тургенева,— говорилось в первом из них,— отменено председателем С. А. Юрьевым, по желанию или требованию начальства, а потому едва ли состоится в нынешнем году какое-либо заседание этого Общества. Начальство боялось, надо полагать, Льва Толстого»<sup>19</sup>. В другом письме раскрывались некоторые причины этой боязни: «Что хотел сказать Толстой — не знаю. Уверен, что он непременно обругал бы церковь и государство. Теперь печатается его новая книга, в которой Толстой совершает около десяти, кажется, **открытий** (подлинное выражение) в Евангелии. Книгу, конечно, сожгут. Власти пригласили С. А. Юрьева (согласно предписания из Петербурга) и потребовали, чтобы речи на тургеневском заседании были отданы на предварительную цензуру. Юрьев возразил, что это противоречит уставу Общества; ему возразили, что «время нынче такое» (помните, как в одном рассказе Успенского?). Тогда Юрьев предпочел совсем не устраивать заседания»<sup>20</sup>.

Позднее в своих воспоминаниях инициатор запрещения речи Толстого о Тургеневе Феоктистов писал, что немало затруднений охранительным органам «причинял граф Лев Толстой. Громадным своим талантом приобрел он высокое положение в литературе, а между тем никто не производил столь растлевающего влияния на молодые умы проповедью, направленной против церкви и государства, против всех основ общественного устройства. Он сделался идолом некоторых кружков». Феоктистов привел в связи с этой репутацией в официальных сферах великого писателя суждение Александра III о нем: «Он чисто нигилист и безбожник»<sup>21</sup>. Аналогичный отзыв принадлежит царю и о Тургеневе по поводу его кончины: «Одним нигилистом меньше!»<sup>22</sup>.

Опасения официальных лиц какой-либо нежелательной демонстрации усилила появившаяся как раз тогда информация о публичном отказе Толстого от обязанностей присяжного заседателя в отделении Тульского окружного суда в Крапивне 28 сентября 1883 года. «Необъяснимое впечатление произвел наш писатель, граф Л. Н. Толстой [...], — сообщалось в газетах. — Глаза всех были обращены в сторону этого человека. Что заключается в этих немногих словах? «Не судите — не судимы и будете», «любите ближнего своего как самого себя», «человек не может судить человека», — вот великие изречения, которые после слов великого писателя овладевают душою человека»<sup>23</sup>. О том, какой общественный резонанс вызывали эти слова, дают некоторое представление строки из письма И. Н. Крамского к Л. Н. Толстому от 29 января 1885 года: «Давно и много раз я порывался писать Вам и после «Исповеди», и после перевода Евангелия, и после 2—3 слов Ваших на суде [...] как Вам дать понятие о той буре, которую Вы во мне подымали»<sup>24</sup>.

Неудивительно, что появившаяся 7 октября скромная газетная информация о намерении Толстого выступить с лекцией о Тургеневе не только сразу обратила на себя внимание «недреманного ока» официальных властей, но и вызвала громадный интерес в читающей публике. Через два дня, т. е. 9 октября, С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «23 октября Левочка будет публично читать о Тургеневе; это теперь уже волнует всю Москву, и будет толпа страшная в Актовой зале университета»<sup>25</sup>.

4

Очевидно, вскоре после возвращения Толстого из Ясной Поляны был намечен окончательно день его выступления — 23 октября, а не 15-го, как предполагалось сначала. Т. А. Кузминская также встретила это известие с большим интересом, что ясно видно из письма к ней С. А. Толстой от 29 октября: «Левочка для речи ничего не написал, хотел только говорить, вероятно, накануне набросал бы, но так как запретили; то так и не напислось и не сказалось. О Каткове он упомянул бы, но в смысле, что не все мыслящие и пишущие люди свободны от подслуживания властям и правительству, а что Тургенев был вполне свободный и независимый человек и служил только делу (cause), а дело его было литература; мысль свободная и слово свободное, откуда бы оно ни шло...»<sup>26</sup>.

Это важное свидетельство об одном из центральных тезисов предполагавшейся речи подтверждается прежде всего письмом Л. Н. Толстого к А. Н. Пыпину от 10 января 1884 года: «Я ничего не пишу о Тургеневе, потому что слишком многое и все в одной связи имею сказать о нем. Я и всегда любил его,

но после его смерти только оценил его, как следует [...]. Главное в нем это его **правдивость** [...] Тургенев [...] хорошо говорит всегда **то самое, то, что он думает и чувствует** [...]. Он жил, искал и в произведениях своих высказывал то, что он нашел — все, что нашел. Он не употреблял свой талант (уменье хорошо изображать) на то, чтобы скрывать свою душу, как это делали и делают, а на то, чтобы всю ее выворотить наружу. Ему нечего было бояться» (63, 149—150). В следующем году Толстой повторил в беседе с Г. П. Данилевским свое теперь уже вполне определившееся и достаточно устойчивое суждение о Тургеневе-художнике: «Это был независимый, до конца жизни, пытливый ум, и я, несмотря на нашу когда-то мимолетную размолвку, всегда высоко чтил его и горячо любил. Это был истинный, самостоятельный художник, не унижавшийся до сознательного служения мимолетным потребам минуты. Он мог заблуждаться, но и самые его заблуждения были искренни»<sup>27</sup>.

Отзвуки размышлений над тем, что должно было войти в обширную речь о Тургеневе, слышны в дневниковой записи В. Ф. Лазурского, сделанной 23 июня 1894 года, когда состоялся разговор с Толстым о появившейся тогда книжке, посвященной творчеству Тургенева: «Выше всех он ставит «Довольно» и статью «Гамлет и Дон Кихот». Говорил, что писал статью о Тургеневе, где рассматривал эти два произведения в связи одно с другим (настроение разочарования и потом указание пути спастись от сознания пустоты). Хотел читать на тургеневском празднике (т. е. на заседании, посвященном памяти писателя. — В. Г.), но ему «запретили»<sup>28</sup>. Этот тезис произнесенной речи Толстой затронул и в беседе с Лазурским 5 августа 1894 года: «Я всегда говорю: чтобы понять Тургенева, нужно читать последовательно: «Фауст», «Довольно» и «Гамлет и Дон Кихот». Тут видно, как сомнение сменяется у него мыслью о том, где истина»<sup>29</sup>. Неубывающий интерес к двум последним из названных произведений Толстой объяснил в дневниковой записи, сделанной 7 октября 1892 года: «Тургеневское Довольно, и Гамлет и Дон Кихот — это отрицание жизни мирской и утверждение жизни христиан(ской). Хорошую можно составить статью» (52, 74).

Так получали дальнейшее развитие отдельные положения, которые Толстой предполагал подробно развить и обосновать в лекции о Тургеневе и сжато высказал в письме о нем к Пыпину от 10 января 1884 года: «По-моему, в его жизни и произведениях есть три фазиса: 1) вера в красоту (женскую любовь — искусство). Это выражено во многих и многих его вещах; 2) сомнение в этом и сомнение во всем. И это выражено и трогательно и прелестно в «Довольно», и 3) не формулированная, двигавшая им и в жизни и в писаниях вера в добро — любовь и самоотвержение, выраженная всеми его типами самоотверженных и ярче, и прелестнее всего в Дон Кихоте, где

парадоксальность и особенность формы освобождала его от его стыдливости перед ролью проповедника добра» (63, 150).

Таким образом, смерть Тургенева и вызванная этим глубокая душевная потребность перечитать его произведения, заново осмыслить их для себя, соотнести со своим собственным литературно-эстетическим опытом, с наиболее памятными ему явлениями всей отечественной и мировой культуры аккумуляровали и в иных случаях видоизменили прежние суждения Толстого о тех или других произведениях старшего современника. Так, Л. Л. Толстой вспоминал в статье «Л. Н. Толстой и писатели, которых он читал» (к 6-й годовщине со дня смерти): «В позднейшие годы Лев Николаевич неожиданно перечел «Довольно» и, выйдя вечером к чаю, стал очень хвалить эту вещь.

Помню, что эта похвала его меня поразила потому, что я хорошо помнил и помню до сих пор, как именно эту вещь когда-то Лев Николаевич осуждал и даже относился к ней с насмешкой»<sup>30</sup>. Действительно, вскоре после ее появления и первого знакомства с ней Л. Н. Толстой писал Фету 7 октября 1865 года: «Довольно» мне не понравилось. Личное, субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти, а тут субъективность, полная безжизненного страдания» (61, 109). 29 сентября 1865 года Толстой писал об этом же произведении С. Н. Толстому: «Тургенева «Довольно» я прочел и очень не одобрил и уверен, что тебе очень понравится. Потому что вы с Тургеневым больны одною и тою же нравственной болезнью, которую назвать трудно, но которая и есть «довольно» (61, 106—107).

Одну из причин столь негативного отношения к названному и другим произведениям Тургенева Толстой назвал сам в письме к Фету от 28 июня 1867 года, где было выражено отрицательное суждение о романе «Дым»: «Я боюсь только высказывать это мнение, потому что я не могу трезво смотреть на автора, личность которого не люблю...» (61, 172). Но, как заметил однажды Тургенев, «в природе и в жизни все так или иначе примиряется — если жизнь не может, смерть примирит»<sup>31</sup>. О его предсмертном письме Толстой сказал, что оно «не было оставлено им без ответа, а только отложено до лучшего прилива»<sup>32</sup>, который как раз и представляла собой запрещенная речь, «продолжавшаяся» в разных видах и множестве других случаев до конца дней самого Толстого. Встречавшийся с ним М. О. Меньшиков записал в августе 1900 года: «Часто вспоминал Тургенева.

— Он очень много сделал для литературы тем, что не искал покровительства и первый показал пример независимости писателя. Разница резкая в сравнении с прежними...

— Например, с кружком Жуковского,— заметил я.

— Именно»<sup>33</sup>.

Между тем при жизни Тургенева Толстому иногда казалось, что о его старшем литературном современнике сохранится память, похожая на ту, какую оставил по себе Жуковский. Аналогичные изменения претерпели и оценки некоторых произведений. Так, Х. Н. Абрикосов услышал 4 апреля 1904 года от Толстого: «У Тургенева самое лучшее это «Довольно»<sup>34</sup>. Даже тургеневские героини, не вызывавшие прежде симпатий у Толстого, были по-новому им оценены. Веское свидетельство об этом приведено в полемическом отклике А. М. Горького на утверждение И. Ф. Наживина о том, что якобы Толстой считал «Чехова, как и Тургенева, писателем совершенно «пустым»: «Не думаю, чтоб и к Тургеневу, — как к литератору, — Толстой относился отрицательно, называл его «пустым», ибо знаю ряд отзывов, которые резко противоречат показанию Наживина. В Гаспре, в 1901 году, Л. Н. говорил Чехову:

— Тургенев сделал великое дело тем, что написал удивительные портреты женщин. Может быть, таких, как он писал, и не было, но когда он написал их, они появились. Это — верно; я сам наблюдал потом тургеневских женщин в жизни [...]. Тургенев был хороший писатель, у него простой, честный язык, настоящий русский»<sup>35</sup>.

Изучение суждений Толстого о Тургеневе, наиболее полным средоточием которых должна была стать запрещенная речь, сохраняет и сегодня свой живой интерес.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Молва, 1879, № 75, 18 марта.

<sup>2</sup> Русанов Г. А., Русанов А. Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом 1883—1901. Воронеж, 1972, с. 28, 32, 55—56.

<sup>3</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. Спб., 1914, с. 306 (Выделено мною. — В. Г.).

<sup>4</sup> Там же, с. 309—310.

<sup>5</sup> Там же, с. 310.

<sup>6</sup> Русский курьер. 1883, 7 октября, № 203, с. 2. (Выделено мною. — В. Г.).

<sup>7</sup> Общество любителей российской словесности при Московском университете. 1811—1911. Историческая записка и материалы за сто лет (М., 1911), с. 145.

<sup>8</sup> Там же, с. 45. См. также: Словарь членов Общества любителей российской словесности при Московском университете (М., 1911), с. 288—290.

<sup>9</sup> Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. 1862—1910. М. — Л., 1936, с. 230.

<sup>10</sup> Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1969, с. 155—156.

<sup>11</sup> Толстой С. Л. Очерки былого. Изд. 3-е. Тула, 1968, с. 327.

<sup>12</sup> Гольденвейзер А. В. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 62.

<sup>13</sup> Толстой и Тургенев (Из воспоминаний С. А. Толстой). Подпись: «Г. П.» — Русское слово, 1913, № 193, 22 августа. Об этой публикации см.: Толстая С. А. Дневники, т. 2. М., 1978, с. 395, 573.

<sup>14</sup> Письма графа Л. Н. Толстого к жене. М., 1913, с. 201. То же, изд. 2-е, исправленное и дополненное. М., 1915, с. 203.

<sup>15</sup> Толстой И. Л. Мои воспоминания, с. 156.

<sup>16</sup> Былое, 1917, № 4 (26), с. 146—156.

<sup>17</sup> Там же, 1918, № 3 (9), с. 204—215.



<sup>18</sup> Подлинник дела департамента полиции «О похоронах Ивана Сергеевича Тургенева», в которое вошли и документы, относящиеся к истории запрещения речи Л. Н. Толстого, хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, ф. 102. Департамент полиции. 3-е делопроизводство, ед. хр. 785, 1883 год. Отношение Е. М. Феоктистова — Д. А. Толстому от 11 октября — л. 22, шифрованная телеграмма министра внутренних дел московскому генерал-губернатору от 12 октября — л. 23, ответ на нее от 20 октября — л. 28.

<sup>19</sup> Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей, ф. 621 (А. Н. Пыпин), ед. хр. 231, лл. 11—110б.

<sup>20</sup> Там же, лл. 10—10 об.

<sup>21</sup> Феоктистов Е. М. Воспоминания. Л., 1929, с. 242, 244.

<sup>22</sup> Из дневника В. П. Гаевского. — Красный архив. 1940, № 3 (100), с. 231.

<sup>23</sup> Вьюков М. Граф Л. Н. Толстой — присяжный. — Спб. ведомости, 1883, № 270, 7 октября. См. также: Новое время, 1883, № 2734, 8 октября; № 2737, 11 октября.

<sup>24</sup> Крамской И. Н. Письма, статьи в двух томах, т. 2. М., 1966, с. 170.

<sup>25</sup> Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, 1828—1890. М., 1958, с. 563.

<sup>26</sup> Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1969, с. 421. Примечания.

<sup>27</sup> Данилевский Г. П. Поездка в Ясную Поляну. — Исторический вестник, 1886, № 3, с. 539.

<sup>28</sup> Толстой Л. Н. в воспоминаниях современников. Изд. 2-е, исправл. и дополн., т. 2. М., 1960, с. 10.

<sup>29</sup> Там же, с. 30.

<sup>30</sup> Биржевые ведомости, 1916, № 15906, 5 ноября.

<sup>31</sup> Тургенев И. С. Письма, т. II, М., с. 144.

<sup>32</sup> Сергеев П. Толстой и его современники. М., 1911, с. 211.

<sup>33</sup> Прометей, т. 12, М., 1980, с. 249.

<sup>34</sup> Толстой Л. Н. в воспоминаниях современников, т. 2., с. 150.

<sup>35</sup> Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 46.

## ЛЕВ ТОЛСТОЙ И «ВЕХИ»

Исследовательская задача автора статьи определяется прежде всего самым характером наследия Толстого — не только великого художника и мыслителя, но и выдающегося общественного деятеля. Но помимо этого она диктуется также необходимостью защиты писателя от тенденциозного истолкования его творчества современным буржуазным литературоведением.

Обозревая зарубежные исследования о русском романе, советский литературовед А. Макеев показал, что английский славист Т. Кейн считает Вл. Соловьева, Бердяева и Шестова прямыми наследниками Л. Толстого<sup>1</sup>. Распространенные на Западе подобные сопоставления не всегда находят, к сожалению, отповедь со стороны наших философов. Более того, в некоторых наших публикациях недавнего времени можно встретиться с довольно спорными рассуждениями о философских позициях позднего Толстого. Очень нечетко представлены, например, взаимоотношения между Л. Толстым и Д. Мережковским в монографии В. А. Кувакина «Религиозная философия в России начала XX века» (1980). Утверждая, что мировоззрение Мережковского, нашедшее отражение в его книге «Л. Толстой и Достоевский», сформировалось в ходе анализа религиозных представлений двух писателей<sup>2</sup>, исследователь упускает из виду то важное обстоятельство, что Мережковским был написан, в сущности, памфлет, полный нападок на Толстого с позиций православной церкви. Имя Толстого фигурирует у В. А. Кувакина также среди предшественников Л. Шестова и Н. Бердяева<sup>3</sup>. В статье И. Г. Лукьяновой и С. М. Флегонтовой, опубликованной в 1981 году в «Ученых записках» ЛГПИ им. А. И. Герцена, на основании одной лишь фразы Н. Бердяева выводится аналогия между Толстым и Бердяевым в трактовке субъективного фактора в истории<sup>4</sup>. Далее в брошюре И. И. Виноградова «Критический анализ религиозно-философских взглядов Л. Н. Толстого», изданной массовым тиражом в 1981 году, говорится о сходстве бога Толстого с богом церковников, а имя писателя ставится в один ряд с именами Вл. Со-

ловьева, Бердяева, С. Булгакова, Шестова, Розанова, Мережковского, Флоренского, Франка и др.<sup>5</sup>

Таким образом, Толстой оказывается в соседстве с самыми известными носителями идеалистической и религиозной мысли России начала XX века, чья общая платформа нашла свое наиболее законченное выражение в сборнике «Вехи» (1909), который был охарактеризован В. И. Лениным как «энциклопедия либерального ренегатства»<sup>6</sup> и который нашел свое место в арсенале антикоммунизма<sup>7</sup>.

Невнимание к конкретным фактам деятельности Л. Н. Толстого и к реальной расстановке классовых сил в России в канун и после первой русской революции может способствовать созданию ошибочных представлений о месте великого писателя в идеологической жизни его эпохи. Исходя из этого, автор данной статьи ставит перед собой задачу напомнить о некоторых аспектах взаимоотношений Толстого с предшественниками «веховства» Н. Я. Гротом и Вл. Соловьевым, о принципиальных расхождениях писателя с авторами печально знаменитого сборника по таким коренным общественно-политическим проблемам того времени, как оценка самодержавия и церкви, отношение к народу и интеллигенции, трактовка задач искусства. Попутно будет обращено внимание на ту критику справа, которой подвергался Толстой в связи с рассматриваемым кругом вопросов.

История взаимоотношений Толстого с предшественниками «Вех» может быть прослежена на протяжении нескольких десятилетий, причем это история все более углубляющихся расхождений. В 80-е годы писатель находился в дружеских отношениях с профессором Московского университета Н. Я. Гротом, пытавшимся синтезировать идеи пантеизма с системой Платона. Тракта́т Толстого «О жизни» (1886—1887), редактором которого был Н. Я. Грот, действительно, содержит неоднократные упоминания о существовании «невидимого центра» души человека до его физического рождения, рассуждения о том, что наша реальная жизнь во времени и пространстве является лишь подобием некоей истинной жизни, находящейся в другом измерении, что люди вступают в жизнь уже с готовыми свойствами своего «я» и т. д. (26; 406, 414, 420—422). Эти положения подкрепляются писателем прямой ссылкой на Платона (26, 407). Но в то же время колебания Толстого между материализмом и идеализмом уже тогда сказались в трактате с такой силой, что немедленно после его публикации известный философ-идеалист А. А. Козлов объявил, что Толстой вступает на ошибочный путь, что у него «при видимом утверждении безвременности и беспространственности человеческой жизни оставляется, говоря фигурально, лазейка, через которую можно незаметно перебираться в пространство и время»<sup>8</sup>. Опасения рецензента не были лишены

оснований: в последующие годы Толстой будет постоянно колебаться между материалистическим и идеалистическим толкованием категорий пространства, времени и движения. Что касается Н. Я. Грота, то по прошествии нескольких лет он объявил о своей солидарности с А. А. Козловым в критике философских позиций писателя. «Критика не раз совершенно справедливо указывала, что Толстой, принимая всецело мораль христианства, ошибочно отвергает всю его метафизику», — писал он в 1893 году, ссылаясь при этом на цитированную выше рецензию А. А. Козлова<sup>9</sup>.

Одно из главных расхождений Толстого с Гротом, сказавшееся в дальнейшем и на его отношении к платформе «веховцев», заключалось в следующем: Грот, называвший себя сторонником «синтетического пантеизма»<sup>10</sup>, исходил из признания бога-творца и личной воли вселенной<sup>11</sup>. Толстой же всегда считал подобные верования глубоко вредными<sup>12</sup>. Утверждаемые Н. Я. Гротом принципы философии Платона, идеи бога-творца и доброй воли вселенной, получившие у Вл. Соловьева и его единомышленников уже политическую окраску, вызывали неприятие Толстого прежде всего потому, что использовались последними для оправдания русского самодержавия.

Отношения между Толстым и Вл. Соловьевым, почти всегда отличавшиеся напряженностью и взаимным недоверием, за исключением нескольких случаев совпадения их позиций в критике политики русского самодержавия (например, в 1881 и 1889 годах) привлекали внимание многих современников. И. А. Бунин, отметив, что главным пунктом расхождения Толстого и Вл. Соловьева был вопрос о воскресении Христа, добавляет: «Но сколько было между ними всяких других разномыслий и вообще различий!» Далее он описывает благополучие хамовнического дома: «Эта прихожая, эта лестница и этот зал <...> большой чайный стол, над которым озабоченно хлопотал молодой лакей, всех называвший сиятельствами»; в противовес этому Бунину вспоминаются «бездомные скитания Соловьева по номерам и домам знакомых, его длинная фигура в длинном сюртуке и макферлане, его подчеркнуто интеллигентский вид... его постоянные болезни, постоянные причастия и полное бесстрашие смерти...»<sup>13</sup>.

В исследовании З. Г. Минц дан обстоятельный анализ взаимоотношений двух оппонентов на протяжении последней четверти XIX века. Выделив четыре этапа в развитии взаимоотношений двух мыслителей, З. Г. Минц показывает, что в конце своей жизни Вл. Соловьев, разочаровавшись в теократической утопии, переходит на позиции, весьма близкие к церковной ортодоксии и политической официозности. Оценивая трактат Соловьева «Три разговора», исследовательница обнаруживает здесь более диалектическое, чем у Толстого, понимание исторического процесса, однако видит, что он ведет критику

толстовской программы непротивления с откровенно реакционными, охранительными позициями, сочетая ее с прямой защитой самодержавия и православной церкви<sup>14</sup>.

Непримиримое отношение великого писателя к этим двум институтам, отталкивавшее его от Соловьева, ляжет впоследствии пропастью между ним и «веховцами». Это было принципиальное расхождение. Программа теократии, разработанная Соловьевым под сильным влиянием философии Платона<sup>15</sup> и включающая в себя оправдание социальной иерархии, противоречила всей системе воззрений Толстого. «Часто удивлялся на путаницу понятий таких умных людей, как Вл. Соловьев (сказал бы: Булгаков, если бы признавал в нем ум), и теперь ясно понял, отчего это. Все от того же (как и во всей теперешней науке) признания государства как чего-то независимо от воли людей существующего, предопределенного, мистического, неизменного», — писал он в дневнике 1906 года (55, 286). Столь же неприемлем был для Толстого практический аспект теории государства Соловьева. Когда в 1885 году последний выступил со статьей об исторической пользе войн, считая, что они способствуют укрупнению государственности и усилению власти церкви<sup>16</sup>, Толстой заметил по этому поводу: «Уж очень скверно то, что написал Соловьев» (68, 193).

В меньшей степени разделяло их отношение к православной церкви. Толстой порицал Соловьева за поиски истины «в загаженном уголку церкви» (64, 48), а тот объявил писателя религиозным самозванцем, обманщиком, так как он «предпочитает наружно примыкать к Христову евангелию», оставляясь чуждым Христу и объявляя «мифологией» его воскресение, призывая к установлению царства божия не на небе, а на земле, «здесь и теперь»<sup>17</sup>. Толстой продолжает вести полемику с взглядами Вл. Соловьева по вопросам религии и после кончины последнего. 12 марта 1909 года он заявил в присутствии Д. П. Маковицкого: «Нам трудно понять, как можно верить в православие, а уж в католицизм с непогрешимым папой... А наш Соловьев туда залез»<sup>18</sup>. 24 октября 1910 года, то есть в последний месяц своей жизни, Толстой сказал П. Н. Гастеву: «Самые наивные атеисты, материалисты мне несравненно ближе, чем эти Соловьевы» (М., IV, 395).

Ни в коей мере не забывая ленинского указания о том, что идеализация учения Толстого принесла бы огромный вред, поскольку у него «борьба с казенной церковью совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то есть нового, очищенного, уточненного яда для угнетенных масс»<sup>19</sup>, следует проводить, однако, четкую границу между религиозными исканиями Вл. Соловьева и Л. Толстого. Если у первого они в конечном счете сомкнулись с программой укрепления самодержавной власти царя, то у второго, наоборот, религиозно-утопические искания были пронизаны известной альтернати-

вой «кесаря» и «галилеянина». Толстой исходит из того, что «религия изменяет государственный порядок, не думая об этом, но государственная власть не может, хотя и старается это сделать, изменить религию» (53, 30), что «сила религии в том, чтобы чувствовать себя выше всех законов человеческих» (54, 283), что «религия — это понятная всем философия» (55, 92). Провозгласив в 1904 году, что надо выбрать «одно из двух: повиноваться высшему закону бога или государства» (55, 317), в 1909 году писатель дает этой мысли конкретное политическое оформление в статье «Нет худа без добра», в которой пишет: «Нельзя верить, чтобы русский простой... народ променял бога на государство»; только высшие сословия признают «обязательным подчинение закона бога, требований совести «закону» государства и его требованиям» (38, 49). Самодержавие, следовательно, противоречит законам совести. Статья была написана в феврале 1909 года, то есть за месяц до выхода сборника «Вехи».

Авторы, готовившие этот сборник к печати, не теряли, по-видимому, надежды на приобщение великого писателя к своей программе. В январе 1909 года Ясную Поляну посетил М. О. Гершензон. Дневниковая запись Толстого показывает, что он почувствовал какую-то затаенную цель этого визита и попытки гостя внушить ему свои воззрения. Особого внимания заслуживает то, что главным объектом расхождения стала та философская преамбула «веховцев», которая берет свое начало в работах Н. Я. Грота и Вл. Соловьева: «Оказалось, что для него уже решено, что есть кто-то, создавший и ведущий мир», — пишет Толстой о Гершензоне и далее оценивает подобную концепцию как «грубое суеверие» (57, 6). Чтение самого сборника «Вехи», присланного по его просьбе Гершензоном, вызвало у писателя бурную отрицательную реакцию.

Интерес Толстого к выступлению «веховцев» был вызван, как он сам признается, газетным сообщением о том, что «новая интеллигенция признает для улучшения жизни людей не изменение внешних форм жизни, как это признает старая интеллигенция, а внутреннюю нравственную работу людей над самими собой. Так как я давно уже и твердо убежден в том, что одно из главных препятствий движения вперед к разумной жизни и благу заключается именно в распространенном и утвердившемся суеверии о том, что внешние изменения форм общественной жизни могут улучшить жизнь людей, то я обрадовался, прочтя это известие, и поспешил достать литературный сборник «Вехи» (38, 285—286). В этих словах писателя отражен тот объективный момент, что апелляция к духу, противопоставление «внешних» и «внутренних» форм борьбы, действительно, могли бы послужить связующим звеном между Толстым и авторами сборника. Реверансы последних в сторону Ясной Поляны говорят о том, что они не исключали возмож-

ности создания общей платформы и укрепления своих позиций авторитетом великого писателя.

Но эти надежды «веховцев» не оправдались. «Но чем дальше я читал, тем больше разочаровывался», — пишет Толстой (38, 286). Сразу же возникает расхождение между ним и «веховцами», и намечается оно — парадоксальным, на первый взгляд, образом — по линии противопоставления «внешних» и «внутренних» форм жизни. Первый взрыв негодования вызывает у Толстого статья Кистяковского «В защиту права» — где автор «не только прямо поддерживает основы внешнего общественного устройства», но отрицает «все то, что должно и может заменить эти внешние формы» (38, 287). Оказалось, таким образом, что Толстой весьма далек от терпимого отношения к «внешним формам жизни», если под ними подразумевается режим самодержавия. Нравственная доктрина писателя отступает перед его ненавистью к либеральной тактике «золотой середины» — для него неприемлемы прежде всего те «ливрейные» чувства «веховцев», о которых писал В. И. Ленин, говоря, что в сочетании с ненавистью к народу они вскрывают весь дух «Вех»<sup>20</sup>.

Статью «О «Вехах», законченную в мае 1909 года, Толстой не опубликовал потому, как он признался Д. П. Маковицкому, что «неприятен ему шум, который может подняться вокруг его статьи, и озлобление, которое могло бы возбудиться, да и книга «Вехи» не такой важности, какую ей приписывают» (М., III, 411). Действительно, статья Толстого написана в весьма резком тоне. Вслед за обсуждением верноподданных излияний Кистяковского писатель выражает свое несогласие с авторами сборника по целому ряду вопросов, главный из которых он усматривал, согласно его собственному заявлению корреспонденту газеты «Русское слово», в своих разногласиях с «веховцами» в понимании роли народа и интеллигенции в будущих судьбах России<sup>21</sup>. Его возмущает «кастовая самоуверенность» этой «новой» интеллигенции, считающей, что будущее страны находится в ее руках. «Ей, этой горсти, принадлежит монополия европейской образованности и просвещения в России, — иронически пересказывает Толстой идеи «веховцев», — она есть главный его проводник в толщу сто-миллионного народа» (38, 286) и далее восклицает: «Не просвещать надо вам народ, а учиться у него» (38, 289). Уверенно и последовательно развивает он мысль о том, что будущее России связано не с этой интеллигенцией, «запутавшейся в своих неясных понятиях» и разучившейся даже излагать свои мысли, а в «духовной силе русского народа», его умении «правдиво ставить себе основные, существенные вопросы о жизни и просто, прямо и искренно отвечать на них» (там же). В подтверждение своих слов Толстой ссылается на тверского крестьянина Сютеева, чье превосходство над «веховцами»

писатель видел в том, в частности, что он пришел к «ясному, твердому и несогласному с церковным пониманию христианства» (38, 288), в то время как веховская интеллигенция способна лишь «развратить народ» на почве «универсальной и национальной, или какой-то мистической церкви» (38, 289).

22 мая 1909 года, то есть в момент своей острой полемики с «веховцами», Толстой записывает в дневнике, что одно из «очень грубых и вредных суеверий» — это думать, «что есть Бог, который сотворил мир и человека и дал ему определенный, выраженный словами закон» (57, 72). Однако расхождения между Толстым и авторами «Вех» по религиозным вопросам имели довольно сложный характер: осуждая последних за ориентацию на официальные церковные институты, писатель опирался при этом на собственную религиозно-нравственную доктрину. 11 августа 1909 года Ясную Поляну посетил П. Б. Струве. В беседе с ним Толстой подчеркнул, что склонен критиковать «веховцев» с позиций более глубокой религиозности. Начало этой беседы зафиксировано Д. П. Маковицким, записавшим слова Толстого: «Тут... я — более роялист, чем король» (М., IV, 38). Продолжение разговора известно из воспоминаний А. Б. Гольденвейзера: «Справедливы ваши упреки интеллигенции в нерелигиозности», — сказал Толстой лидеру «веховцев» и далее добавил: «Но я не вижу той религиозной основы, во имя которой все это говорится, а ведь это главное»<sup>22</sup>.

Казалось бы, ко всему этому трудно что-либо добавить. Однако реальные поступки двух оппонентов — Толстого и Струве — не только добавили к указанному спору нечто весьма существенное, но показали, что они стоят на противоположных позициях. Проследим эти факты по материалам тогдашней прессы. Дело в том, что именно в то лето Толстой, вопреки своему призыву добиваться «царства божия внутри вас», особенно настойчиво ратовал за земельную реформу. 9 июня 1909 года он опубликовал в газете «Русские ведомости» статью «По поводу приезда сына Генри Джорджа», в которой заявил, что собственность на землю должна быть уничтожена, ибо несправедливость земельной собственности гораздо хуже крепостного рабства (38, 71). Эту мысль Толстой повторил далее в статье «Неизбежный переворот», опубликованной 10 сентября того же года, то есть через месяц после разговора со Струве. «В старину было рабство одних у других, но не было того всеобщего захвата земли, какой есть теперь», — пишет в этой статье Толстой (38, 80). Он обращает внимание своих читателей не только на положение крестьянства, но и на страдания людей из рабочего класса, на «замариваемых на фабриках нездоровым трудом работников, женщин, детей» (38, 92). Толстой призывает освободиться от «религиозного учения о божественности власти» (38, 90) и далее делает знаме-



нательное обобщение, которое фактически шло вразрез с его установкой на «внутренние» формы деятельности: «Причина того зла, от которого мы все страдаем, не в людях, а в том ложном устройстве жизни на насилии, которое люди считают необходимым» (38, 96).

Именно за эту мысль Толстого ухватился Струве. Подметив в ней проявление противоречивости писателя, он повел на него атаку с крайне реакционных позиций. В своей статье «Роковые вопросы. По поводу статьи Л. Н. Толстого «Неизбежный переворот»<sup>23</sup> лидер «веховцев» прежде всего обвинил Толстого — отметим это особо — в отходе от «религиозного понимания жизни», «которое утверждает, что люди живут дурно, потому что они сами дурны или плохи». Писатель, по мнению Струве, обнаруживает склонность к «решению рационалистическому, несовместимому с религиозным пониманием жизни», что «роковым образом приводит к подмене задачи внутреннего совершенствования человека задачей внешнего устройства жизни». Доводя до логического конца свое наступление на яснополянского мыслителя, Струве отмечает далее, что, говоря «о всяких национализациях земли», толстовцы могут превратиться в сторонников насилия. И, ставя уже все точки над *i*, он делает одно личное признание («Я перестал быть социалистом в обычном смысле, т. е. перестал верить в решающую силу «внешнего устройства» человеческой жизни»), которое вполне могло бы быть понято как скрытое предупреждение писателю об опасности оказаться среди сторонников социализма. Так завершилась полемика, начатая в Ясной Поляне. Жизнь внесла в нее свои коррективы, выявив, кто на деле стоит за «внешние», а кто — за «внутренние» перемены, и показав истинное лицо лидера «новой» интеллигенции.

Одним из последних художественных произведений Л. Толстого были очерки «Три дня в деревне», состоящие из четырех частей. В нем изображаются страдания русского крестьянства. Это произведение появилось в сентябрьском выпуске «Вестника Европы» за 1910 год, но самая смелая часть его, озаглавленная «Сон», подверглась купюрам и была полностью напечатана только после смерти писателя. Лишь слегка завуалировав смелость своих высказываний мотивом будто бы увиденного сна, Толстой заявляет здесь, что возможно единственное решение земельного вопроса: «полная отмена права земельной собственности» (38, 30) и что он, Толстой, будет повторять эту истину с настойчивостью Катона Старшего, заклинавшего римский сенат покончить с Карфагеном.

Если придерживаться предпринятого в «Вехах» деления русской интеллигенции на «старую», то есть революционно-демократическую, и «новую», то есть буржуазно-либеральную, то место Толстого в общей, коренной расстановке классовых сил в тогдашней России окажется в сборнике, вероятно, ближе

к первой группе. Советскими учеными такая мысль уже высказывалась.

Например, А. Н. Иезуитов находит в статье Ленина о «Веках» «конкретный намек на творчество Толстого»: ведь в ней упоминается о периоде с 1861 по 1905 год как о времени протеста и борьбы самых широких масс населения против остатков крепостничества, а это и есть та самая эпоха, которая, как подчеркивает Ленин в своих статьях о Толстом, получила полное и верное отражение в творчестве великого реалиста. «Так Ленин намечает внутреннее единство освободительного движения и демократической русской литературы, которая от Белинского до Толстого всегда была верным отображением настроений широких масс», — заключает свою мысль А. Н. Иезуитов<sup>24</sup>.

Можно добавить, что помимо соотнесения взглядов Толстого с традициями русского освободительного движения в работах Ленина имеются и неоднократные противопоставления позиций великого писателя и идеологов либеральной буржуазии. В статье «Л. Н. Толстой» Ленин отмечает, что либеральные газеты замалчивают взгляды Толстого на государство, на церковь, на частную поземельную собственность, на капитализм, так как «каждое положение в критике Толстого есть пощечина буржуазному либерализму»<sup>25</sup>. Противопоставлением Толстого буржуазному либерализму пронизана также ленинская статья «Герои «оговорочки». Вместе с тем в ней звучит и предостережение: либералы готовы абсолютизировать противоречивые стороны мировоззрения Толстого, чтобы обратить их в свою пользу. Та же мысль была повторена Лениным в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» (1911), в которой указывается, что идеализация толстовских идей «нравственного самоусовершенствования» была бы на руку либералам. В то же время, решительно отвергая реакционные стороны учения Толстого, Ленин указывает, что «отсюда вовсе не следует ни того, чтобы это учение не было социалистическим, ни того, чтобы в нем не было критических элементов, способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов»<sup>26</sup>. Сами противоречия писателя вызывают, таким образом, необходимость очень тщательного взвешивания результатов его деятельности в каждой конкретной ситуации.

Обратимся к некоторым фактам, касающимся взаимоотношений Толстого с Л. Шестовым и Д. Мережковским, имена которых упоминались в начале нашей статьи. Известно, что оба они — авторы монографий о Толстом — книга Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» вышла в 1902 году, а книга Шестова «Добро в учении гр. Толстого и Ницше» — в 1907 году. Об этих публикациях Толстой отзывался обычно насмешливо-критически, называя авторов декадентами, а Шестова, кроме того, — циником<sup>27</sup>. Удивляться не приходится: Шестов — известный апологет Ницше, а Толстой всегда осуждал ницшеан-

скую философию, называя ее «безнравственной, грубой, напыщенной, бессвязной болтовней» (34, 275).

2 марта 1910 года Шестов посетил Ясную Поляну. После беседы с ним Толстой сказал Маковицкому, что Шестов только с той стороны был ему интересен, что рассказывал про литераторов, в результате чего он, Толстой, понял, что «Мережковский, Бердяев — ничтожные люди... они имеют меньше значения, чем я им приписывал» (М., IV, 190). «Он литератор, а не философ», — добавил Толстой о Шестове (там же). В апреле того же года Толстой попросил своего секретаря В. Ф. Булгакова прочесть одну из статей Шестова, но прервал чтение, сказав: «Без содержания, набор слов. Это декадентская философия» (М., IV, 220). После эмиграции из Советской России Шестов приобрел известность на Западе своими писаниями в духе экзистенциализма, причем он, как и Н. Бердяев, пришел к экзистенциализму через Ницше<sup>28</sup>.

Толстой, выдвигавший в противовес нищезанятству принцип деятельного добра и равенства людей, потенциально противостоял и экзистенциалистским идеям об абсурдности бытия, о бесполезности человеческих усилий, о роковой разобщенности людей. Он всегда исходил из признания могущества разумной инициативы, основу успеха которой видел в человеческой солидарности. «Благо человечества в единении», — писал он (38, 99). «Считать свою жизнь центром жизни есть для человека безумие, сумасшествие, аберрация» (57, 99).

Не меньшее расстояние лежит между Л. Толстым и Д. Мережковским, проявившим в своей книге не только глубокую личную неприязнь, но и откровенную мировоззренческую и политическую враждебность по отношению к великому писателю. Свой памфлет на Толстого Мережковский начинает с характеристики его личных качеств, делая всяческие намеки на лицемерие, холодность, эгоизм писателя, на его неспособность к дружбе, на его собственнические наклонности. Об отсутствии у Толстого чутя к мировой культуре говорит, по мнению Мережковского, трактат «Что такое искусство?», в котором он проявил себя «дикарем Калибаном»<sup>29</sup>. Перейдя далее к анализу художественного творчества писателя, Мережковский подчеркивает, что Толстой проявил мастерство главным образом в изображении человеческого тела, что его стихия — это психофизиология, а не психология. У него якобы нет характеров, нет личностей, нет мыслящих героев, «страстей ума». С явным глумлением отзывается автор о стиле Толстого.

Третья глава его книги озаглавлена «Жизнь, творчество и религия». В ней изложена определенная идеологическая программа, ориентированная на растворение России и ее культуры в западноевропейской цивилизации. Отрицание Толстым православия — сказано здесь — «только звено целой цепи его отрицательных выводов относительно всей вообще современ-

ной культуры»<sup>30</sup>. Мережковский солидарен с определением синода о вероотступничестве Толстого. Далее, он считает, что у Толстого не хватило ума понять великую роль Наполеона, который шел в Россию исполнять миссию Запада на Востоке. По его словам, автор «Войны и мира» кощунствует над Наполеоном, рисуя карикатуру, «не смешную и не злую, а только позорную... — позорную уж конечно не для Наполеона»<sup>31</sup>. Стремясь «обличить» Толстого до конца, выявить его «истинное» лицо, Мережковский несколько раз говорит о его близости к демократам-шестидесятникам<sup>32</sup>. Книга Мережковского, начатая в снисходительно-снобистском тоне и продолженная в менторских интонациях, завершается открытой грубой бранью по адресу Толстого.

Критика художественного творчества Толстого с декадентских позиций была предпринята и Вяч. Ивановым в его статье «Л. Толстой и культура», опубликованной в 1911 году в журнале «Логос». Теоретик символизма по существу отказывает великому писателю в праве носить имя художника. «Пафос Толстого-художника есть по преимуществу пафос разоблачения и обличения и потому внутренне антиномичен, будучи сам по себе силою противохудожественной... Моралист в поэте просто ищет поработить художника»<sup>33</sup>, — пишет Вяч. Иванов. Далее он отмечает бесконечную отдаленность Толстого от христианства и христианской церкви, от мистического понимания народного бытия и объявляет сближение Толстого с народом результатом пресыщенности его вкуса<sup>34</sup>.

В трактовке Вяч. Ивановым задачи искусства как превращения человеческой культуры в «координированную символику духовных ценностей, соотносительную иерархиям мира божественного»<sup>35</sup>, сказывается его несомненная близость к эстетической программе «Вех». Известно, что «веховцы» были связаны с русским символизмом через учение Вл. Соловьева о «теургии», т. е. об искусстве, творящем иной мир<sup>36</sup>. Откликом символистов на появление «Вех» была апологетическая статья Андрея Белого, опубликованная в 5-м номере журнала «Весы» за 1909 г.<sup>37</sup> Как символисты, так и «веховцы» считали, что «этические нормы не применимы к искусству»<sup>38</sup>. Все это находилось в резком противоречии с эстетическими воззрениями Толстого, с его программным заявлением, что «Эстетика есть выражение этики» (53, 119).

Подводя итоги, можно с полной уверенностью утверждать, что Толстой противостоял «веховцам» и «околовеховской» либеральной интеллигенции по целому ряду насущных проблем своего времени: прежде всего в оценке самодержавия и православной церкви, в понимании взаимоотношений народа и буржуазной интеллигенции, в трактовке задач искусства. Об этом необходимо помнить, ведя борьбу с современными зарубежными фальсификаторами наследия писателя.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Макеев А. Лукавая перспектива.— Лит. газета, 1982, № 12.
- <sup>2</sup> Кувакин В. А. Религиозная философия в России начала XX века.— М., 1980, с. 79—80.
- <sup>3</sup> Там же, с. 142, 240.
- <sup>4</sup> Лукьянова И. Г., Флегонтова С. М. Проблема субъективного фактора в русской общественной мысли второй половины XIX в.— В кн.: Субъективный фактор социального преобразования России в русской философии XIX в. Л., 1981, с. 87—88.
- <sup>5</sup> Виноградов И. И. Критический анализ религиозно-философских взглядов Л. Н. Толстого. М., 1981, с. 46, 60—61.
- <sup>6</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 19, с. 168.
- <sup>7</sup> Щипанов И. Я. Критика В. И. Лениным идеологии «Вех» и современность.— Вестник МГУ, 1970, № 2; Гус М. «Вехи» реакционной идеологии.— Вопросы лит-ры, 1977, № 1, с. 126—152.
- <sup>8</sup> Козлов А. А. Письма о книге гр. Л. Н. Толстого «О жизни».— Вопросы философии и психологии, 1890, кн. 7, с. 74.
- <sup>9</sup> Грот Н. Я. Нравственные идеалы нашего времени. Ф. Ницше и Л. Толстой. М., 1893, с. 21—22.
- <sup>10</sup> Грот Н. Я. Джордано Бруно и пантеизм. Одесса, 1885, с. 29.
- <sup>11</sup> Там же, с. 5, 25, 31; Грот Н. Я. О направлениях и задачах моей философии. М., 1886, с. 13.
- <sup>12</sup> «Сотворение мира есть одно из самых зловредных суеверий в нашем церковном мировоззрении»,— писал Толстой в 1898 г. (53, 215). «Мы не имеем ни малейшего права верить в бога-творца»,— заявил он в письме к Ландесбергеру в 1903 г. (74, 185).
- <sup>13</sup> Бунин И. А. Освобождение Толстого.— Собр. соч.: В 9-ти т., т. 9.— М., 1967, с. 69—70.
- <sup>14</sup> Минц З. Г. Из истории полемики вокруг Льва Толстого (Л. Толстой и Вл. Соловьев)— Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Выпуск 184. Труды по русской и славянской филологии. IX. Литературоведение. Тарту, 1966, с. 92.
- <sup>15</sup> См.: Шкоринов В. П. Этический иррационализм в России. Ростов-на-Дону, 1973, с. 98—100.
- <sup>16</sup> Соловьев В. С. Смысл войны.— Нива, 1895. Ежемесячное приложение, № 7.
- <sup>17</sup> Соловьев В. С. Три разговора.— Собр. соч., т. 8. СПб, 1903, с. 455—554.
- <sup>18</sup> Лит. наследство, т. 90. Д. П. Маковицкий. Яснополяские записки, кн. III. М., 1979, с. 355. В дальнейшем ссылки на этот источник будут даваться в тексте с указанием прописной буквы «М», тома и страницы.
- <sup>19</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 21.
- <sup>20</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 19, с. 168, 175.
- <sup>21</sup> Гусев Н. Н. Два года с Толстым. М., 1973, с. 256.
- <sup>22</sup> Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. Т. I. М., 1922, с. 290.
- <sup>23</sup> Русская мысль, 1909, кн. X, октябрь, с. 216—220.
- <sup>24</sup> Иезуитов А. Н. В. И. Ленин и вопросы реализма. Л., 1980, с. 158.
- <sup>25</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 23.
- <sup>26</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 103.
- <sup>27</sup> См.: Горький А. М. Собр. соч.: В 30-ти т., т. 14. М., 1951, с. 280.
- <sup>28</sup> О расхождениях между Л. Толстым и Л. Шестовым и о дальнейшей эволюции последнего см.: Ерофеев В. Остается одно: произвол (Философия одиночества и литературно-эстетическое кредо Льва Шестова).— Вопросы лит-ры, 1975, № 10, с. 153—188.
- <sup>29</sup> Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский.— Полн. собр. соч., т. VII. М.— СПб., 1912, с. 112.
- <sup>30</sup> Там же, т. VIII, с. 6.
- <sup>31</sup> Там же, т. VIII, с. 80.
- <sup>32</sup> Там же, т. VII, с. 112; т. VIII, с. 193, 195, 201.

<sup>33</sup> Иванов Вяч. Л. Толстой и культура.— Логос, 1911, кн. I, с. 171.

<sup>34</sup> Там же, с. 173.

<sup>35</sup> Там же, с. 177.

<sup>36</sup> Асмус В. Ф. Эстетика русского символизма.— В кн.: Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968, с. 568—569.

<sup>37</sup> Там же, с. 555—557.

<sup>38</sup> Тибанова А. К. Критика религиозно-идеалистической эстетики веховцев. Автореф. канд. дисс. М., 1977, с. 20.

Э. Г. Бабаев

## О ЕДИНСТВЕ И УНИКАЛЬНОСТИ «ВОЙНЫ И МИРА»

## I

В истории литературы есть некие «открытые тайны», которые существуют у всех на глазах, как будто не привлекая ничьего особенного внимания.

Для того чтобы прикоснуться к этим тайнам, не надо ездить в экспедиции или копаться в архивах. Самое большее, что требуется,— это заглянуть в музейную библиотеку и убедиться, например, в том, что на одной полке рядом стоят разные по виду томики.

Вот шесть книг в бумажных легких обложках — два первых издания «Войны и мира», вышедшие в свет в Москве почти одновременно в 1868—1869 годах. Роман открывается знаменитыми сценами в салоне фрейлины Шерер: «Eh, bien, mon prince, Gênes et Lucques ne sont plus que des apanage, des поместья de la famille Buonaparte»<sup>1</sup>.

Но вот другое издание, также выпущенное в Москве, но уже в 1873 году. Это пятое собрание сочинений Толстого в 8 частях. «Война и мир» заняла 4 части, т. е. была напечатана не в шести, а в четырех томах.

Роман открывается той же сценой в салоне фрейлины Шерер. Однако здесь говорят уже не по-французски, а как бы в «переводе с французского». Например, первая фраза звучит так: «Ну, князь, Генуя и Лукка поместья фамилии Бонапарта»<sup>2</sup>. Перевод сокращенный, грубоватый, как бы по ошибке вырвавшийся из-под строки и влетевший в текст романа. Куда-то исчез этот прелестный, прекрасно характеризующий время, место и характер беседующих артикль: «des поместья».

Кроме того, роман Толстого в издании 1873 года заканчивается статьями, историческими и философскими рассуждениями. Всего таких статей здесь девятнадцать, и каждая из них имеет собственный заголовок: «План кампании 1812 года», «Распоряжения Наполеона для Бородинского сражения», «Вопросы истории»...

С удивлением узнаешь в этих «статьях» знаменитые толстовские исторические и философские «отступления». «Войну и мир» 1868—1869 годов Толстой называл «книгой» и особым

письмом к редактору журнала «Вестник Европы», где печатались первые главы, просил даже в оглавлении не называть ее романом<sup>3</sup>. Теперь вдруг «книга» была разделена надвое: на «роман» и «статьи»...

Заканчивая работу над «книгой», Толстой говорил: «Есть характер того времени (как и характер каждой эпохи), вытекающий из большей отчужденности высшего круга от других сословий, из царствовавшей философии, из особенностей воспитания, из привычки употреблять французский язык и т. п. И этот характер я старался, сколько умел, передать» (16,8).

Относительно исторических и философских отступлений в «Войне и мире» Толстой высказался тоже вполне определенно. Он считал, что рассуждения в «Войне и мире» так же необходимы, как «описания». И даже сказал однажды, что «если бы не было этих рассуждений, не было бы и описаний...» (15, 241).

Было время, когда Толстой решительно заявлял, что он «пропустить ничего не позволит»<sup>4</sup>, имея в виду именно философские и исторические главы «Войны и мира».

И все эти им самим провозглашенные законы были нарушены в издании 1873 года. Но вот еще одно издание «Войны и мира». Это собрание сочинений Толстого, выпущенное в свет в 1886 году. Здесь «Война и мир» занимает четыре тома, как в издании 1873 года, но текст в основном соответствует изданию 1868—1869 годов. «Отступления» все встали на свои места, и фрейлина Анна Павловна Шерер вновь получила возможность начать роман своей знаменитой фразой «Eh, bien, mon prince»<sup>5</sup>.

## II

Издание 1873 года кажется «незаконным» не только потому, что оно нарушает сказанное самим Толстым о значении исторического колорита языка его романа и о необходимости философских отступлений.

Оно кажется странным еще и потому, что является нарушением тех общих законов искусства, которые утверждал сам Толстой.

В 1876 г. в письме к известному критику Н. Н. Страхову он говорил: «Для критики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении» (62, 269).

Мысль в художественном произведении имеет свое единственное место и предназначение: взятая вне связи с целым, она теряет свое настоящее значение. «Для критики искусства, — писал Толстой Страхову, — нужны люди, которые [...] постоянно руководили бы читателем в том бесконечном лабиринте



сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений» (62, 269).

То обстоятельство, что эти слова были сказаны именно в письме к Страхову, имеет большое значение для верного понимания интересующего нас вопроса.

Имя Страхова в кругу Толстого было связано именно с «Войной и миром». Его статьи о новой книге Толстого печатались в журнале «Заря» в 1869—1870 годах, а потом вышли отдельным изданием<sup>6</sup>.

«Самое яркое, сильное и правдивое мнение о «Войне и мире» было мнение Страхова, на которое Лев Николаевич больше всего обратил внимание...»<sup>7</sup>, — пишет Т. А. Кузминская.

«Это — единственный человек, — говорил Толстой о Страхове, — который, никогда не видевши меня, так тонко понял меня...»<sup>8</sup>.

«Критический разбор» и послужил, как известно, поводом к личному знакомству Страхова и Толстого.

Страхов приехал в Ясную Поляну в 1871 году.

С. Л. Толстой, старший сын Льва Николаевича, вспоминает, как Страхов в сером пальто и в серой шляпе мелкими шажками шел по аллее Ясной Поляны. На террасе были Толстой, Софья Андреевна, Т. А. Кузминская.

Когда гость назвал свое имя, Толстой сбежал вниз по лестнице и пригласил его в дом.

«Он сблизился со всей нашей семьей, — пишет С. Л. Толстой, — и чуть ли не каждый год до 1895 года стал проводить часть лета в Ясной Поляне...»<sup>9</sup>.

Толстой «доверял учености Страхова и нередко спрашивал его мнения по тому или другому научному вопросу»<sup>10</sup>.

И Софья Андреевна Толстая была расположена к Страхову, относилась к нему с уважением. Ее радовали его приезды в Ясную Поляну.

«Страхов у нас, — записывала она в своем дневнике, — как умен, тих и приятен...»<sup>11</sup>

Ее радовало, по-видимому, ровное и приятное общение Толстого с гостем. «У него длинные разговоры с Страховым о науке, искусстве, музыке...»<sup>12</sup>

Страхов был приятным собеседником, доброжелательным критиком, каких в ту пору у Толстого было не так уж много. Но он хотел быть и стал со временем деятельным помощником Толстого в его работе над рукописями и в издательских заботах.

О том, как они вместе работали, Страхов рассказал сам в своих воспоминаниях. «Утром, вдоволь наговорившись за кофеем... мы расходились, и каждый принимался за работу. Я работал в кабинете, внизу. Было условлено, что за час или за полчаса до обеда (5 часов) мы должны отправляться гулять, чтобы освежиться... Как ни приятна была мне работа, но я, по

свойственной мне внимательности, обыкновенно не пропускал срока и, изготовившись на прогулку, принимался звать Льва Николаевича. Он же почти всегда медлил...»<sup>13</sup>

### III

Толстой называл Страхова «человеком замечательным».

Страхов смущенно принимал похвалы Толстого: «Что касается того, что я человек замечательный, то я, право, начинаю понемножку в это верить. Не имея почти творчества, я имею очень большую способность понимания»<sup>14</sup>.

Он испытывал искреннюю радость от того, что его разбор пришелся по душе такому художнику, как Толстой.

«Итак,— говорил Страхов Толстому,— вы можете на меня положиться»<sup>15</sup>.

При всей своей «своеобычности» и независимости Толстой в те годы нуждался в друге и помощнике, на которого можно было бы положиться.

Это может показаться странным, но Толстой иногда становился похожим на художника Михайлова, которого он изобразил в романе «Анна Каренина».

«Судьям своим,— пишет Толстой о Михайлове,— он приписывал всегда глубину понимания больше той, какую он сам имел, и всегда ждал от них чего-нибудь такого, чего он сам не видал в своей картине» (19,38).

«И часто,— добавляет Толстой,— в суждениях зрителей, ему казалось, он находил это» (19, 38).

Страхов зарекомендовал себя как сторонник «органической критики», основные принципы которой провозгласил в свое время А. А. Григорьев. В статье «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики» Григорьев пишет: «У гениальных натур (потому что о них говорится, когда говорится о новом слове в жизни и искусстве) созерцание не разорванное, а цельное»<sup>16</sup>.

Именно такова и была исходная точка Страхова в его критическом разборе «Войны и мира».

Его восхищали подробности и многообразие толстовского романа. «Всмотритесь, вчитайтесь, попробуйте обозреть весь рассказ, как одно целое,— пишет Страхов,— впечатление будет усиливаться и возрастать по мере вашего внимания и изучения»<sup>17</sup>.

Страхов потому и называл Толстого гениальным писателем, что находил у него «новое слово в жизни и в искусстве».

«Эта простая и вместе с тем невообразимо-искусная группировка не есть дело внешних соображений и прилаживаний; она могла быть плодом гениального прозрения, которое одним взглядом, простым и ясным, объемлет и проникает все многообразное течение жизни»<sup>18</sup>.

Толстой иронически относился к этой «замашке» Григорьева всех близких ему писателей «производить в гениев», но его не могла не радовать попытка Страхова взглянуть на «Войну и мир» в целом.

Однако от признания «Войны и мира» «в целом» Страхов переходил к критическому разбору книги Толстого «по частям». Вообще, разбор его выдержан в «мягких тонах», но в некоторых важных вопросах он приходил к весьма жестким выводам.

Страхов считал, что Толстой допустил большую ошибку, соединив в одной книге «хронику», то есть собственно романтические сцены, и «философские рассуждения».

«Философские рассуждения Толстого,— отмечает Страхов,— сами по себе чрезвычайно хороши; если бы он выступил с ними в отдельной книге, то его нельзя было бы не признать отличным мыслителем, и книга его была бы одною из тех книг, которые вполне заслуживают название философских»<sup>19</sup>.

Но Страхов как будто не замечает того, что его разбор «по частям» служит опровержением первоначального тезиса «единства» книги в целом.

«В соседстве с хроникой «Войны и мира»,— продолжает Страхов,— наряду с животрепещущими картинами... рассуждения кажутся слабыми, мало занимательными, мало соответствующими величию и глубине предмета»<sup>20</sup>.

Оставив в стороне принципы «органической критики», Страхов уверенно «межевал» «Войну и мир», разделяя единую книгу надвое.

«Толстой сделал большую ошибку против художественного такта,— пишет Страхов.— Его хроника, очевидно, подавляет собою его философию, и его философия мешает его хронике»<sup>21</sup>.

Такова была критическая формула Страхова, которая, наверное, смущала Толстого, как смущали Михайлова суждения зрителей, рассматривавших его картину. Ведь это говорил лучший критик, тот, кто так хорошо его понял, кто даже называл его гениальным художником.

«Хроника сама по себе,— продолжал Страхов,— составляет такое стройное, ясное, законченное целое, что для всякого, сколько-нибудь способного понимать художественные произведения, никакие приставки и вводные мысли не могут ослабить неотразимого впечатления, не затемнить в ней ни одной черты, так как все ее черты чисты: просты и вполне отчетливы»<sup>22</sup>.

Страхов доказывал, что читатели еще не привыкли к «Войне и миру». «Пройдет немного времени,— уверял Страхов,— и наши глаза привыкнут ясно разделять (разделять! — Э. Б.) два предмета, которые смешиваются только на первый взгляд: хронику «Войны и мира» и ее философию»<sup>23</sup>.

При этом Страхов сохранял интонацию похвалы и восхищения.

«Что же касается до философии Толстого,— говорил он,— то, когда мы привыкнем рассматривать ее отдельно от хроники,— и она обнаружит те неотъемлемые достоинства, которые теперь теряются в слишком блестящем соседстве хроники»<sup>24</sup>.

Вкрадчивость и твердость шли рука об руку в критике Страхова. Толстой иногда терялся. «Похвалы действуют на меня вредно,— признавался он,— я слишком склонен верить справедливости их» (61, 261).

#### IV

Критика ложилась на хорошо подготовленную почву.

Толстой обычно, окончив ту или иную вещь, больше к ней не прикасался.

А если она попадалась ему на глаза, то он открывал в ней бездну недостатков, так что впору было начинать переписывать ее наново.

Так было и с «Войной и миром».

Когда в 1873 году возник вопрос о переиздании этой книги в составе нового собрания сочинений, Толстой, по своему обыкновению, «с отвращением» заглянул в книгу.

«Я боюсь трогать,— признавался Толстой,— потому, что столько нехорошего на мои глаза, что хочется как будто вновь писать по этой подмалевке» (62, 17).

Он говорил и еще резче: «Мне «Война и мир» теперь отвратительна вся» (62, 8).

К переизданию своих художественных произведений, как показывает опыт «Войны и мира», он относился с какой-то досадой.

«Я начал готовить «Войну и мир» ко второму изданию,— сообщает он Страхову,— и вымарывать лишнее — что надо совсем вымарать, что надо вынести, напечатав отдельно» (62, 17).

Признания Толстого как бы подтверждали правоту Страхова. К тому же надо отметить, что Страхов высказывал не только свое личное, но как бы общее мнение; тогда многие думали так же, как он.

Толстой намерен был вымарать французский текст из романа и напечатать отдельно все философские рассуждения, то есть сделать именно то, что советовал Страхов.

Толстой один написал «Войну и мир». А «исправить» ее один не мог.

И постоянно обращался за помощью к Страхову.

«Дайте мне совет...— говорил Толстой.— Да если вы помните, что нехорошо, напомним» (62, 17).

«Если бы, вспомнив то, что надо изменить... написали бы мне, это и это надо изменить и рассуждения с страницы такой—

то по страницу такую-то выкинуть, вы бы очень, очень обязали меня» (62, 17).

И Страхов, не чувствуя опасности постороннего вмешательства в работу, которую он сам назвал гениальной, соглашался помочь Толстому.

«Вы спрашиваете, можно ли прислать мне на просмотр «Войну и мир», когда исправите,— отвечал он Толстому.— Не только можно, но я вас прошу об этом, я наконец требую во имя всех прав, какие только вы согласитесь признать за мною...»<sup>25</sup>.

К тому же Страхов объяснял, что такая работа не будет для него обременительной. Что-то даже лестное он находил для себя в том, чтобы править «Войну и мир»...

«На лето я остаюсь в Петербурге,— поступивши в библиотеку, я буду иметь множество свободного времени — чего же лучше?»<sup>26</sup> Действительно, все складывалось наилучшим образом.

Страхов постепенно входил в роль, и в тоне грубоватой шутки, которая должна была показать меру его уважения к Толстому, говорил: «Я вам не доверяю в высочайшей степени. Вы непременно наделаете недосмотров, я гораздо аккуратнее вас»<sup>27</sup>.

Толстой жил летом в башкирских степях и решительно вымарывал французский текст из «Войны и мира».

Но, странное дело, чем быстрее подвигалась эта работа, тем больше сомнений возникало у Толстого.

«Уничтожение французского иногда мне было жалко» (62, 34),— признавался Толстой в письме к Страхову.

Философские рассуждения Толстой как бы «вырвал» из книги, собрал их все вместе и «приложил» к «художественным картинам», как того требовал Страхов.

И при этом он старался уверить себя, что «рассуждения военные, исторические и философские, мне кажется, вынесенные из романа, облегчили его и не лишены интереса отдельно» (62, 34). Но смутное чувство сожаления о содеянной переделке не покидало его во все время работы.

Какой-то другой жанр вклинился в книгу, прилепился к роману. «Все эти изменения делались с большой поспешностью, не вполне уверенно, а иногда даже — скрепя сердце»<sup>28</sup>,— отмечал Н. Н. Гусев, известный ученый и биограф Толстого.

А главное, Толстой как будто торопился покончить с этим делом, чтобы больше к нему не возвращаться.

Но, как было обещано, он отправил рукопись Страхову.

«Делайте, что хотите,— говорил он своему добровольному помощнику,— именно в смысле уничтожения всего, что покажется вам лишним, противоречивым, неясным» (62, 46).

Стоит только представить себе положение человека, желаю-

щего уничтожить все противоречивое у Толстого, чтобы понять, сколь странными были полномочия, полученные Страховым.

К тому же Толстой, требуя от Страхова, чтобы он уничтожал все неясное и противоречивое, лишнее, счел нужным заметить: «Даю вам это полномочие (т. е. полномочие уничтожения всего лишнего, противоречивого и неясного.— Э. Б.) и благодарю за предпринимаемый труд, но, признаюсь, жалею» (62, 46).

Страхов с его «способностью понимания» не мог не уловить эту настораживающую ноту сомнения: «признаюсь, жалею...»

Толстой смиренно просил о помощи. «Можно ли прислать вам на просмотр, когда я кончу?»— спрашивал он Страхова (62, 25).

Но всю работу он исполнил сам. И посылая «на просмотр» исправленную рукопись, счел нужным предупредить: «Мне кажется (я наверное заблуждаюсь), что там нет ничего лишнего. Мне много стоило это труда, поэтому я и жалею» (62, 46).

Но при этом поощрял Страхова: «Вы, пожалуйста, марайте и посмелее. Вам я верю вполне» (62, 46).

И Страхов осторожно отступил: «Ну что ж, бесценный Лев Николаевич,— написал он Толстому.— Я ведь опять спасовал. Сколько ни думал и ни перечитывал, я не решился почти ничего вычеркнуть»<sup>29</sup>.

«Даже напротив...»<sup>30</sup>,— добавил уклончиво Страхов.

## V

Но дело было сделано.

Новая «Война и мир» вышла в свет.

Нельзя сказать, что она прошла незамеченной. Известный ученый И. И. Срезневский произнес в Академии наук особую речь, в которой высоко оценил это издание<sup>31</sup>.

Однако новая «Война и мир» не заменила старую, но старая «Война и мир» как бы поглотила новую.

«Один мой приятель, ныне знаменитый драматург Аверкиев,— говорил Страхов,— серьезно уверял меня, что у меня тяжелая рука, и что потому ни одно дело в моих руках не удастся»<sup>32</sup>.

Отношения Страхова и Толстого не были столь простыми, как это иногда кажется.

Еще при первом знакомстве Толстого поразила в Страхове какая-то отчужденность.

«Знаете ли, что меня в вас поразило более всего? Это — выражение вашего лица, когда вы раз, не зная, что я в кабинете, вошли из сада в балконную дверь. Это выражение чуждое, сосредоточенное и строгое объяснило мне вас» (61, 261—262).

Страхов относился к Толстому как профессионал-философ к дилетанту.

Может быть, здесь и был источник его отчужденности.

В его критическом разборе «Войны и мира» есть иронические страницы.

«Читая его полемические выходки,— пишет Страхов о Толстом,— замечал, как он начинает горячиться, чуть только дело доходит до его философских идей, можно подумать, что он гораздо меньше занят и увлечен своим существенным предметом, то есть изображением России, победившей Наполеона, чем некоторыми общими соображениями относительно истории»<sup>33</sup>.

Страхов шутил и посмеивался над философскими рассуждениями Толстого: «Так, говорят, Бетховен считал своим главным призванием юриспруденцию и почти жалел, что слишком много времени посвятил музыке»<sup>34</sup>.

Нет ничего удивительного в том, что именно у Страхова возникла идея жесткого разделения «художественных картин» и «философских рассуждений» в «Войне и мире».

«У вас есть одно качество,— пишет Толстой, обращаясь к Страхову,— которого я не встречал ни у одного из русских, это, при ясности и краткости изложения — мягкость, соединенная с силой: вы не зубами рвете, а мягкими сильными лапами» (61, 262).

Действительно, никто из русских критиков никогда не был в такой «переделке», в какую попал Страхов. Справедливости ради надо сказать, что практическое его участие в исправлении «Войны и мира» было незначительным.

Все сделал сам Толстой своими руками. Но переделка шла по «плану», четко обозначенному в «критическом разборе» Страхова.

К тому же Страхов уверял, что Толстой создан лишь для художественной деятельности, что было продолжением критики его философического дилетантства.

Толстой, со своей стороны, уверял Страхова, что он создан не для критической, а для философской деятельности.

«Вы предназначены к чисто философской деятельности. Я говорю чисто в смысле отрешенности от современности» (61, 262).

Страхов был озадачен этим суждением Толстого. «Лучшую критику я написал об вас, а вы все-таки не пожелали, чтобы я упражнялся в этом роде писаний»<sup>35</sup>.

История с разделением «Войны и мира» оставила какой-то след в душе Толстого и в душе Страхова. Но они никогда больше в своей переписке не возвращались к совместной работе 1873 года.

Не следует преувеличивать «родства душ» Толстого и Страхова. Кажется, что Страхов иногда слишком близко подходил к Толстому. И в письмах Толстого появляются какие-то странные, предостерегающие слова: «Вы говорите,— пишет он

Страхову, — что вы поймете меня, как бы нескладно я ни писал, так вот, не говорите этого вперед» (62, 25).

Толстой был в высшей степени деликатен и стремился сохранять общий тон доверительной дружбы, который возник при первом знакомстве, когда Страхов переступил порог яснополянского дома.

Но некоторая холодность в отношениях Толстого к Страхову чувствовалась всегда. В позднейшие годы Страхов так же скептически относился к религиозным идеям Толстого, как в годы «Войны и мира» он скептически относился к его «философской деятельности».

Слишком различны были их характеры: «Л. Н. Толстой, ищущий правду в жизни, а не в книгах, деятельный и убежденный, и Н. Н. Страхов, не деятель, а зритель в жизни, не уверенный в себе, составивший свои убеждения преимущественно из книг»<sup>36</sup>.

Толстой однажды, «в дурную минуту», как замечает С. Л. Толстой, сказал о Страхове: «Страхов как трухлявое дерево, ткнешь палкой, думаешь будет упор, ан нет — она насквозь проходит, куда ни ткни, — точно в нем нет середины, — вся съедена наукой и философией»<sup>37</sup>.

Расхождения, касающиеся самого главного — отношения к творчеству, — начались гораздо раньше, еще в 1873 году, когда готовилась к печати новая, и даже еще раньше, когда печаталась старая «Война и мир».

Но относительно издания 1873 года существовал некий заговор молчания.

Молчание шло от Льва Николаевича.

Он как будто хотел поскорее забыть этот опыт и все, что с ним связано.

И Страхов тоже хранит молчание.

Казалось бы, он должен был гордиться тем, что подал мысль Толстому столь решительно переделать книгу.

Но гордиться тут было нечем.

Страхов был слишком умен, чтоб этого не понимать.

Он, написавший «критическую поэму в четырех песнях» о старой, «несовершенной» книге, о новом «усовершенствованном» «романе» не проронил ни слова. Впоследствии Страхов участвовал в чтении корректур «Анны Карениной», но был очень осторожен.

И даже особо отметил ревнивое отношение Толстого к слову и языку произведений.

«По поводу моих поправок, касавшихся почти только языка, я заметил еще особенность, которая хотя и не была для меня неожиданностью, но выступала очень ярко. Лев Николаевич твердо отстаивал малейшее свое выражение и не соглашался на самые, по-видимому, невинные перемены...»<sup>38</sup>

После «Войны и мира» — 1873 года!



«Из его объяснений,— пишет Страхов,— я убедился, что он необыкновенно дорожит своим языком и что, несмотря на кажущуюся небрежность и неровность слога, он обдумывает каждое свое слово, каждый оборот речи не хуже самого щепильного стихотворца»<sup>39</sup>.

Это высказывание Страхова тоже, как нам кажется, бросает ретроспективный свет на историю изданий «Войны и мира».

## VI

Ну, хорошо.

Страхов провел «черту раздела», обосновал план переделки «Войны и мира» в своих статьях.

В практической правке он принимал мало участия и ограничивался только «наблюдением».

Но Лев Николаевич?

Чем объяснить его решение «переиначить» свой собственный труд?

Но тут уместно было бы задать еще один вопрос: кто может измерить силы, которые понадобились для того, чтобы создать «Войну и мир»?

Толстой испытывал страшную усталость.

«Для меня теперь самое мертвое время,— признавался он в письме к Фету,— не думаю, не пишу» (61, 220).

В сентябре 1869 года Толстой неожиданно поехал в Пензенскую губернию для того, чтобы купить там имение. Эта поездка поражает биографов Толстого своей странной безрезультатностью.

Да, тут было мало логики — зато очень много психологии...

По дороге Толстой остановился в Арзамасе, в пустой гостиничной комнате. Ночью его охватила небывалая тоска. «Как я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная,— пишет Толстой.— Окно было одно, с гардиной — красной» (26, 469).

И ужас, охвативший его, имел те же странные формы и тот же цвет. «Еще раз прошел посмотрел на спящих, еще раз попытался заснуть, все тот же ужас красный, белый, квадратный...» (26, 470).

Воспоминания об арзамасской тоске составили основу его повести «Записки сумасшедшего». «Арзамасская тоска» была болезненной психологической расплатой за титаническое напряжение, которого потребовала от Толстого работа над «Войной и миром».

«Это мрачное настроение явилось у Толстого,— отмечает Н. Н. Гусев,— надо полагать, вследствие крайнего умственного переутомления, после напряженной творческой работы...»<sup>40</sup>.

В это время Толстому трудно было возвращаться к своему оконченному труду. Он искал других, совершенно иных форм

творчества. Принялся за «Азбуку», которая по тону, по стилю ничем не напоминала «Войну и мир». «Я изменил приемы своего писания и язык» (61, 278).

А «Война и мир», когда он ее перечитывал, большей частью возбуждала в нем «досаду и стыд» (62, 34). Вот в таком душевном состоянии он переделывал свою «книгу».

Если не принимать в расчет «арзамасской тоски», нельзя объяснить, почему Толстой, «находившийся в совершенно здравом уме»<sup>41</sup>, взялся за переделку своей только что оконченной книги. Отголоски «арзамасской тоски» давали себя знать и в последующие годы. В 1871 году Софья Андреевна записывает в своем дневнике: «Я это не умом вижу, а вижу чувством по тому безучастию к жизни и всем ее интересам, которое у него появилось...»<sup>42</sup>.

Версия 1873 года оказалась возможной, когда Толстой и на «Войну и мир», которая некогда охватывала его «облаком радости», взглянул безучастными глазами...

## VII

Оба издания «Войны и мира», 1868—1869 и 1873 годов, довольно долгое время были в руках читателей.

Новая «Война и мир» была перепечатана в 4-м собрании сочинений Толстого в 1880 году.

А следующее, пятое собрание сочинений вышло в свет лишь в 1886 году.

Не год, не два, а целое десятилетие было дано на раздумие. С 1873 по 1886 год «новую» «Войну и мир» читали наравне со «старой».

И выбор был сделан.

В пятом издании собрания сочинений Толстого, в 1886 году, была перепечатана «Война и мир» 1868—1869 года, только не в шести, а в четырех томах.

Считается, что разделение романа на четыре тома «пришло» от издания 1873 года.

Однако еще в 1867 году в одной газетной корреспонденции, очевидно, со слов самого Толстого, говорилось: «Весь роман под заглавием «Война и мир» в четырех больших томах... выйдет отдельным изданием...»<sup>43</sup>.

По-видимому, шесть томов первого издания — это следствие некоторых технических особенностей печатания книги Толстого в 1868—1869 году.

С появлением пятого издания собрания сочинений Толстого вопрос о каноническом тексте «Войны и мира» был решен практически.

Это издание готовила к печати Софья Андреевна Толстая, которая была первой читательницей «Войны и мира», переписав

сывала по многу раз многие страницы этой великой книги и любила ее как свое детище.

Эту любовь Софьи Андреевны к «неисправленной», подлинной и полной книге Толстого разделяли с ней миллионы читателей.

Но ни Толстой, ни Софья Андреевна, ни Страхов ни словом не обмолвились о том, что произошло. И вопрос о каноническом тексте в теоретическом плане остался открытым.

В 1926 году Н. Н. Гусев напечатал статью в музейном сборнике «Толстой и о Толстом» под названием «Где искать канонический текст «Войны и мира»»<sup>44</sup>.

Этот вопрос возникал и перед редакционным комитетом юбилейного издания полного собрания сочинений Толстого в 90 томах.

В редакционный комитет входили известные ученые, текстологи Н. К. Гудзий, Н. Н. Гусев, Н. К. Пиксанов, М. А. Цявловский.

Сначала была избрана и даже напечатана возобновленная «Война и мир» по изданию 1886 года<sup>45</sup>.

Но участие самого Толстого в подготовке пятого издания собрания его сочинений не доказано. Поэтому было решено вернуться ко второму изданию 1868—1869 года, которое готовил сам Толстой.

Так появился второй тираж «Войны и мира» в юбилейном издании полного собрания сочинений Толстого<sup>46</sup>.

И все же теоретически вопрос о каноническом тексте оставался открытым.

В 1963 году известный ученый Н. К. Гудзий напечатал статью «Что считать «каноническим» текстом «Войны и мира»?»<sup>47</sup>.

Он рассуждал логически: так как Толстой в последний раз исправлял «Войну и мир» в 1873 году, то это издание и является каноническим.

Следовало ожидать возражений.

И они тотчас появились. Полемика была бурной и привлекала пристальное внимание литературной и научной общественности. Главным оппонентом Гудзия был Н. Н. Гусев.

Н. Н. Гусев в статье «О каноническом тексте «Войны и мира»»<sup>48</sup> тоже рассуждал логически: если судить с хронологической точки зрения, то последним по времени следует признать издание 1886 года, которое осуществлялось на глазах Толстого и при его молчаливом согласии.

Этими двумя «заглавными» статьями и началась дискуссия, имевшая продолжение в специальной литературе.

Итоги дискуссии были подведены в статье Л. Д. Опульской «Как же печатать «Войну и мир»?»<sup>49</sup>

«На вопрос, так долго занимавший специалистов по творчеству Толстого,— пишет Л. Д. Опульская,— можно ответить

одним единственным образом: основным текстом «Войны и мира» следует считать текст второго издания 1868—1869 года»<sup>50</sup>.

В текстологии есть свой «момент истины».

## VIII

Для того чтобы убедиться в недовольстве самого Толстого «раздельным текстом» 1873 года, надо лишь внимательно перечитать его переписку с Н. Н. Страховым, где, как рефрен, повторяется одно и то же слово «жалею, жалею, жалею...»

Да, Страхов почти не касался текста в процессе его «исправления», но его участие в самом замысле переделки несомненно. След «тяжелой руки» Страхова так и остался на издании 1873 года.

С. А. Толстая «не приняла» новую редакцию и «возобновила» первоначальную «книгу».

У нее было свое представление о той роли, которая выпала на ее долю, когда она взялась за издание сочинений Льва Николаевича.

Ее можно назвать первым настоящим текстологом Толстого, и принципы ее текстологии были самые здравые, простые и истинные.

«Вы в данное время, — говорила Софья Андреевна, — видите перед собою не жену графа Толстого, а издательницу сочинений величайшего писателя. Я привыкла наилучшим образом делать все то, за что я берусь. А что значит наилучшим образом издать сочинения гениального писателя? Это значит издать их так, как он их написал»<sup>51</sup>.

Эти слова, сказанные С. А. Толстой по другому поводу и в других обстоятельствах, вполне применимы и к «Войне и миру». Они сказаны как бы «в последний раз о каноническом тексте» «Войны и мира».

Участники дискуссии о каноническом тексте «Войны и мира» сожалели о том, что нет прямых свидетельств Толстого в пользу единого и целостного текста его книги.

Между тем такие свидетельства есть, и они сохраняют всю свою практическую и теоретическую значимость до сего дня.

Для того чтобы найти эти свидетельства Толстого, надо перейти от его переписки с Н. Н. Страховым к трактату «Что такое искусство?».

В письме к Страхову Толстой говорил: «Каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится» (62, 269).

Разве это не относится к истории «Войны и мира»?

При подготовке раздельного издания Толстой увидел, как

сопротивляется материал, как крепки сцепления хроники и философии в его книге: приходилось рвать по живому.

Да, «Война и мир» была похожа на лабиринт, но это был лабиринт «роевой жизни».

«В том бесконечном лабиринте сцеплений... и состоит сущность искусства» (62, 269),— говорит Толстой в письме к тому же Страхову.

При внимательном чтении можно уловить множество отголосков совместной работы над «Войной и миром» в переписке Толстого и Страхова.

Есть отголоски этого странного опыта и в трактате «Что такое искусство?».

Страхов был, как уже говорилось, последователем «органической критики». А с точки зрения органической критики разделение единого, когда речь идет о художественном произведении, есть предосудительное действие.

Все органическое требует внутреннего единства, не допускает «разрыва» или «перестановки».

В этом отношении замечательным примером был Пушкин, который однажды иронически сказал: «Жалею, что не в силах переделать однажды мною написанное»<sup>52</sup>.

Дело тут не только в авторской воле, а в том, что созданное им «не допускает перемен». «Чем удивителен Пушкин,— говорил Толстой,— что в нем нельзя ни одного слова заменить. И не только слова отнять, но и прибавить нельзя. Лучше не может быть, чем он сказал»<sup>53</sup>.

И в трактате «Что такое искусство?» Толстой пишет: «Главная черта всякого истинного художественного произведения — цельность, органичность, такая, при которой малейшее изменение формы нарушает значение всего произведения» (30, 131).

«Малейшее изменение...»

А тут речь шла о разрушении всей композиции книги, ее внутреннего сюжета и ритма.

«В настоящем художественном произведении,— говорил Толстой,— стихотворении, драме, картине, песне, симфонии — нельзя вынуть один стих, одну сцену, одну фигуру, один такт из своего места и поставить в другое...» (30, 131).

Один такт!

А тут были сотни страниц, сдвинутые со своего места, разорванные, разделенные, переделанные.

«Точно также нельзя нарушить жизни органического существа» (30, 131).

В работе над «Войной и миром» и в общении с Толстым Страхов проявил удивительную непоследовательность.

И Толстому пришлось самому защищать основы органической критики.

Неудачный опыт авторской переделки уже оконченного великого произведения входит в эстетику и поэтику Толстого как

живой и в высшей степени поучительный урок, имеющий не только историческое, но и современное значение.

История классической литературы состоит из уникальных, «непоправимых» произведений.

## IX

У каждого классического произведения искусства есть своя «экология».

Никто не станет спорить, что на картине великого художника нельзя вдруг переменить перспективу или композицию.

«Но вот как-то я прочитал в одном письме, что если выбросить из романа «Война и мир» философские рассуждения, он стал бы гораздо лучше. Ну, в охотниках выбрасывать и теперь недостатка нет. Дескать, кому эти философские отступления нужны. Нужны! Как же можно выбрасывать?! Это же ключ к пониманию Толстого».

Эти слова принадлежат М. А. Шолохову, и они заслуживают самого пристального внимания.

«Нет, ничего там выбрасывать нельзя,— говорит Шолохов о Толстом.— Другое дело, соглашаться с ним или не соглашаться, но не выбрасывать. Это все равно, что отрезать левую ногу»<sup>54</sup>.

«Война и мир» может быть только одна. И даже сам Толстой не мог создать другой «новой» такой книги, которая могла бы заменить его «старую» «Войну и мир».

...И вдруг снова возникает вопрос: «А правда, что есть еще какая-то другая «Война и мир»?»

«Война и мир» на свете только одна.

Другой такой книги нет ни в русской, ни в мировой литературе.

Напечатанная даже в отрывках, например, в хрестоматиях, где может поместиться всего несколько глав, она все же остается «Войной и миром».

Напечатайте избранные главы под названием «Петя Ростов», и это будет прекрасная книга, которая, однако, не сможет заменить «Войну и мир» как целое.

Можно напечатать отдельной книжкой «Капитана Тушина», и это будет прекрасная повесть, но и она не сможет претендовать на то, чтобы ее читали вместо «Войны и мира».

Можно издать философские рассуждения Толстого отдельно, и это тоже будет прекрасная книга, хотя она ни в коей мере не может заменить «Войну и мир».

Можно издать даже и переделку 1873 года, как единственный в своем роде опыт авторской неудачи, опыт отчаянного единоборства автора со своим произведением.

В своей обширной монографии о «Войне и мире» Э. Е. Зайденшпур не без оснований называет это издание «искаленным»<sup>55</sup>.

Поэтому сейчас уже кажется историческим анахронизмом утверждение некоторых исследователей о возможности «повторения в более популярных изданиях «Войны и мира» целиком по изданию 1873 года»<sup>56</sup>.

Можно отвергнуть все, что говорил Н. К. Гудзий о каноническом тексте «Войны и мира»...

Но нельзя не согласиться с его критикой текстологического либерализма и защитой уникальности великих произведений классической литературы.

«Нельзя согласиться с двояким решением вопроса о тексте романа... — пишет Н. К. Гудзий. — Совершенно очевидно, что в издании и редактировании текстов произведений, особенно классической литературы, не может быть различия между научными, критическими изданиями и изданиями популярного характера; как нельзя оправдать различных по тексту изданий «Евгения Онегина», так не может быть оправдано двоякое издание текстов «Войны и мира»<sup>57</sup>.

Подобно тому, как внутренним законом классического произведения является его художественное единство, законом выбора в истории классической литературы является уникальность таких произведений, как «Евгений Онегин» или «Война и мир»...

Недаром Толстой в одном из писем к Страхову говорил: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал, сначала» (62, 268).

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> — Ну, князь, Генуя и Лукка — не более, чем семейные поместья Бонапарта (пер. с франц.). В кн.: Война и мир. Сочинения гр. Л. Н. Толстого. Т. I. М., 1868, с. 1.

<sup>2</sup> Сочинения гр. Л. Н. Толстого: В 8 ч., 3-е изд. М., 1873, ч. 5, с. 1.

<sup>3</sup> См.: Толстой Л. Н. Юб. изд., т. 61, с. 67.

<sup>4</sup> И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1969, т. 2, с. 83.

<sup>5</sup> Сочинения гр. Л. Н. Толстого. 5-е изд. М., 1886, ч. V, с. 1. В этом издании «Война и мир» занимает четыре части — (V—VIII).

<sup>6</sup> Страхов Н. Н. Критический разбор «Войны и мира». Спб, 1871.

<sup>7</sup> Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1964, с. 340.

<sup>8</sup> Там же, с. 342.

<sup>9</sup> С. Л. Толстой. Николай Николаевич Страхов. (Публикация Пузина Н. П.). — В кн.: Яснополянский сборник. Тула, 1984, с. 129.

<sup>10</sup> Там же, с. 132.

<sup>11</sup> Толстая С. А. Дневники: В 2-х т. М., 1978, т. I, с. 120.

<sup>12</sup> Там же, с. 121.

<sup>13</sup> Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1978, т. I, с. 237.

- <sup>14</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. Спб., 1913, с. 36—37.
- <sup>15</sup> Там же, с. 38.
- <sup>16</sup> Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., 1967, с. 142.
- <sup>17</sup> Страхов Н. Н. Критические статьи, т. I. Киев, 1902, с. 272.
- <sup>18</sup> Там же.
- <sup>19</sup> Там же, с. 288.
- <sup>20</sup> Там же.
- <sup>21</sup> Там же.
- <sup>22</sup> Там же, с. 289.
- <sup>23</sup> Там же.
- <sup>24</sup> Там же.
- <sup>25</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым., с. 32.
- <sup>26</sup> Там же, с. 32—33.
- <sup>27</sup> Там же, с. 33.
- <sup>28</sup> Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., 1963, с. 139—140.
- <sup>29</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым., с. 33.
- <sup>30</sup> Там же.
- <sup>31</sup> См.: Вестник АН СССР. М., 1960, № 10, с. 89.
- <sup>32</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым., с. 24.
- <sup>33</sup> Страхов Н. Н. Критические статьи, т. I. Киев, 1902, с. 288.
- <sup>34</sup> Там же.
- <sup>35</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым., с. 20.
- <sup>36</sup> Толстой С. Л. Николай Николаевич Страхов.— В кн.: Яснополянский сборник. Тула, 1984, с. 132—133.
- <sup>37</sup> См.: Алексеев В. И. Воспоминания. ГЛМ. Летописи, кн. 12. Л. Н. Толстой. М., 1948, с. 279; Толстой С. Л. Николай Николаевич Страхов.— В кн.: Яснополянский сборник. Тула, 1984, с. 132.
- <sup>38</sup> Страхов Н. Н. Летом 1877 года...— В кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1978, т. I, с. 238.
- <sup>39</sup> Там же.
- <sup>40</sup> Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1963, с. 680.
- <sup>41</sup> Эйхенбаум В. М. 90-томное собрание сочинений Л. Н. Толстого.— Русская литература, 1959, № 4, с. 222.
- <sup>42</sup> Толстая С. А. Дневники: В 2-х т. М., 1978, т. 1, с. 80.
- <sup>43</sup> Цит. по кн.: Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957, с. 741.
- <sup>44</sup> Толстой и о Толстом. Сб. 2. М., 1926, с. 132—135.
- <sup>45</sup> См.: Толстой Л. Н. Юб. изд., т. 9—12.
- <sup>46</sup> См.: Там же.
- <sup>47</sup> Гудзий Н. К. Что считать «каноническим» текстом «Войны и мира»? — Новый мир, 1963, № 4, с. 234—246.
- <sup>48</sup> Гусев Н. Н. О каноническом тексте «Войны и мира». — Вопросы литературы, 1964, № 2, с. 179—190.
- <sup>49</sup> Опульская Л. Д. Как же печатать «Войну и мир»? — В кн.: Страницы истории русской литературы. М., 1971, с. 306—315.
- <sup>50</sup> Там же, с. 310.
- <sup>51</sup> Поссе В. А. Мой жизненный путь. М.—Л., 1929, с. 198.
- <sup>52</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 6-ти т. М., т. 6, 1938, с. 168.
- <sup>53</sup> Толстой и о Толстом. Новые материалы. М., 1924, с. 64.
- <sup>54</sup> Шолохов М. Живая сила реализма. М., 1983, с. 134.
- <sup>55</sup> Зайденшнур Э. Е. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Создание великой книги. М., 1966, с. 376.
- <sup>56</sup> См.: Толстой Л. Н. Юб. изд., т. 9, 1937, с. X.
- <sup>57</sup> Что считать «каноническим» текстом «Войны и мира»? — Новый мир, 1963, № 4, с. 246.



А. И. Шифман

## О СВОЕОБРАЗИИ ЯЗЫКА ТОЛСТОГО-ПУБЛИЦИСТА

Язык Толстого-художника является объектом интенсивного изучения. В литературе о писателе существуют десятки статей, посвященных языку его романов, повестей, рассказов и пьес, и среди них известные исследования В. В. Виноградова, А. В. Чичерина, П. Громова, Вл. А. Ковалева и др.

Совсем иначе обстоит дело с изучением языка Толстого-публициста. Как это ни странно, язык его статей, воззваний, обращений и памфлетов не подвергался столь разностороннему изучению. А между тем постичь в полном объеме мастерство Толстого невозможно вне изучения языка его публицистики, занимающей столь большое место в его творческом наследии. В языке и стиле его статей и трактатов, как и в языке его художественных произведений, заложены истоки индивидуального своеобразия его мастерства, неповторимого искусства говорить с народом на самые болезненные и актуальные темы.

Настоящая работа имеет целью разобраться в характерных особенностях языка автора «Исповеди», «Так что же нам делать?», «Одумайтесь!», «Не могу молчать», других его публицистических произведений. Не претендуя на исчерпывающее освещение этой большой темы, мы хотим поделиться некоторыми наблюдениями над их «слогом», высказать некоторые суждения относительно изобразительных средств языка Толстого-публициста.

Характерность толстовского слога, особенно в его публицистических произведениях, не всегда получала в нашей критике правильное истолкование. В одной из статей, например, оно было сведено просто к соответствию «языка действующих лиц их характеру»<sup>1</sup>, т. е. к элементарной индивидуализации языка героев. Но совершенно очевидно, что индивидуализация языка персонажей — всеобщее свойство художественной изобразительности, и ни в какой мере еще не характеризует индивидуальный слог Толстого-художника, а тем более Толстого-публициста.

Глубоко и верно, на наш взгляд, определил своеобразие языка Толстого А. В. Луначарский, когда утверждал:

«Иногда кажется, что Толстой коряво пишет: он поставит шутики четыре «что» в одной и той же фразе. Но он делает это нарочно, чтобы произвести сразу впечатление глубокой мысли, которая не заботится о своей наружности. Зато вся фраза будет повернута так, чтобы произвести максимальное впечатление самой правды, чтобы все было так просто и убедительно, как то, что мы видим вокруг себя в природе»<sup>2</sup>.

В этих словах верно схвачена сущность толстовской характерности, правильно раскрыты ее истоки. Толстой не находится в плену господствующих стилистических канонов, — для него эталоном литературного языка служит живая человеческая речь со всеми погрешностями и «неправильностями», но и со всеми неопределимыми ее достоинствами — живым звучанием слова, интонационным богатством, внутренней правдой. И поэтому он пишет так, как будто говорит с кафедры или амвона. И чем взволнованнее его речь, тем больше в ней кажущихся «неправильностей», порою напоминающих непрямую стенограмму.

Следует напомнить, что Толстой никогда не считал общепринятые правила литературной речи неизбежными. «Правилами ничего не сделаешь, правил нет, есть одно — нам надо учиться писать хорошо», — утверждал он еще в ранней статье «О языке народных книжек» (8, 429). Анализируя в ней общепринятые требования к языку, он заявил, что «все эти правила не только говорят еще далеко не все, что можно сказать о деле, но некоторые совершенно ложны» (8, 427). В частности, по его мнению, не всегда обязательны короткие фразы, за которые обычно ругают все ревнители изящной словесности. «Как в словах, так и в речах, т. е. периодах, мало сказать — нужны понятные короткие предложения, — нужно просто хороший, мастерской язык...» (8, 429).

Этот столь рано наметившийся независимый от господствующих «правил» подход к языку нашел свое особенно заметное применение в публицистике писателя, которая по своему своему характеру сродни живой ораторской или проповеднической речи.

«Неправильность» толстовского слога имела, по мнению акад. В. В. Виноградова, своим происхождением так называемое «двуязычие» писателя, обусловленное тем, что он в детстве знакомился одновременно с русской и французской речью. И когда, например, мы в ранней дневниковой записи читаем: «Главная мысль романа должна быть невозможность жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством» (47, 58), то явную «несобранность» этой фразы следует отнести за счет того, что Толстой в эту минуту думал по-французски.

Однако, на наш взгляд, уже и в раннюю пору нельзя характерность литературной речи Толстого объяснить лишь его «двуязычием». Нет сомнения, что ее причина заключается

именно в складе **русской** речи молодого Толстого, на которую наложили свой отпечаток и богатый живыми образами, но далекий от литературной изысканности среднерусский говор тульских крестьян, и самобытный язык тех русских людей, с которыми он общался на бастионах Севастополя, на яснополянских сходах и в петербургских редакциях. Все эти и многие другие разнообразные — порою разнородные — влияния воспринимались молодым писателем в пору его стремления к самобытности мысли, и в конечном счете привели к отрицанию им языковых канонов во имя наиболее полного и правдивого выражения своей мысли.

Чтобы наглядно разобраться в различных проявлениях так называемой толстовской языковой «неправильности», как она выглядит в его публицистике, приведем несколько примеров.

В статье «О переписи в Москве» мы читаем: «...в бедных кварталах мы не можем **проходить людей**, только переписывая их...» (25, 175. Здесь и ниже подчеркнуто нами.— А. Ш.).

Там же: «Перепись выводит **перед глазами нас**, достаточных и так называемых просвещенных людей, всю ту нищету и задушенность, которая таится во всех углах Москвы» (25, 178).

Там же: «Добро не есть **давание денег...**» (25, 179).

В трактате «Так что же нам делать?» мы встречаем такие обороты: «Он очень добрый мальчик; но он считает, что **ему будут смеяться**, пока у него не будет часов» (25, 232).

Там же: «И вот в числе всех тех праздных **играний** мысли людей так называемой науки является то же... утверждение...» и т. д. (25, 338).

Во всех этих примерах (их можно привести значительно больше) налицо так называемые «неправильности», т. е. погрешности против общепринятых норм русской речи. В одних случаях это погрешности против словаря («играния», «давание»), в других — против грамматики и синтаксиса.

Теперь мы приглядимся к другой фразе — на сей раз из статьи «Неужели это так надо?»: «То, что в Англии, Франции, Америке и вообще в конституционных государствах подати определяются парламентом, т. е. **мнимо собранными** представителями народа, не изменяет дела, так как выборы так устроены, что члены парламента не представляют народа...» (34, 226).

Совершенно очевидно, что определение **мнимо** относится к парламентариям, которые, по мнению Толстого, являются не действительными, а мнимыми представителями народа.

Что же все эти «неправильности» — простые описки, недосмотры, оплошности, подобные тем, за которые Белинский бранил Гоголя? Да, возможно, что и так, и не исключено, что, заметив их, Толстой исправил бы эти места. Но вместе с тем, когда мы берем эти «неправильности» в общем контексте взволнованной толстовской речи, то они неожиданно приобретают своеобразную стилистическую функцию: придают языку

интонацию экспрессии, искренности, правды, характерную для живой речи. Встречаясь с ними в статьях Толстого, читатель, вовлеченный в стихию авторской мысли, или вовсе их не замечает, или воспринимает как ошибку живой, естественной речи, в которой важны не строгие грамматические нормы, а смысл слов и их интонации. Иными словами, грамматические погрешности неожиданно приобретают положительное значение, поскольку они окрашивают авторский слог в тона естественной речи и служат одним из средств выражения сильного чувства автора.

Об аналогичном явлении в художественном творчестве Толстого А. В. Луначарский сказал так: «Как же это так? Толстой переписывал по 5—7 раз все свои произведения, делал бесконечные исправления, вынашивал все это, и вдруг такое несовершенство! Это несовершенство вовсе не случайное. Толстой сам хочет, чтобы его фразы были корявы, он боится того, чтобы они были вытощенные и приглаженные, потому что он считает, что это было бы несерьезно. Никто не поверит человеку, который говорит об очень важном и не волнуется и следит за тем, чтобы у него голос был музыкальный и все шло тонко и гладко. В этом случае теряется искренность, теряется вера в то, что человек рассказывает вам о том, что для него действительно важно. Толстой хочет добиться безыскусственности, величайшей простоты во всем, что он говорит от себя, во всем, что он говорит, как автор»<sup>3</sup>.

Современный исследователь языка Толстого А. В. Чичерин приходит к такому же выводу: «Неправильности в языке автора... в тех редких случаях, когда они действительно налицо, обычно связаны с такой искренностью тона, которая отражается в некотором нарушении грамматических норм, свойственном живому, устному выражению сильного чувства»<sup>4</sup>.

Однако, разумеется, не эти «неправильности», хотя их у Толстого немало, определяют сущность его языковой характеристики. Больше всего она в публицистике проявляется в усложненности и разветвленности грамматического периода, и к этой черте толстовского публицистического слога нам следует внимательно приглядеться.

Возьмем следующее известное место из зачина статьи «Одумайтесь!»: «Не говоря уже о вызвавшей всеобщее восхищение Гаагской конференции, о всех книгах, брошюрах, газетных статьях, речах, трактующих о возможности разрешения международных недоразумений международными судилищами, все просвещенные люди не могут не знать того, что всеобщие вооружения государств друг против друга неизбежно должны привести их к бесконечным войнам или к всеобщему банкротству, или к тому и другому вместе; не могут не знать, что, кроме безумной, бесцельной траты миллиардов рублей, т. е. трудов людских на приготовления к войнам, в самых вой-

нах гибнут миллионы самых энергичных, сильных людей в лучшую для производительного труда пору их жизни (войны прошлого столетия погубили 14.000.000 людей)» (36, 102).

В этом публицистическом монологе (процитированном нами только на одну четверть!) резко бросается в глаза усложненность и громоздкость авторской речи. Приведенный отрывок, содержащий и напоминание о Гаагской мирной конференции 1899 года, и рассуждения о войнах, и многообразную аргументацию против них, и разоблачение «всеобщих вооружений» буржуазных государств, и обличение так называемых «просвещенных» людей, и многое, многое другое составляет одну на первый взгляд очень тяжелую фразу. Но как богата она мыслью, логикой, содержанием!

Перечисление всего того, что в буржуазном обществе на словах утверждает возможность решения международных споров мирным путем (книги, брошюры, статьи, речи) нужно писателю для того, чтобы подчеркнуть лицемерие так называемых «просвещенных людей».

Приведем теперь еще один типично толстовский период из той же статьи: «Все эти наглые, лживые речи о преданности, обожании монарха, о готовности жертвовать жизнью (надо бы сказать чужой, а не своей), все эти обещания отстаивания грудью чужой земли, все эти бессмысленные благословения друг друга разными стягами и безобразными иконами, все эти молебны, все эти приготовления простынь и бинтов, все эти отряды сестер милосердия, все эти жертвы на флот и Красный Крест, отдаваемые тому правительству, прямая обязанность которого в том, чтобы, имея возможность собирать с народа сколько ему нужно денег, объявив войну, завести нужный флот и нужные средства перевязки раненых, все эти славянские<sup>5</sup> напыщенные, бессмысленные и кощунственные молитвы, произнесение которых в разных городах газеты сообщают, как про важную новость, все эти шествия, требования гимна, крики «ура», вся эта ужасная, отчаянная, не боящаяся обличения, потому что всеобщая, газетная ложь, все это одурение и озверение, в котором находится теперь русское общество и которое передается понемногу и массам,— все это есть только признак сознания преступности того ужасного дела, которое делается» (36, 109—110).

В этом огромном периоде, как мы видим, уже несколько меньше вводных и придаточных предложений, меньше осложняющих побочных рассуждений, меньше внутренних выводов и обобщений, чем в периоде, приведенном выше. Фраза представляет собою множественное перечисление характерных для описываемого времени действий и явлений, соединенных многократно повторяемой анафорой «все эти». Фразу заключает вывод о растущем сознании преступности войны. Однако и здесь жизненное содержание фразы необычайно широко. По

существу, в ней — огромная картина казенно-бюрократической России начала русско-японской войны. Мы как бы наяву ощущаем господствующий в стране шовинистический угар, видим эти ура-патриотические казенные манифестации, слышим эти крики и бурные лицемерные речи о преданности трону; мы как бы присутствуем при торжественных молебнах и взаимных благословениях иконами; видим этих возбужденных сестер милосердия, отправляемых в действующую армию; наблюдаем происходящие в стране сборы пожертвований на Красный Крест; читаем крикливые заголовки газет и т. д. и т. п. И все это, благодаря обилию оценочных эпитетов, воспринимаем в резко отрицательном свете, поскольку речи **наглые и лживые**, благословения **бессмысленные**, иконы **безобразные**, молитвы **напыщенные и кощунственные**, газетная ложь **ужасная, отчаянная, всеобщая**.

Фраза Толстого безгранично объемна. Помимо всего перечисленного, она еще включает, как бы мимоходом, обличение казнокрадства: десятилетия обирая народ налогами, правительство в час военной грозы оказалось неподготовленным и спешно прибегает к сбору пожертвований на флот, на Красный Крест, на перевязки для раненых.

Во фразе звучит острая ирония по адресу ура-патриотов, якобы готовых жертвовать жизнью («надо бы сказать **чужой**, а не **своей**»), а также по поводу того, что война идет за **чужую** землю («все эти обещания отстаивания грудью чужой земли»). Мимоходом упоминается, что газеты заполнены ложью и их вранье выгодно правительству. И все это выражено писателем в одной фразе, которая имеет целью подвести читателей к выводу о росте в народе «сознания преступности того ужасного дела, которое делается».

Может возникнуть сомнение, а следовало ли столь огромное и разностороннее содержание втискивать в один период? Нельзя ли эту фразу, состоящую из 159 слов, расчленить, раздробить на ряд более коротких и простых по своей структуре? Не выиграет ли от этого стилистика статьи?

В свое время такую операцию применительно к «Юности» советовал молодому Толстому проделать критик А. В. Дружинин. Он предложил безжалостно разрубить периоды на короткие фразы, «десятками марать» такие слова, как «что», «который» и «это», не жалеть точек. Но в этих «советах» выразилось полное непонимание Дружининым своеобразия толстовского стиля. Дело в том, что помимо всеохватывающего многообразия и полноты жизни, помимо всеобъемлющего ее воспроизведения, широко разветвленный период Толстого дает еще и ощущение **сцепления и взаимосвязи** явлений, воспроизводит жизнь в ее движении и развитии. Манифестации и шествия, торжественные молебны и благословения иконами, возбуждение толпы и крики «ура», сбор пожертвований и обожание монарха, не-

подготовленность к войне и газетная ложь — все это в приведенной нами фразе — не разрозненные факты и явления, а неразрывные звенья единой цепи, которые лишь в совокупности, в **соотнесенности одного с другим**, воспроизводят правду действительности. В этой цепи очень важно и то, что речи произносятся об **обожаемом** монархе, и то, что идет сбор **простынь и бинтов**, и то, что газеты сообщают о молебнах «как про важную новость» и т. д. и т. п. Все это в отдельности — мелкие, как будто незначительные детали, но вместе взятые они становятся характерными штрихами той большой и правдивой картины жизни, которая возникает перед вами в публицистической фразе Толстого. Отнимите эти штрихи, составляющие вводные и придаточные предложения, разрубите единую толстовскую фразу на куски, и вы лишите ее жизни. Пропадут все связи и сцепления между отдельными производимыми фактами и явлениями, исчезнет ощущение их сращенности, взаимообусловленности, соотнесенности, «рассыплется» на составные части панорама общественного возмущения периода начала русско-японской войны. С этим немедленно ослабнет изобразительная сила толстовской правды, ее «мускулатура», и тут же немедленно ослабитсЯ и чисто публицистическая функция фразы — увянет ее анализирующая и синтезирующая сила.

Широко разветвленная фраза Толстого-публициста порою производит впечатление лабиринта. В ней много боковых ходов, неожиданных поворотов, возвращений к исходному. Иногда мысль Толстого делает значительные отклонения от главного тезиса, уходит в сторону, возвращается и снова устремляется вперед. Но читатель никогда не запутается в ней. Компасом, ведущим нас по ее сложному лабиринту, служит непререкаемая логика писательской мысли. Она регулирует всю систему соподчиненности частей в большом развернутом предложении, устанавливает очевидную связь между посылками и выводами, между причинами и следствиями. Она необходимо подводит читателя к конечному выводу и обобщению<sup>6</sup>.

Верно то, что такая авторская публицистическая речь не отличается изяществом формы, — она даже иногда кажется тяжелой, однако прав В. Г. Короленко, который утверждал: «Никто не писал с такой захватывающей правдой... часто запутанные фразы попадают то и дело. Но над всем этим бьетсЯ какая-то особенная, спокойно-величавая и правдивая нота, которая придает слогу Толстого, запутанному и неяркому — внезапную силу и неодолимую прелесть»<sup>7</sup>.

Прошли десятилетия с тех пор, как в печати появились произведения Толстого-публициста. Но время не лишило их ни актуальности, ни огромной силы воздействия на читателей.

Широко разветвленный грамматический период характерен,

как известно, и для художественных произведений Толстого. Функция его там в основном та же, что и в публицистике,— охватить действительность во всей ее сложности и многогранности, показать вещи и явления в их развитии и взаимной обусловленности. Но различие между развернутым периодом в публицистике и художественном творчестве имеется и заключается, на наш взгляд, в интонационном строе фразы, в ее звучании.

Если в художественном контексте широко разветвленная фраза воспринимается лишь как пространное, искусно сделанное беллетристическое **описание**, то развернутый период в публицистике производит впечатление живой импровизированной авторской речи. Этому впечатлению содействуют постоянные лексические и смысловые повторы, анафоры, антитезы, отходы от главной мысли и возвращения к ней, обилие риторических фигур — вопросительных, утвердительных — и другие элементы ораторской речи. Публицистической фразе Толстого, в отличие от беллетристической, свойствен проповеднический тон. Она как бы рассчитана на произнесение вслух, с трибуны, с помощью модуляции голоса и жестов, подчеркивающих ее опорные места.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См. статью Вл. А. Ковалева «Некоторые проблемы поэтики Л. Н. Толстого». — В сб. «Очерки по стилистике русского языка и литературному редактированию». М., 1961, с. 87.

<sup>2</sup> Луначарский А. В. О творчестве Толстого. — В кн.: Л. Н. Толстой в русской критике. М., 1952, с. 514.

<sup>3</sup> Луначарский А. В. Толстой и наша современность. — Лит. наследство, т. 69, кн. II. М., 1962, с. 423. Единственное, с чем трудно согласиться у Луначарского, это с его утверждением, будто Толстой «нарочно» прибегает к неправомерностям как к литературному приему. Это решительно опровергается рукописями писателя.

<sup>4</sup> Чичерин А. В. О языке и стиле романа-эпопеи «Война и мир». Львов, 1956, с. 48.

<sup>5</sup> Имеется в виду церковнославянский язык молитв.

<sup>6</sup> Академик В. В. Виноградов писал об этом так: «Система построения синтаксических единств, соотношение отдельных синтаксических целых, порядок логического движения речи — все это в стиле Л. Толстого нередко напоминает язык математических доказательств». (В. В. Виноградов. О языке Толстого (в 50—60-е годы). — Лит. наследство, т. 35—36. М., 1939, с. 14.)

<sup>7</sup> Короленко В. Г. Дневник. Собр. соч., т. 3. Киев, 1927, с. 252.



В. И. Немцева

## К СПОРАМ О СМЫСЛЕ ЭПИГРАФА К РОМАНУ «АННА КАРЕНИНА»

Смысл эпиграфа романа «Анна Каренина» — «Мне отмщение, и аз воздам» — с момента выхода романа в свет и по сей день трактуется различно. Замысел романа претерпел значительную творческую эволюцию. Эпиграф — первоначально записанный Толстым, как «Отмщение мое», а затем исправленный на «Мне отмщение, и аз воздам» — остался. Почему? О каком отмщении идет речь в романе? Кому оно предназначено? Относится ли отмщение к главной героине романа? Если да, то за что получает возмездие Анна? Если нет, то почему в окончательной редакции романа эпиграф остался?

Л. Н. Толстой и до «Анны Карениной» предпосылал своим произведениям или отдельным главам произведений эпиграфы.

Так в XIX главе «Ивины» повести «Детство», печатавшейся в «Современнике», был эпиграф: «Да будет стыдно тому, кто плохо об этом думает» (1, 98), хотя в редакции повести, вышедшей затем отдельным изданием, этого эпиграфа нет. Эпиграфом к повести «Два гусара» Толстой взял строки из стихотворения Дениса Давыдова:

«Жомини да Жомини,  
А об водке ни полслова».

В их шутивно-ироническом тоне передан характер среды, в которой жил старший из героев повести.

Загадочный эпиграф к «Анне Карениной» до сих пор остается не до конца объясненным. Менялось восприятие романа, а соответственно и эпиграфа. Каждая новая его трактовка не удовлетворяла читателей. В результате появились новые. История трактовок эпиграфа — это своеобразная история восприятия и самого романа. Иногда каждая следующая трактовка эпиграфа дает новое его освещение или дополняет, углубляет прежнюю. Но порой и полностью ее отрицает. Среди толкований эпиграфа к роману «Анна Каренина» были и весьма оригинальные.

Подробный разбор различных трактовок эпиграфа дал

Б. М. Эйхенбаум в своей книге «Лев Толстой. Семидесятые годы»<sup>1</sup>. Автор книги, обращаясь к толкованию эпиграфа Достоевским, Громекой, Страховым, Сухотиным, Вересаевым, Алдановым и другими, подчеркивает, что сам Толстой отвергал «все толкования критиков, смотревших на эпиграф, как на выражение идеи романа». По мнению самого Толстого, эпиграф в романе необходим, чтобы выразить ту «мысль, что то дурное, что совершает человек, имеет своим последствием все то горькое, что идет не от людей, а от бога, и что испытала на себе Анна Каренина»<sup>2</sup>. Б. М. Эйхенбаум утверждает, что это «горькое» прежде всего испытали Анна и Вронский, и наказание их состоит в нравственных мучениях.

Н. Н. Гусев в книге «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год» выясняет, что эпиграф романа по своему происхождению связан с книгой А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление»<sup>3</sup>. Смысл же эпиграфа, по мнению исследователя, состоит в том, что «Анна и Вронский своей жизнью нарушали нравственный закон», а «нравственные законы, не зависящие от воли человека, существуют, и нарушение их не может не быть пагубно для того, кто их нарушает»<sup>4</sup>. И чем нравственнее человек, тем тяжелее его возмездие.

Одна из тенденций в современном советском литературоведении — «оправдание» Анны. Разные авторы с различных позиций так или иначе приходят к выводу: Толстой Анну оправдывает, «возмездие» к главной героине не приходит. По мнению В. Ермилова, в эпиграфе речь идет не об отмщении Анне, а «в отмщении за Анну», отмщении всему этому веку, в котором нелюдское правит людьми»<sup>5</sup>. Позитизируя чувство Анны к Вронскому, сравнивая ее с Наташей Ростовой, В. Ермилов отбрасывает, отметаает все вопросы о виновности или невиновности героини, считая, что в гибели Анны виновато общество, создавшее безлюбивый мир, в котором любовь непременно становится трагедией. Близок к подобному объяснению судьбы главной героини романа и Б. И. Бурсов. По его мнению, трагедия Анны заключена в социальных условиях общества, где «всякое истинное чувство обречено на гибель»<sup>6</sup>. М. Б. Храпченко утверждает, что обрисовка Анны противоречит «осудительной идее эпиграфа»<sup>7</sup>. Е. Н. Купреянова, в отличие от других исследователей, депоэтизируя чувство любви Анны к Вронскому, видит оправдание Толстым своей героини как «человека, обманутого господствующими в ее кругу ложными представлениями о благе жизни и лицемерно отвергнутого теми, кто толкнул ее на гибельный путь»<sup>8</sup>.

Э. Г. Бабаев рассматривает тему виновности и возмездия за нее, заданную эпиграфом и воплощенную в ткани романа, не однозначно. Он пишет: «Мысль эпиграфа состоит как бы из двух понятий: «нет в мире виновных» и «не нам судить»<sup>9</sup>.

Толстой не снимает нравственной ответственности человека за каждое его слово и каждый поступок, «возмездие следует по пятам за героями», но «идея возмездия и воздаяния отнесена не только, и даже не столько к истории Анны и Вронского, сколько ко всему обществу, которое нашло в лице Толстого строгого бытописателя»<sup>10</sup>.

По мнению Ф. И. Кулешова, трудно найти однозначный, безоговорочно правильный, единственно возможный ответ на вопрос о смысле эпиграфа романа «Анна Каренина». Исследователь предлагает следующее его толкование: «Должно прежде всего помнить, что для Толстого как автора «Анны Карениной» главным было не отыскание конкретного виновника страданий заглавной героини и других лиц, а изображение самих человеческих страданий и тех последствий, которые из них вытекают для человека, забывающего свою нравственную ответственность за собственные поступки, поведение и слова»<sup>11</sup>.

Смысл эпиграфа относится к судьбе главной героини, но она одновременно и виновна, и не виновна: «потерявший себя человек является «невиновным» и в то же время он оказывается непосредственно причастным к трагической по своим последствиям вине»<sup>12</sup>.

Г. Я. Галаган в книге «Л. Н. Толстой. Художественно-эпические искания» пишет, что эпиграф к «Анне Карениной» соотносится с жизненными путями героев романа и звучит, «как напоминание о таящемся внутри самого человека нравственным наказании, одинаково адресованном всем людям той части русского общества, которая противостояла народу, творящему жизнь, и не могла открыть в своей душе закона добра и правды»<sup>13</sup>.

В одной из недавних работ В. И. Кулешов не только не принимает какого-либо толкования эпиграфа, но считает, что эпиграф, необходимый в первых вариантах романа, когда главную героиню романа надо было осудить, стал ненужным в его окончательном тексте. Как отмечает исследователь, эпиграф «противоречит теперь общему смыслу произведения. Никакого наказания Анны у Толстого не получилось. Получился ее апофеоз, получился роман об эмансипации с величайшим, высокохудожественным, небывало достоверным обоснованием права женщины любить по выбору сердца и осуждением всех условностей и предрассудков, которые держат в плену высокое, чистое чувство»<sup>14</sup>.

Как видно, среди литературоведов все еще нет единого мнения об эпиграфе к «Анне Карениной», его смысле и значении. Кроме того, существует суждение, что эпиграф к роману вообще не нужен. Можно ли с этим согласиться?

Эпиграф «Мне отмщение, и аз воздам» имеет полифоническое звучание и относится далеко не к одному только герою

или героине романа. Тема вины, виновности и возмездия за совершенные человеком ошибки — сквозная в романе. От редакции к редакции происходит расширение, углубление идейного содержания романа. Слова Каренина в одной из ранних редакций: «Все мы наказаны» не дошли до окончательного текста, но тема нравственного наказания всех людей, не сумевших понять, в чем состоят подлинные ценности жизни, получила воплощение в художественной ткани романа.

По своему жанру «Анна Каренина», как уже было установлено исследователями, роман-трагедия<sup>15</sup>. Это в конечном итоге определяет особенности изображения героев и конфликтов.

В романе Анна — нравственно и физически, Каренин и Вронский — нравственно — гибнут неизбежно в силу заданности законов для людей их круга: закона страсти, противостоять которой человек не может; законов безлюбивого, духовно омертвевшего общества; закона возмездия, неизбежно проходящего за совершенные человеком ошибки и проступки.

Каренин и Вронский не ищут собственного пути, не живут внутренней жизнью, а катятся по рельсам жизни той среды, к которой они принадлежат, подчиняясь готовым внешним формам, предполагающим определенный свод «несомненных» правил, наличие которых (а не их содержание) роднит этих героев. «Кодекс» правил Вронского: «Нужно заплатить шулеру, а портному не нужно», «лгать не надо мужчинам, но женщинам можно», «нельзя прощать оскорблений и можно оскорблять» (18, 322) дан в авторской снижающей интонации, заключающей в себе и особенности речи Вронского. Этот «кодекс» ложен по сути, но привычен для светского общества, в котором он живет. В этом убедился и сам герой: «Вронский начинал чувствовать, что свод его правил не вполне определял те условия, и в будущем представлялись трудности и сомнения, в которых Вронский уж не находил руководящей нити» (18, 322).

При встрече на железной дороге в Москве «спокойствие и самоуверенность Вронского здесь, как коса на камень, наткнулись на холодную самоуверенность Алексея Александровича» (18, 113). Каренин «с чувством собственности» (18, 112) относится к своей жене, а Вронский «только за собой признавал несомненное право любить ее» (18, 112). Это «несомненное право» давало ему одно из правил, позволявшее «отдаваться всякой страсти, не краснея, и над всем остальным смеяться» (18, 121). При этом его роль любовника замужней женщины в глазах людей светского круга не только не могла быть смешной, но имела «что-то красивое, величественное» (18, 136).

И Каренина и Вронского постигает возмездие за неверно выбранный ими путь жизни: целью для первого была карьера

и связанная с нею безупречная репутация, для второго — наслаждение. Рушится карьера Каренина, сам он становится посмешищем в глазах света. Вронский не только теряет способность бездумного наслаждения жизнью, но и сама жизнь становится для него невыносимой. «Я, как человек, тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит... Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне не то что не нужна, но постыла» (19, 361), — совершенно искренне говорит он. При этом глаза его имеют сердито-страдающее выражение, его терзает непременная ноющая зубная боль и другая «общая мучительная внутренняя неловкость», еще более невыносимая боль — душевная. Логика развития сюжета утверждает мысль Толстого о том, что неверно понимаемый смысл жизни в конечном счете сводит на нет все усилия, направленные на достижение ложной цели.

В отличие от Вронского и Каренина Анна в начале романа предстает в своей истинной человеческой сущности, духовной красоте. Она излучает свет жизни и любви, согревающий все и всех.

Анна, как и все лучшие герои Л. Н. Толстого, пытается найти собственный путь в жизни. Интуитивно ощущая неполноту своего существования, она неосознанно ищет применения своим силам. Вся страстность ее натуры сказалась в ее стремлении жить истинной жизнью — любить по зову собственного сердца. Ради любви она отказывается от принятых норм поведения в обществе, условностей и приличий. Переступая барьер нравственного закона, Анна неизбежно утрачивает внутреннее равновесие, душевное спокойствие. Делая вызов общественному мнению, «взрывая» его, Анна «взрывает» и собственный мир бывших представлений о «хорошей и привычной» жизни.

Ее жажда истинной жизни вступила в неизбежное столкновение с требованиями нравственного закона, ибо, попав в орбиту условных отношений, она пришла к мысли о невозможности для нее жизни вообще. Диалектика образа героини романа намечена уже в ее портрете, в котором наряду с духовностью подчеркивается «избыток чего-то».

Особенно интересно обрисован облик Анны в сцене бала в Москве. Она предстает здесь новою и неожиданною.

«Она была **преlestна** в своем простом черном платье, **преlestны** были ее полные руки с браслетами, **преlestна** твердая шея с ниткой жемчуга, **преlestны** выходящие волосы расстроившейся прически, **преlestны** грациозные легкие движения маленьких ног и рук, **преlestно** это красивое лицо в своем оживлении» (18, 89. Здесь и далее подчеркнуто мною. — В. Н.).

Избыточность желания жизни передана в портрете Анны через многократное повторение слов *преlestна*, *преlestны*...

В результате многократного повторения слово приобретает новый оттенок значения: от «прелестная» — «прекрасная, очень красивая» акценты смещаются к «прелестная» — «прельщущая». И если ранее оживленность Анны приносила окружающим радость, мир, счастье, люди чувствовали себя в присутствии Анны в высоком поэтическом мире, то теперь эта же ее оживленность, притягательность, обаяние приводят к тому, что Кити чувствует себя «раздавленной». Для нее прелестное в Анне становится в один ряд с «чуждым и бесовским».

А после бала в разговоре с Долли Анна произносит фразу: «У каждого есть в душе свои skeletons» (18, 104). Не случайно слово «тайны» она произносит на французском языке, желая еще больше завуалировать то, что таится за этим словом. В дальнейшем разворачивании сюжета таких «тайн» будет все больше и больше.

С нарастанием силы страсти Анны добрый свет жизни, радости, которые она приносит людям, перестает быть добрым, трансформируется, превращается в свою противоположность — силу разрушительную.

Диалектика перехода одного чувства в другое выражена художником и через символические образы бури и пожара в ночи, и через словосочетания типа «прекрасный ужас».

Борьбу чувства и разума, страсти и долга, диалектику сознательного и бессознательного Толстой передает через противопоставление внешней и внутренней речи героини:

«— Это доказывает только то, что у вас нет сердца,— сказала она. Но взгляд ее говорил, что она знает, что у него есть сердце, и от этого боится его...

— То, о чем вы говорите, была ошибка, а не любовь...

— Вы помните, что я **запретила** вам произносить это слово, это гадкое слово,— вздрогнув сказала Анна; но тут же она почувствовала, что одним этим словом **запретила** она... поощряла его говорить про любовь» (18, 147).

Авторский комментарий позволяет нам увидеть выражение лица, глаз, взволнованность героини, ее внутреннюю борьбу, которая проявляется в несоответствии того, что она говорит, тому, что есть в ее душе. Разум отступает, заговорило чувство, душа.

Интуитивное, стихийное начало в человеке нередко сильнее разума. Вронский понимает, что она говорит то, что принуждает себя сказать, но не то, что хочет. И Анна не в силах более сопротивляться собственной страсти.

Дома на лице Карениной «не только не было того оживления, которое в бытность ее в Москве так и брызгало из ее глаз и улыбки: напротив, теперь **огонь** казался **потушенным** в ней

или где-то далеко припрятанным» (18, 119). Как только появляется Алексей Александрович, радость жизни, внутренний свет, блеск глаз и улыбки исчезают и, напротив, с новой силой Анна ощущает «давнишнее, знакомое чувство, похожее на состояние притворства», которое столь чуждо ее природе.

При встрече с Вронским Анна начинает чувствовать, что «радость **светилась** в ее глазах и морщила ее губы в улыбку, и она не могла **затушить** выражения этой радости» (18, 135).

Разговаривает Анна с Вронским, «пылая **жестким** ее лицо румянцем» (18, 147), а «взгляд, прикосновение руки **прожгли** его (Вронского. — В. Н.)» (18, 149), — отмечает Толстой.

В своей кульминации психологически наполненный образ света, огня вырастает до образа **пожара** в ночи: «Лицо ее блесло ярким блеском; но блеск этот был не веселый — он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи» (18, 153). Пожар так же, как и буря, выражает, с одной стороны, силу и красоту свободной стихии, а с другой — это сила разрушительная, преступная. Толстой сосредотачивает внимание на слове «блеск», прибегая к многократному повторению: блесло, блеск, страшный блеск. Этот образ получает в дальнейшем развитие. Анна «долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела» (18, 156). Характерно, что здесь снова — сочетание света и тьмы (блеск в темноте, пожар в ночи). Издревле свет, день, огонь олицетворяли собой жизнь, а тьма, ночь — смерть. В данных контекстах образы жизни и смерти переплетаются.

Толстой признает устремленность своих «избыточных героев» к свободному проявлению личности и показывает поэзию и красоту такого яркого проявления, которое подобно красоте разыгравшейся стихии: пожара в ночи, снежной бури, но, если такое проявление личности связано с нарушением нравственного закона, то это непременно ведет к возмездию.

Эпиграф также соотносится с атмосферой тревоги, с трагической тональностью повествования, предупреждающей о «карательной силе вещей». Душевный конфликт Анны возникает не столько в общении с Карениным, Вронским, окружающим миром, сколько в осуждении ею самой себя. Анна поставлена в ситуацию трагедии. С точки зрения высших требований совести, ее семейная жизнь с Карениным, лишенная любви, безнравственна. В то же время, с точки зрения высших нравственных ценностей, нарушение ею долга перед сыном и мужем осуждается Толстым. Что бы Анна ни выбрала: все дурно.

Анна несет наказание, которое продиктовано высшими требованиями ее совести. Причем мучения Анны начинаются задолго до сближения с Вронским; она ощущает внутреннее беспокойство — разочарование не только в муже, но и в сыне; утрачивает свои бывшие интересы — смыслом жизни стано-

вятся поиски встречи с Вронским. Так же, как в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», Раскольников начинает мучиться, нести свое наказание задолго до преступления.

Идея возмездия, заключенная в эпитафии, получает свое развитие в кульминационной сцене романа «Анна Каренина». Все сквозные темы: преступления, вины, прощения, возмездия, которые ранее так или иначе были затронуты, теперь собраны в единый фокус. «Она чувствовала себя преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощения» (18, 157). Освещаются эти темы с помощью образов, несущих идею наказания, возмездия: «Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать **убийца**, когда видит **тело**, лишенное им жизни... Но, несмотря на весь **ужас убийцы перед телом убитого**, надо резать на куски, прятать это **тело**, надо пользоваться тем, что убийца приобрел **убийством**» (18, 157—158). Нагнетание эмоциональной атмосферы осуществляется через многократное повторение одного и того же слова или слов однокоренных: убийца, убитого, убийством... тело убитого, резать на куски это тело. А далее: рука, руку, рука моего сообщника.

Толстой не говорит, что совершено преступление, но, прибегнув к развернутому сравнению, не оставляет у читателей сомнений в том, что оно совершено. Смерть может быть не только физическая, но и духовная. В этой сцене показана смерть духовная.

С еще большей очевидностью мысль о ней подтверждается словами Анны:

— Все кончено,— сказала она.— У меня ничего нет, кроме тебя. Помни это (18, 158).

Кончена жизнь прежняя — «хорошая и привычная». «Новой» жизнью Анна в конце концов не сможет жить.

В романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников получает нравственное наказание за совершенное уголовное преступление — убийство старухи-процентщицы, ее сестры, за ограбление. В «Анне Карениной» Толстой не изображает уголовного преступления, но героиня романа несет тяжкое наказание. Мучения ее нисколько не легче мучений убийцы — Раскольникова. Внутренние конфликты Анны приводят ее к мучительным состояниям недовольства собой и другими, а в конечном итоге к раздвоению сознания, которое начинает ощущаться Анной в момент, когда она в темноте видит блеск своих глаз, усиливается и осознается ею в момент ожидаемой смерти в признании Каренину: «Я все та же... Но во мне есть другая, я ее боюсь — она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде» (18, 434). В финале главная героиня романа не в состоя-



нии будет соединить себя теперешнюю с прежней. При этом для Раскольникова, несмотря на всю тяжесть его преступления, окажется возможным путь искупления своей вины и обретения счастья — через каторгу и любовь Сони Мармеладовой. Для Анны в романе Толстого нет выхода из сложившегося жизненного тупика, нет пути, ведущего к искуплению ее вины, не говоря уже о возможности счастья. Разговор с Долли Анна начинает с признания своего «непростительного счастья» и заканчивает рассказ о своей жизни словами: «Я именно несчастна». Ее счастье — лишь видимость, ее несчастье — подлинное внутреннее состояние, о котором она поведала Долли в момент душевного откровения. Анна восстала против фарисейского общественного мнения, против гнетущих ее свободу обстоятельств. Но нет такой силы, которая бы могла победить голос собственной совести, разрешить внутренние конфликты.

Стремясь полнее передать состояние Анны, Толстой рисует пейзаж: «После грозowych дождей последних дней наступила холодная ясная погода. При ярком солнце, сквозившем сквозь обмытые листья, в воздухе было холодно». Толстой вновь рисует стихию, теперь стихию «грозowych дождей», как ранее «бури» и «пожара в ночи». Только теперь эта стихия уже затихшая. И как на пепелище пожара холодно, так и здесь при ярком солнце нет тепла. И Анна вздрагивает и «от холода», и от «внутреннего ужаса».

К отчужденности, разобщению неотвратимо идут Анна и Вронский. Им ничего не остается, как забыться «сном жизни» светского круга, подчиниться его законам, пользоваться праздником жизни, словно морфином, не видя ни цели, ни смысла своего существования, не зная дела, приносящего пользу людям. Отдаются «сну жизни» Вронский и Анна и в путешествии по Италии, и в имении Вронского в Воздвиженском.

«Зато во сне, когда она не имела власти над своими мыслями, ее положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей» (18, 159), — пишет об Анне Толстой.

Символические сны Анны и Вронского являются, с одной стороны, средством психологического анализа, выявляющего диалектику сознательного и бессознательного, с другой стороны, они несут важную идейную нагрузку, воплощая идею возмездия.

У Анны навсегда связались в единую ассоциацию цепь ее общения с Вронским и образ приснившегося ей неприятного мужика, гремящего железом. Образ железа, пришедший в сон Анны из действительных впечатлений, носит и символический характер. Это, с одной стороны, железный, неумолимый закон страсти; с другой, неумолимость, надчеловечность нравственного закона.

Этот сон, когда Анна видит взлохмаченного страшного

мужика, содержит глубокое психологическое наблюдение и играет определенную сюжетно-композиционную роль. А отсюда символика сна вырастает и до философских обобщений: гибельность пути, по которому шло поколение людей переворотившегося мира и железная антигуманность законов несправедливого общества. Образ мужика, кующего железо, кошмаром мучит Анну, и если содержание сна не соответствует действительности, то эмоции соответствуют содержанию действительному, хотя и скрытому. Ужас, страх испытывает Анна, Вронский видит такой же сон.

Но, думается, сон этот совсем не «олицетворение духовного зрения Анны, которым она увидела мир, откуда пришел страшный мужик — герой ее снов», — о чем пишет В. Г. Одинокоев<sup>16</sup>. Через сон в сознание Анны пришло понимание истины о ее действительном положении, ощущение преступности и гибельности выбранного ею пути, разъединяющего, а не объединяющего ее с другими людьми (русский мужик, приснившийся Анне, говорит что-то по-французски, в его словах и поступках есть что-то осуждающее, угрожающее).

Внутренняя жизнь Анны, усугубляющаяся травлей со стороны светского общества, охлаждением к ней любимого человека, разлукой с сыном, приводит ее к самоубийству.

Образ света в сцене гибели Анны приобретает характер света истины. Однако истина, открывшаяся ей перед смертью (жизнь — «зло, обман и ложь»), есть не вся истина о жизни. Она ведет не к жизни, а к смерти. Нельзя открыть подлинную истину о жизни, оставаясь в замкнутом кругу удовлетворения личных желаний, из которого не смогла вырваться Анна.

Гибель Анны, конечно, не есть возмездие за совершенное нравственное преступление, как об этом пишет индийский литературовед Ранвил Рангра, рассматривая судьбу Анны как возмездие за грехопадение: «опьяненная любовью Анна бросает мужа и сына и уходит к любовнику. Однако, не обрета счастья и на этом пути, в минуту глубокого отчаяния она кончает жизнь самоубийством... Именно такой конец был уготован Анне, этой эгоцентрической и эгоистичной женщине. Как мог Толстой простить женщину столь дурной репутации, нарушившую супружеский долг? Устами мужа Анны Толстой говорит о том, что их брак заключен не людьми, а богом, и нарушить этот союз — преступление, за которое ее ждет суровая расплата»<sup>17</sup>.

Гибель Анны — это итог, развязка внутренних неразрешимых противоречий, мучений, вечной нравственной пытки, которой она не выдержала. Не оправдывая героиню за то, что она так распорядилась своей жизнью, напомним, что она сделала это после продолжительной нравственной борьбы. Восстав против устоев общества, в котором брак по расчету был этиче-

ской нормой, Анна заявила о своем праве любить по зову собственного сердца, открыто делая вызов устоявшимся нормам поведения (даже ценою отказа от жизни), Анна воздает обществу за ложь и фальшь устоявшихся в нем отношений. «Вполне оправдан мятеж героини против лицемерия, против морали высшего общества»<sup>18</sup>, — справедливо отмечает индийский критик Калпана Сахни. «Но «карательная сила вещей такова», что «человек, непосредственно производящий взрыв дома, прежде всего страдает сам»<sup>19</sup>.

Но если говорить об «аз воздам», обращенном к обществу, то его воздает не столько Анна, сколько сам Толстой. «Этот роман из жизни светского общества, — пишет Томас Манн, — направлен против него»<sup>20</sup>. Широко осветив эпоху 70-х годов XIX века, увидев современное русское общество «насквозь», Толстой производит суд над самим строем жизни. Поэтому недопустимо сводить содержание «Анны Карениной» к анализу семейно-любовного треугольника — отношений Анны, Каренина и Вронского, как это делает в своей антологии Г. Гиффорд<sup>21</sup>, равно как и истолковывать роман в духе космического пессимизма, как об этом пишет в статье Ольденбург<sup>22</sup>. Раскрытие социальных противоречий в романе происходит через их воздействие на духовный мир персонажей. Ощущение тревоги, шаткости устоев жизни переворотившегося мира, приближения катастрофы, чувство отчаяния — все это не только внутренние состояния героев, но и признаки времени глубоких перемен, эпохи «метания мыслей», переоценки ценностей.

«Возмездие», «отмщение», «аз воздам» в романе «Анна Каренина» столь же многогранны, как и «мир» в «Войне и мире». Идеи, заданные в эпиграфе, воплощаются в самой ткани романа. Нельзя выбросить ни одного компонента художественной структуры «Анны Карениной», не нарушив художественного совершенства романа.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974, с. 161—173.

<sup>2</sup> Там же, с. 197.

<sup>3</sup> Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., 1963, с. 271.

<sup>4</sup> Там же, с. 342, 343.

<sup>5</sup> Ермилов В. В. Роман Л. Толстого «Анна Каренина». М., 1963, с. 54.

<sup>6</sup> Бурсов Б. И. Лев Толстой и русский роман. М.—Л., 1964, с. 111.

<sup>7</sup> Храпченко М. Б. Лев Толстой как художник. М., 1971, с. 172.

<sup>8</sup> История русского романа. т. 2. М.—Л., 1964, с. 331.

<sup>9</sup> Бабаев Э. Г. «Анна Каренина» Л. Н. Толстого. М., 1978, с. 97.

<sup>10</sup> Там же, с. 184.

<sup>11</sup> Кулешов Ф. И. Л. Н. Толстой: Из лекций по русской литературе XIX в. Минск, 1978, с. 134.

<sup>12</sup> Там же, с. 97, 98.

<sup>13</sup> Галаган Г. Я. Л. Н. Толстой: Художественно-этические искания. Л., 1981, с. 147.

<sup>14</sup> Кулешов В. И. История русской литературы XIX в. 70-е — 80-е годы. М., 1983, с. 250.

<sup>15</sup> См.: Гей Н. К. Поэтика романов Л. Н. Толстого... — В кн.: Л. Н. Толстой и современность. М., 1981, с. 119—120.

<sup>16</sup> Одинокое В. Г. Поэтика романов Л. Н. Толстого. Новосибирск, 1972, с. 122.

<sup>17</sup> Русская классика в странах Востока. М., 1982, с. 29.

<sup>18</sup> Там же, с. 30.

<sup>19</sup> Переписка Толстого с А. А. Фетом. Что случилось по смерти Анны Карениной в «Русском вестнике» — Лит. наследство, т. 37—38. М., 1939, с. 234.

<sup>20</sup> Манн Томас. Собр. соч., т. 10. М., 1961, с. 264.

<sup>21</sup> Критика такой трактовки романа дана в книге Т. Мотылевой «Роман — свободная форма». М., 1982, с. 199.

<sup>22</sup> Там же, с. 199.

«КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» В ВОСПРИЯТИИ  
СОВРЕМЕННОК ПИСАТЕЛЯ

Повесть Л. Н. Толстого «Крейцерова соната» распространялась по России со стремительной быстротой еще до того, как она была опубликована.

20 ноября 1889 г. ее рукопись доставили из Ясной Поляны в Петербург для передачи в печать. 28 ноября она была впервые прочитана в доме Кузминских, в кругу избранной петербургской интеллигенции.

Среди первых слушателей были ученые К. А. Тимирязев и Г. П. Данилевский, философ и критик Н. Н. Страхов, известный юрист А. Ф. Кони, который «прерывающимся от волнения голосом» читал повесть<sup>1</sup>.

На следующий день рукопись «Крейцеровой сонаты» поступила в издательство «Посредник» и была прочитана в кругу литераторов. «Рассказ произвел потрясающее впечатление. Далеко за полночь велись споры по поводу прочитанного», — вспоминал молодой сотрудник издательства Ю. О. Якубовский<sup>2</sup>. Сомневаясь, что повесть будет пропущена цензурой, сотрудники издательства решили помочь ее нелегальному распространению и действовали с замечательным энтузиазмом и оперативностью. Оставшись на ночь в редакции, они разделили рукопись на части и к утру переписали всю повесть. Вскоре в редакции были изготовлены 300 литографских списков, которые за несколько дней облетели читающий Петербург.

Интерес к повести был так огромен, что число экземпляров, переписанных от руки, а также отпечатанных на гектографах и литографским путем, множилось с каждым днем, увеличивалось с невероятной, почти фантастической быстротой. «Трудно представить, что произошло, например, когда явились «Крейцерова соната» и «Власть тьмы». Еще не допущенные к печати, эти произведения читались везде с неимоверной страстностью, казалось, подчас, что публика, забыв свои личные заботы, жила только литературой графа Толстого... Самые важные политические события редко завладевали всеми с такой силой и полнотой». Такую картину всеобщего, жадного,

захватывающего интереса к повести рисует в своих воспоминаниях родственница писателя А. А. Толстая<sup>3</sup>.

Из писем и воспоминаний современников писателя мы узнаем, как люди разных возрастов — от зеленых гимназистов до стариков — просиживали ночи напролет над переписыванием повести. В гимназиях, институтах, учреждениях создавались группы, занимавшиеся нелегальным распространением «Сонаты».

В. Д. Бонч-Бруевич рассказывает, как в Межевом институте, где он учился, тушью был переписан текст этого произведения Толстого, а рабочие казенной институтской типографии нелегально, по частям, ее печатали<sup>4</sup>. Деньги, полученные от распространения повести, нелегальные организации использовали для помощи ссыльным. Об этом есть сведения в дневниках проф. В. Н. Стратонова, хранящихся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (запись от 19 мая 1890 г.).

Познакомиться с «Крейцеровой сонатой» стремилась вся читающая Россия, поэтому и тысячи ее переписанных экземпляров оказались каплей в море. Тогда современники как бы заново открыли самую древнюю, устную форму для ее распространения. В Москве, Петербурге, Воронеже, Киеве и многих других городах у счастливых обладателей повести стали собираться большие группы людей для коллективного ее слушания. Часто владелец бесценного экземпляра сам выступал в роли пропагандиста повести: читал ее в разных кружках, передавал из рук в руки, так что в короткий срок с ней знакомились сотни новых людей.

Известная картина художника Г. Г. Мясоедова «Чтение «Крейцеровой сонаты» запечатлела это характерное явление из жизни русского общества начала 90-х годов: художник изобразил на полотне деятелей науки и искусства — Д. И. Менделеева, Н. К. Михайловского, В. В. Стасова, Н. Н. Ге и других, сосредоточенно и напряженно внимающих чтению повести.

«Неслыханный», по словам Н. Н. Страхова, успех книги привел к тому, что через несколько месяцев она стала известна в самых отдаленных уголках России, а в одном из глухих городков Средней Азии был даже возбужден судебный процесс против человека, который «зачитал» повесть. «Для жителей городка это была не книга, а сокровище, источник удовлетворения жажды всего города. Поэтому они посмотрели на пропавший экземпляр как на растрату общественного достояния», — так комментировал этот процесс анонимный рецензент журнала «Книжки недели»<sup>5</sup>.

«Крейцера соната» читается среди самых высших и самых низших кругов», — вынужден был признать критик консервативного журнала «Русский вестник» Ю. Елагин<sup>6</sup>.

И уже в 1880 году об «опасности» проникновения повести в народ как о «страшной угрозе» заговорили представители высшей государственной власти и церкви. Страх «столпов общества» имел под собой почву. Среди первых читателей и слушателей повести были рабочие, солдаты, матросы.

В отделе рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина хранятся интересные воспоминания матроса, автор которых рассказывает о том, как матросы корабля, на котором он служил, слушали и горячо обсуждали «Крейцерову сонату».

И всюду, куда ни проникала повесть, она «поднимала бурю в людях» — писал ее автору в январе 1890 г. И. И. Горбунов-Посадов.

В первые же недели и месяцы Толстой стал получать «пропасть писем» от первых читателей и слушателей повести (51, 27).

Наблюдая громадный общественный интерес к повести, некоторые счастливые обладатели экземпляра «Крейцеровой сонаты» стали записывать отзывы о ней читателей и слушателей, споры, бушевавшие вокруг нее. Сегодня эти записи, предвосхитившие современные социологические опросы, — ценные документы, помогающие воссоздать живую картину восприятия повести современниками.

В Петербурге такие записи вел Н. Н. Страхов, в Воронеже — давний знакомый писателя Г. А. Русанов, в Подольской губернии — народный учитель К. А. Гринштайн и другие лица.

Приводим отрывки из подробных записок Гринштейна, присланных Толстому в феврале 1891 года<sup>7</sup>.

«...Я читал повесть в кругу замужних дамочек, с охотой вместе с мужьями слушавших чтение повести. Всякий раз они переглядывались друг с другом, охали, утверждая, что все верно, что Лев Николаевич Толстой точно с них рисовал картину; они плакали, многозначительно поглядывая на мужей, спрашивая: разве это не правда?

...Среди моего небольшого кружка читателей «Крейцеровой сонаты» есть учителя — семейные люди. На мой заданный им вопрос: ну как, вы, господа, изволите теперь думать, они отвечали: невозможно, несправедливо, глупо что-либо возразить против сказанного... Каждое слово автора неопровержимо верно. Автор как будто вместе с нами провел жизнь... мне непонятно, как мог автор перечувствовать все то, что каждый из нас ежеминутно перестрадал.

...Я совсем другая стала, как прочитала «Крейцерову сонату», — сказала жена другого учителя. Если бы я раньше читала это сочинение, то я не страдала бы столько, сколько со своим мужем перестрадала...

...В «Крейцеровой сонате» есть много хороших мыслей,—

добавил мой знакомый. — И я того мнения, что всякое воздержание — вещь хорошая, но аскетизм, во имя чего бы он ни проповедовался, есть сам по себе что-то уродливое и противное природе...»

...На мой вопрос о повести местный мировой судья стал ругаться и браниться непечатными словами...»

Кажется, вся гамма человеческих чувств — от горячей благодарности и восхищения одних (таких отзывов большинство) до возмущения и протеста других — бурлит в письмах читателей к автору, в дневниках и воспоминаниях современников.

И все-таки, разбирая «пропасть писем», присланных в Ясную Поляну, читая разнообразные документы тех лет, нетрудно выделить оценки преобладающие, наиболее частые, типичные и в связи с этим определенно ответить на вопрос: чем был вызван громадный успех повести, каким жизненно важным общественным и нравственным запросам современников она отвечала?

«Соната» чрезвычайно задела всех, как обухом по голове треснула<sup>8</sup>. Этим выразительным простонародным сравнением Г. А. Русанов передал то ошеломляющее впечатление, которое произвела повесть на ее первых читателей и слушателей.

Судя по многим сходным письмам и откликам, «Крейцера соната» прежде всего и больше всего потрясла современников разящей правдой о семье и личных отношениях в высших слоях общества, никем прежде с такой глубиной и силой не обнаженной.

«Сильнее этого Вы ничего не писали да и мрачнее ничего тоже», — писал Толстому Н. Н. Страхов<sup>9</sup>.

О страшной правде, впервые открытой Толстым, заговорила вся Россия. Приводим ниже выдержки из писем и откликов на повесть рабочего и обер-прокурора Синода, конторщика и архиепископа, надзирательницы женской гимназии и известного на всю Россию редактора буржуазной газеты.

Отзывы эти позволяют более определенно судить о том, в чем видели современники общественную ценность повести, ее основное значение.

«Ведь вот все молчали, один он правду сказал... когда читали о том, что Позднышев рассказал про свою жизнь до женитьбы, я точно про себя слышал. Да что! Мастеровые в городе хуже вашего класса развратничают», — это отзыв о повести одного из первых слушателей-рабочих<sup>10</sup>.

«Повесть невольно поражает всякого читающего той силой правды и чистосердечной откровенности, с которой она написана», — писал Толстому конторщик В. А. Морозовский 18 сентября 1890 г.



«Я Вам говорю: ни в одном Вашем сочинении нет такой нужной всем правды, так изумительно просто выраженной», — писал автору известный литератор, редактор газеты «Новое время» А. С. Суворин в письме от 29 декабря 1889 г.

В то же время отношение к автору, который «с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь «законного» брака в буржуазном обществе»<sup>11</sup>, было очень разным: вызывало восхищение десятков тысяч читателей; сомнение других — нужно ли «выставлять напоказ» эту позорную правду; наконец, панический страх и негодование у «столпов общества».

«Все это правда, все верно, все страшно! Страшно выпустить эту повесть между людьми, как страшно выставить всем напоказ отвратительный труп, зараженный страшной болезнью», — писала автору надзирательница московской гимназии В. Н. Возницына.

Характерно отношение к повести вершителей высшей государственной власти и церкви — обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева и архиепископа Никанора.

С одной стороны, даже они были вынуждены признать «неслыханную прежде правду повести», с другой — тут же, как бы спохватившись, противореча себе, обвинили Толстого в «уродливом преувеличении» и искажении действительности.

«Да, надо сказать, ведь все, что тут написано, — правда, как в зеркале, хотя я написал бы то же самое совсем иначе, а так, как у него написано, — хоть и зеркало, но с пузырьком и оттого кривит» (из письма обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева к Е. М. Феокистову)<sup>12</sup>.

«Скажем предварительно, что в фактической стороне этой новой проповеди заключено много поражающей, не слыханной прежде правды...

Прежде многие знали ее про себя и помалкивали, Толстой назвал ее по имени вслух для всего света, но назвал, преувеличив ее до уродливости, до отвращения» (из «Беседы» архиепископа Никанора)<sup>13</sup>.

По наблюдениям Н. Н. Страхова, светские люди, «давно сжившиеся с привычками эгоизма и распутства», «обижались» на Толстого, зачем он нападает на неизбежное, на те привычки, с которыми они прекрасно проживут жизнь. «Добропорядочных светских читателей особенно смущали грубые слова и выражения, которые постоянно употреблял Позднышев, называя вещи своими именами, выражая гнев и возмущение их образом жизни. Вашу повесть нашли неблагопристойною», — писал Толстому 6 ноября 1889 г. Н. Н. Страхов<sup>14</sup>. Читатели «высшего» круга, равнодушные к высокому нравственному пафосу повести, обвинили Толстого в «бездушии и цинизме».

Некая Ксения Некрасова, автор пошлых заметок о Толстом, писала о грязи, которую «вышвыривает автор «Крейцеровой

сонаты» перед читателем, как бы намеренно подбирая нарочно гадкие слова, хуже Золя»<sup>15</sup>.

Важное место в письмах — откликах читателей — заняла оценка образа главного героя повести — Василия Позднышева, поразившего современников своей типичностью, узнаваемостью.

«Я, говоря откровенно, есть один из героев Вашего редкостного произведения. Я нахожусь в одинаковом положении с Позднышевым», — писал автору П. У. Друскевич (1890 г.).

«Мы все жили и живем подобно Позднышеву и потому имеем ли мы даже право надеяться на счастливую семейную жизнь?» (Из письма А. Погодина, 24 марта 1890 г.)

Некоторым читателям и слушателям повести начинало казаться, что Толстой тайно подсмотрел их личную жизнь и вывел ее на всеобщее обозрение. «Лев Николаевич! Я не сплю третью ночь с тех пор, как слышал и читал Вашу «Сонату». Я думал, что болезненные мученья сомневающегося человека, каким я пребывал, составляют мою тайну, мой внутренний непонимаемый мир. И вдруг я слышу, что человек, которого я никогда не видел, которого я совсем не знаю, что этот человек меня подслушал и про меня рассказал». (Из письма неизвестного автора 16 февраля 1890 г.)

После одного группового слушания «Крейцеровой сонаты» в Москве хозяин дома обратился к богатому купцу Брашнину с вопросом, понравилась ли ему повесть? Купец задумчиво ответил: «Повесть хороша. Только вот думаю я, откуда бы он, Толстой, мог узнать все это про меня? Ведь это про меня написано».

Новизной и жгучей остротой обожгла современников постановка в повести «женского вопроса». Именно в ней самый трезвый писатель-реалист впервые открыто заговорил о тех сторонах интимных отношений между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, которые обычно замалчивались, обходились писателями: «об угнетении женщин половыми требованиями» (51, 40), о постоянно и повсеместно творимом насилии над женщиной, которая «должна быть одновременно и беременной, и кормилицей, и любовницей, должна быть тем, до чего не спускается и животное» (27, 35).

По многим горячим, благодарным письмам, присланным в Ясную Поляну, можно судить о том, как нуждались современницы писателя в такой защите. «Вы являетесь самым горячим и убежденным защитником поруганных прав целой половины человечества», — писала автору повести студентка университета Анна Моравская.

Читатели благодарили Толстого «от имени всех истстрадавшихся женщин, защитницей которых является повесть».

Тема защиты достоинства женщины-матери, поднятая Тол-

стым, так взволновала современников, что вызвала ряд литературных откликов русских и зарубежных писателей.

Уже в 1890 г. прогрессивный литератор Д. Кудрявцев, вдохновленный «Крейцеровой сонатой», написал страстный публицистический трактат (объемом более 5 печатных листов): «Размышление вагонного пассажира, выслушавшего исповедь В. Г. Позднышева», в котором развил мысли Толстого об уродливом, рабском положении женщины в семье и обществе. Однако в своих выводах Д. Кудрявцев расходился с Толстым, полемизировал с ним. В названном трактате он славил «любовь творящую, цель которой — дитя, любовь — высшее на земле физиологическое единение», выступал защитником равноправия женщин во всех сферах государственной и общественной жизни. В 1893 г. «Размышления вагонного пассажира...» были опубликованы в Швейцарии, в издании М. К. Элпидина.

Под влиянием «Крейцеровой сонаты» в разных странах были написаны рассказы и повести, пафос которых состоял в защите чести и достоинства женщины. Однако ни одно из них невозможно сравнить с гениальным творением Толстого.

Произведения эти отличают назидательная дидактика и схематизм. Известно, что в «Крейцеровой сонате» вопрос о том, виновата ли в измене жена Позднышева, оставлен без ответа (Толстому было важно показать порочность всего жизненного и семейного уклада Позднышевых). Авторы же рассказов и повестей, написанных под влиянием толстовской повести, строили их на примитивном противопоставлении чистой, невинной жены мужу — деспоту и тирану.

Таковы новелла М. Крист «Конец «Крейцеровой сонаты» (пер. с английского, Спб, 1894); «Ее «Крейцера соната» (из дневника госпожи Позднышевой)» — пер. с немецкого, Спб, 1899. К этим произведениям примыкает и повесть жены писателя С. А. Толстой «Ее вина», написанная в 1890-х годах.

В «Крейцеровой сонате», как и в других произведениях, отношение Толстого к «женскому вопросу» оставалось противоречивым.

С одной стороны, писатель устами Позднышева рисовал позорную картину угнетения женщины в семье и в обществе, вступался за человеческое достоинство жены и матери. С другой — вновь и вновь подвергал сомнению необходимость женского равноправия, участия женщин во всех сферах государственной, научной и общественной жизни.

Последнее больно задело молодых современниц писателя, искренне увлеченных учебой, науками и искусством, и они горячо возражали ему: «Вы положительно отрицаете у девушек любовь, именно чистую любовь к делу и желание принести хоть какую-нибудь пользу, — с укором и обидой писала Толсто-

му в мае 1890 г. Екатерина Никольская. — Вы говорите, что таких женщин нет, что если стремятся к чему-нибудь, то с другой целью. Но я не могу согласиться с этим, когда я чувствую, что ничего подобного нет, по крайней мере, у меня. Я с удовольствием работаю. Еду скоро за границу на медицинские курсы, и с любовью отдаюсь занятиям... Я иду к своей цели, которая для меня дороже всего...»

Недоумение, протест, а порой и негодование вызвало осуждение чувственной любви, прозвучавшее в повести. «Если нет чистой любви, хотя и супружеской любви... тогда выйти замуж нелепо, а не любить, вы поймите, в восемнадцать лет нельзя», — писала Толстому в растерянности и смятении юная корреспондентка<sup>16</sup>.

А вот пример гневного неприятия повести: «При мне одна дама выразилась так: несмотря на свое плохое здоровье, я способна пройти 30-верстное пространство, лишь бы добыть эту повесть, с единственной целью тотчас же разорвать ее в клочки», — рассказывал Толстому А. И. Алмазов в письме от 18 февраля 1890 г.

Так, отмеченная кричащими противоречиями, постановка в повести «женского вопроса» вызвала ответный шквал мыслей и чувств: и горячую признательность автору, и — одновременно — желание возражать ему, протестовать, спорить.

До опубликования «Послесловия» к повести, написанного Толстым в 1890 г., многие современники не верили и не хотели верить в то, что религиозно-аскетические идеи проповедует в ней не герой, а любимый писатель — автор «Войны и мира» и «Анны Карениной».

«Говорят, а некоторые даже пишут, что в «Крейцеровой сонате» будто Вами отрицается плотская любовь. Скажите, пожалуйста, ведь это неправда? Я говорю это людям: сам же Л. Н. Толстой смеется над теорией Мальтуса. Он же, говорю, считает священным законом женщины рождение ею детей — и вдруг всему конец?!» — в тревоге и сомнении спрашивал Толстого в письме учитель С. П. Сафронов.

Знакомясь с откликами на повесть первых ее читателей и слушателей, нельзя не видеть, что страстная, взволнованная речь Позднышева звучала для современников с разной степенью убедительности.

Там, где Толстой устами Позднышева срывал маску с буржуазной семьи и брака, читатели в своем большинстве с благодарностью принимали это гневное разоблачение.

Там, где герой Толстого с той же страстностью проповедовал идеи религиозного аскетизма, обрушивался с укоризной на врачей, читатели начинали разделять голоса автора и героя.

Первых читателей повести неизменно волновал вопрос: как относится писатель к тому или другому суждению Позднышева, разделяет ли он его? И они часто обращались по этому

поводу к Толстому, забывая о том, что он не обязан быть в ответе за каждое суждение героя.

Все же было немало читателей, увидевших в Позднышеве alter ego автора, прямого выразителя его мыслей и чувств. Все крайние суждения и оценки, высказанные героем в состоянии нервного возбуждения и расстройства, они приписывали Толстому.

Так же, как и после выхода великих романов «Война и мир» и «Анна Каренина», идейный смысл новой повести современники чаще всего сводили к **одной** мысли, которую «легко» выразить в двух словах.

Одни видели эту идею в «борьбе с развратом в личной жизни», другие — в защите человеческого достоинства женщины, третьи — «в установлении идеала безбрачия» и т. д.

В то же время уже в первые месяцы распространения «Крейцеровой сонаты» наиболее зоркие, эстетически подготовленные современники отметили ее сложность, внутреннюю противоречивость. Они справедливо писали автору о том, что идеал целомудрия и аскетизма не вытекает из логики развития повести. Некоторые из первых читателей чутко уловили открытый пафос повести — мечту писателя об иных, подлинно человеческих отношениях между людьми, мужчиной и женщиной, мужем и женой.

«...Вы затрагиваете самые больные стороны не только нашего времени и нашего общества, но человеческой природы вообще,— писал Толстому психолог и философ Н. Я. Грот.— Ставить ребром вопрос о необходимости реформы семьи, облагораживании интимной домашней жизни человека... Из Ваших собственных намеков следует, что есть брак иного, высшего типа, настоящего, что семья может быть иной, лучшею» (письмо от 2 февраля 1890 г.).

Наиболее чуткие и проницательные читатели восхищались глубиной и многозначностью новой повести Толстого, уместившей «на малом пространстве», как писал ее автору Г. А. Русанов, исключительное богатство мыслей, привлекающих к ней новые поколения читателей.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Это была восьмая, еще не окончательная редакция нового произведения Л. Н. Толстого.

<sup>2</sup> Якубовский Ю. О. Толстой и его друзья. За 25 лет (1886—1910).— Толстовский ежегодник 1913 года. СПб, 1914, с. 12.

<sup>3</sup> Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. СПб, 1911, т. I, с. 56.

<sup>4</sup> Бонч-Бруевич В. Д. Нелегальный и конфискованный Толстой.— Огонек, 1927, № 49, с. 9.

<sup>5</sup> Книжки недели, 1891, сент., с. 125—126.

<sup>6</sup> Елагин Ю. Литературно-критические очерки.— Русский вестник, 1891, № 2, с. 325.

<sup>7</sup> Отдел рукописей ГМТ. Письма, приводимые без ссылок на источник, извлечены из этого архива и публикуются впервые.

<sup>8</sup> Русанов Г. А. и Русанов А. Г. Воспоминания о Толстом. Воронеж, 1972, с. 257.

<sup>9</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. Спб, 1914, т. 2, с. 395.

<sup>10</sup> Отзыв приведен в письме Г. А. Русанова к Толстому.

<sup>11</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 70.

<sup>12</sup> Литературное наследство, т. 22—24, с. 540.

<sup>13</sup> Беседа высокопреосвященного Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского о христианском супружестве, против графа Толстого. Одесса, 1890.

<sup>14</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 396.

<sup>15</sup> Некрасова К. Анекдоты о Толстом. Отдел рукописей ГБЛ им. Ленина.

<sup>16</sup> Письмо опубликовано В. А. Ждановым в т. 37—38 Литературного наследства, с. 383—384.

М. Л. Калугина

Л. Н. ТОЛСТОЙ ОБ А. П. ЧЕХОВЕ

(По «Яснополянским запискам» Д. П. Маковицкого)

В 1979—1981 гг. вышел в свет обширный том «Литературного наследства» с «Яснополянскими записками» Д. П. Маковицкого (т. 90, кн. 1—4 и указатели к ним). Более шести лет, с 26 октября 1904 г. по 7 ноября 1910 г., постоянно находясь вблизи Толстого, яснополянский врач вел ежедневные стенографические записи. Подробно и точно зафиксированы разговоры с разными людьми, отзывы о прочитанных книгах.

В итоге выяснились значительные, необыкновенно интересные факты.

Из всех писателей, русских и зарубежных, в этот период Толстого занимали больше всего двое: А. П. Чехов и А. И. Герцен. Чехов — преимущественно как художник, Герцен — главным образом как мыслитель. Лишь в этих двух случаях число упоминаний, отзывов сопоставимо.

Именно Чехов, которому и о котором при его жизни Толстой говорил и ласковые и резкие слова (например, что его пьесы «хуже Шекспира»), в 1904—1910 годах глубоко и особенно его волновал. Рассказы и повести Чехова перечитывались вновь и вновь, в тиши кабинета и в зале яснополянского дома вслух, для всех присутствующих. 26 апреля 1905 г. Маковицкий записал примечательные слова Толстого: «Чехов был огромный талант, у него было богатое воображение, у него было богатство образов, как ни у кого».

Можно сказать, что в эти годы Толстой постоянно общается с Чеховым. Добросовестный труд Д. П. Маковицкого сохранил для нас неизвестные по другим источникам (статьям, дневникам и письмам Толстого) суждения о Чехове. Именно на этой стороне (новое о Чехове) мы и намерены сосредоточить внимание в статье.

Первая же запись, относящаяся к Чехову, — 27 декабря 1904 г., — чрезвычайно интересна.

«Л. Н. попросил корреспондента «Руси», чтобы он зашел к издателям и попросил у них разрешения перепечатать в «Круге чтения» рассказы Чехова, Тургенева, хотя бы за деньги, вырученные от «Круга чтения».

Факт этот, не отмеченный даже в двухтомной «Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого», важен. История имела продолжение. Толстому пришлось лично обращаться к вдове известного издателя Л. Ф. Маркс (письмо от 9? февраля 1905 г. — т. 75, с. 218). Лишь тогда разрешение было дано и, как известно, в «Круге чтения» напечатаны два особенно любимых Толстым рассказа — «Душечка» (к которому Толстой написал послесловие) и «Беглец». За право поместить «Душечку» в «Круг чтения» Толстой готов был отдать книгоиздательству Маркса свое послесловие (запись 6 февраля 1905 г.).

Иногда суждения Толстого неожиданны, но тем более интересны. Например, 29 декабря 1904 г.: «Гоголь, Глеб Успенский и Чехов начинали юмором, сатирой, кончали же: Гоголь — религиозностью и мистицизмом, Глеб Успенский — омрачением души, Чехов — пессимизмом, грустью». Так рисовалась Толстому творческая эволюция Чехова. Это не вполне точно: именно в последних, самых последних произведениях Чехова, начиная примерно с 1898 года, звучат бодрые, оптимистические ноты, много говорится о будущем. Об этом справедливо писал М. Горький в известной статье «По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге» (1900 г.).

Конечно, в 1905 г. особенно много говорилось о «Душечке»: Толстой работал над своей статьей — послесловием. Основные суждения, записанные Маковицким, совпадают с известными по статье. Но есть в них очень любопытные детали, которых нет в статье и нигде больше, кроме «Яснополянских записок». Например, 9 января 1905 г., хваля по обыкновению «Душечку», Толстой сравнил ее со своим описанием Карла Ивановича в «Детстве» и «Отрочестве»: «И именно потому, что это описано с юмором, оно и мило, и действует так же, как Карл Иванович». В другой раз (20 января 1905 г.) Чехов сопоставлен с Диккенсом, Гюго и М. Горьким: «У Горького нет ни одного доброго лица, у Чехова их пропасть (дети), также у Диккенса, Гюго...». Изложил Маковицкий и подробности чтения «Душечки»: «Вечером, после обеда, Л. Н. читал вслух «Душечку» Чехова, со смехом и грустью. Два раза переставал из-за смеха и давал Ивану Ивановичу, чтобы тот читал. Конец же с трудом дочел до конца, так сжимало ему горло от грусти. Он встал, немного отошел, вытер слезы. Потом прочел свое предисловие к «Душечке». Опять был тронут до глубины души» (6 февраля 1905 г.).

Выясняется, что 21 января того же года Толстой читал вслух только что появившиеся в «Русской мысли» рассказы Чехова «Волк» (и тут же вспомнил, как «бешеный волк на Кавказе укусил его бульдога и тот тоже взбесился»), «У Зелениных» и «Калека». Поскольку в собственном дневнике Толстого между 20 и 29 января 1905 г. записей нет совсем, свидетельства Маковицкого особенно ценны. Только здесь находится



и сравнение чеховской «Ведьмы» с «Таманью» Лермонтова (запись 6 февраля 1905 г.).

В минуту несогласия с безрелигиозным, неучительным искусством Чехова Толстой мог сказать: «Я в Чехове вижу художника, они — молодежь — учителя, пророка. А Чехов учит, как соблазнять женщин» (17 августа 1905 г.; имеется в виду, вероятно, «Дама с собачкой»). Но в другой раз серьезно говорил о народности лучших русских писателей и из современников назвал одного Чехова: «А мы все *учимся* у народа. Ломоносов, Державин, Карамзин — до Пушкина, Гоголя, и даже о Чехове можно это сказать, да и я» (29 октября 1905 г.).

«Яснополянские записки» свидетельствуют, что один из самых любимых рассказов Чехова — «Злоумышленник» — Толстой «прочел сто раз». Особенно нравился ему финал, иронические слова крестьянина: «Тоже судьи» (запись 1 марта 1906 г.). Когда 18 августа 1910 г. деревенские мальчишки играли «Злоумышленника», Толстой «сердечно, громко смеялся».

В 1907 г., начав снова заниматься по вечерам с крестьянскими детьми (он думал создать «Детский круг чтения»), Толстой сказал: «Дети — строгие судьи в литературе. Нужно, чтобы рассказы для них были написаны и ясно, и интересно, и нравственно. Ведь прекрасные «Живые мощи» Тургенева не подходят им (деревенским детям). Охотник пришел, барские воспоминания. Это удивительно, как мало в литературе того, что можно читать с детьми... Не нашлось бы что в Лескове и Чехове? Впрочем, искал и, кроме «Беглеца», не нашел» (28 февраля 1907 г.). Мнение это не фиксировано ни в каком другом источнике.

29 марта того же 1907 г. Толстой читал вслух «Попрыгунью». Маковицкий записал: «...две трети читал он: так живо, я воображал себе всю историю так, как если бы происходила у меня на глазах. Л. Н. устал, последнюю треть читала Татьяна Львовна, но какая поразительная разница в чтении, а Татьяна Львовна тоже мастерица читать. Л. Н., читая, сначала смеялся, восхищался. Сказал:

— С таким тонким юмором написано; это мне удовольствие предстоит; это я с удовольствием перечту всего Чехова. ...Когда Татьяна Львовна кончила, Л. Н. сказал:

— Превосходно, превосходно! Есть юмор сначала, а потом эта серьезность... И как чувствуется, что после его смерти она будет опять точно такая же».

И опять: «Яснополянские записки» — единственный источник этого замечательного эпизода и слов Толстого. В его собственном дневнике между 17 марта и 5 апреля 1907 г. — перерыв; в записной книжке 29 марта отмечено очень кратко: «Читаю Чехова 2-й день и восхищаюсь» (56, 189), а в письмах того времени к разным лицам о Чехове вообще ничего не говорится.

Теме «Л. Н. Толстой и А. П. Чехов» посвящено много работ. Однако до сих пор нет статьи, где бы сопоставлялся юмор двух писателей. Конечно, Чехов — всемирно признанный юморист. Но и в сочинениях Толстого много смешных (юмористических и сатирических) образов и сцен. О том, как ценил Толстой юмор в жизни, в человеческих отношениях, писал его старший сын Сергей Львович, а вслед за ним биограф Н. Н. Гусев. Однако предстоит еще заняться произведениями Толстого с этой точки зрения, и суждения о Чехове послужат здесь надежным ориентиром.

Чехова Толстой вспоминал всякий раз, как речь заходила о художественности. Критикуя рассказ Л. Д. Семенова-Тян-Шанского «Городовые», он заметил:

«— Чехов, я — без ложной скромности — мы бы написали подробности верно» (запись 19 сентября 1907 г.).

Лишь Маковицким отмечен сравнительно благожелательный отзыв о пьесах Чехова. Услышав, что на сцене Художественного театра эти пьесы «производят большее впечатление», чем «Анфиса» Леонида Андреева, Толстой заметил:

«— Если в противовес андреевским драмам, — тогда это очень хорошо» (31 января 1910 г.).

Велико было обаяние и самой личности Чехова (первая встреча Чехова с Толстым произошла в июле 1895 г. в Ясной Поляне). В «Яснополянских записках» постоянны слова Толстого: «человек кроткий, добрый», «сдержанный», «трогательный, мил».

Наконец, именно Маковицкий записал 25 марта 1908 г. замечательное признание Толстого о Чехове: «— Я не знал, что он меня так любил». Тогда в «Новом времени» появился отрывок из чеховского письма от 28 января 1900 г.: «Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не любил так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех».

В общей оценке Чехова материалы «Яснополянских записок» повторяют известную мысль Толстого: «великий талант, но внутреннего содержания не было у него» (7 июля 1910 г.). Толстой не находил у Чехова того, что считал в эти годы главным для искусства — религиозно-нравственного содержания.

«Во что он верил, один бог знает», — сказал он о Чехове 18 ноября 1909 г.

Но снова и снова читал, перечитывал его, видел новую красоту и говорил о ней. Кажется, в эти трудные годы один Чехов мог рассмешить сурового старца.

Огромный и несомненный талант, богатое воображение, удивительная художественная память, настоящий юмор, комизм, чуткость художника — все эти черты отличали, с точки зрения Толстого, Чехова и резко выделяли его на фоне всей тогдашней литературы.

К счастью для нас, в Ясной Поляне в эти годы жил человек, внимательно слушавший и добросовестно все отмечавший. Невольно вспоминается, что именно Чехов с горечью говорил М. Горькому: «Вот за Гете каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут».

В последние шесть лет жизни Толстого, уже после смерти Чехова, благодаря Маковицкому этого не случилось.

А. С. Дробыш

## ТОЛСТОЙ В ТВОРЧЕСТВЕ Е. Е. ЛАНСЕРЕ

Среди работ советских художников-иллюстраторов произведений Толстого особой известностью пользуются иллюстрации выдающегося графика Евгения Евгеньевича Лансере (1875—1946).

Серия рисунков к повести «Хаджи-Мурат», созданная им еще в 1912—1914 годах, свидетельствует о силе и зрелости его мастерства, о глубоком проникновении в мир мыслей и образов Толстого.

Нелегко шел Лансере к своей зрелости<sup>1</sup>. 37 лет — возраст свершений. Когда в 1912 году им был получен заказ на создание иллюстраций к повести «Хаджи-Мурат», проявились зрелость таланта, его техническое мастерство и, что не менее важно, чуткость художника к нравственным проблемам, заложенным в кавказской повести Толстого.

В статье «Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана» Толстой определил три необходимых условия, которым, с его точки зрения, должно отвечать художественное произведение: 1) правильное, т. е. нравственное отношение автора к предмету; 2) ясность изложения, или красота формы; 3) искренность, т. е. непритворное чувство любви или ненависти к тому, что изображает художник<sup>2</sup>. Разумеется, все это при наличии главного условия — таланта. Творческая индивидуальность Е. Е. Лансере отвечала всем этим требованиям. Однако мировоззренческая зрелость художника складывалась постепенно, в преодолении некоторых семейных влияний и художественных течений своего времени.

Как известно, Е. Е. Лансере принадлежал к потомственной семье художников. Отроческие и юношеские его годы прошли в Петербурге, в доме деда, архитектора Н. Л. Бенуа, где старшим наставником и другом юного Лансере становится его дядя — Александр Николаевич Бенуа<sup>3</sup>. Талантливый художник, в будущем вдохновитель и организатор творческого объединения «Мир искусства», А. Н. Бенуа впоследствии вспоминал, что их дружба началась, когда он сам только вступал в пору молодости: юный Лансере рано лишился отца, и А. Н. Бе-

нуа невольно принял на себя роль ментора, хотя был всего на пять лет старше своего племянника. В пору взросления молодой Лансере запомнился А. Н. Бенуа поэтическим юношей, очаровательным товарищем, всегда полным «различными идеями».

Е. Лансере с увлечением работал на натуре и делал сразу же большие успехи. Уже тогда в его работах покоряла естественность, которую, по мнению А. Н. Бенуа, юный художник мог вкладывать «без принуждения»<sup>4</sup> в свои этюды.

В семье, где все имели отношение к искусству, проявить свою индивидуальность, утвердить себя было нелегко — труднее было не стать художником, чем им стать. Однако на этот путь юного Лансере толкала не одна семейная традиция и влияние окружающих, но, что называется, «самое подлинное призвание, художественная натура»<sup>5</sup>. Скорее именно вопреки счастливым обстоятельствам рождения в семье потомственных художников Евгению Евгеньевичу Лансере предстояло пройти нелегкий путь становления личности, обретения себя в искусстве. Стремление всё познать и проверить самому было заложено в натуре будущего выдающегося мастера живописи и графики. Об этом пути становления повествует юношеский дневник художника 1893—1894 годов.

«Трех Великих» выделяет Лансере в эти годы: Золя, Достоевского, Толстого. Но только «Великого» Толстого он выбирает в собеседники.

Юноша Лансере записывает, что обязательно хочет стать художником, но только «отличным художником», чтобы не чувствовать себя скованным в технике. Он убежден в своем призвании, но постоянно сомневается в своем умении. Чтобы идти вперед и уметь свободно выразить то, что хочешь, надо много и упорно работать. «Я заметил,— записывает он в ноябре 1893 года,— если я рисую и доволен тем, что делаю,— то после всегда оказывается скверно, если рисую в отчаянии, то оказывается, если не плохо, а иногда и хорошо»<sup>6</sup>.

Постоянно думая о профессиональном мастерстве, совершенствуясь в нем, Е. Е. Лансере не забывает и о главном: свое искусство он должен поставить на службу обществу, его идеалам.

Единственно возможный путь обретения истины юноша Лансере видит в изучении жизни, ее правды: «Я раньше всего хочу правды, какова бы она ни была»<sup>7</sup>. Не желая плыть по течению, не принимая на веру утверждения других, он много размышляет о назначении художника, о жизни вообще. Он много читает и, естественно, обращается к творчеству и авторитету великого Толстого.

Из его дневников 1893—1894 годов мы узнаем, что разговоры о Толстом и вокруг Толстого велись в семье постоянно. В кругу художников, где формировалась личность Лансере, среди его

старших друзей — А. Н. Бенуа, В. Ф. Нувеля, К. А. Сомова, Л. С. Бакста и др. — существовал «подлинный пиетет к Толстому»<sup>8</sup>. Документальное подтверждение этому мы находим и в воспоминаниях А. Н. Бенуа.

Не все, провозглашаемое Толстым, одобрялось в среде «бунтарей», но критика Толстого в адрес бездуховности современного искусства воспринималась ими как платформа, как отправная точка для поисков новых путей.

Е. Е. Лансере записывает в дневнике свой разговор с А. Н. Бенуа, который рассказывает ему о беседе с В. Ф. Нувелем. Говорили о Толстом, о его статьях об искусстве: «Говорили с Шурой (А. Н. Бенуа. — А. Д.) о падении науки и искусства. Шура говорил, что никакого прогресса нет, что это все фальшь, что люди от железных дорог и другого счастливее не стали, а, напротив, что если так будет продолжаться (науки и изобретения и материальные удобства), то все погибло...» И он восклицает слова Толстого: «Пора остановиться, оглянуться, на себя посмотреть... Vive Толстой»<sup>9</sup>.

Молодой Лансере читает статьи Толстого об искусстве. В круг его размышлений попадают острые вопросы, поставленные писателем и в ряде других его статей. Лансере постепенно открывает для себя Толстого-художника, мыслителя, философа.

В эти годы Лансере с увлечением читает роман Толстого «Война и мир». В дневнике появляются записи, названные им так: «Мои мысли по поводу прочтения романа Толстого «Война и мир».

Обращения к мыслям Толстого столь часты в юношеском дневнике Лансере, что можно сказать без преувеличения, — он избрал Толстого своим незримым и постоянным собеседником, арбитром, который может помочь разобраться во всех сложностях, происходящих в нем самом и вовне. Лансере постоянно сопрягает свои мысли с мыслями Толстого, как бы ведя с ним внутренний диалог. Восемнадцатилетний Лансере записывает: «Я люблю, я верю Толстому... Одного мастерства мало. Важна цель искусства»<sup>10</sup>.

Бесконечно веря Толстому, Лансере серьезно принимает многое из толстовской критики современной действительности. Читая 13-ю часть собрания сочинений Толстого<sup>11</sup>, Лансере, вслед за писателем, ставит себе вопросы: «Интересуюсь и готовлюсь к искусству... действительно ли оно нужно человечеству, какая цель и польза от него? Как должны мы жить и смотреть на людей, на общество, на наш теперешний строй жизни? Хорошо ли это, можно ли лучше, что делать?»<sup>12</sup> И добавляет: «Все эти вопросы возбудили во мне 2—3 статьи Толстого...»<sup>13</sup>.

Толстому-художнику, блестящему мастеру формы, посвящены многие восторженные страницы дневника. Лансере обра-

щает внимание на силу воздействия толстовского искусства, на то свойство, которое сам Толстой определял как «заразительность». Толстой неоднократно проводил мысль, что «цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях» (61,100).

Читая «Войну и мир», Лансере испытал на себе всю силу толстовского обаяния: «Описания у Толстого дивные... — записывает он. — Я так и вижу танцующего императора на бале... Знакомство Болконского с Наташей. А где я наяву видел танцы?.. А поездка Ростовых к Мелюковым, что за прелесть... Потом охота в Отрадном — да это целая поэма!» И продолжает: «Нет, до чего эта охота хороша. Я так и чувствовал лошадь под собой, поля, кусты... и хотя не был никогда на охоте, радовался и наслаждался с ними»<sup>14</sup>.

При чтении толстовской прозы юноша Лансере загорался мыслью создать в будущем картины, достойные этих описаний, а пока для него главное — труд.

«Когда я буду большой, я нарисую картину этой ночи. Теперь я вижу ее перед собой, но не буду рисовать, чтобы не помешали бы мне теперешние отчаяние и бессилие. А до чего метки наблюдения Толстого, что даже досадно становится, что вот он видит насквозь все слабости, мечтания...»<sup>15</sup>.

Желая противиться мысли Толстого, он все же соглашается с ним: «Читая Толстого, я ищу как бы опровергнуть его, не верить ему. А говоря о нем... защищал его теорию»<sup>16</sup>.

У Лансере вызывает протест толстовское «снижение» образов Наполеона и Кутузова. Он пишет: «Толстой остроумный фаталист, но я с ним не согласен. По Толстому идеал главнокомандующего — Кутузов, сидящий на скамейке. Может быть, но я не хочу с этим соглашаться...»<sup>17</sup>.

Лансере отмечает и особенности стиля Толстого: «Слог Толстого, — записывает он, — очень оригинален, прост в словах, точен и ярок, но расстановка самих слов немного немецкая; и не всегда понимаешь отношение одного слова к другому, что возбуждает какое-то физическое ощущение в руках и теле, ощущение недореза, зацепки, задержки, что заставляет переживать другие фразы»<sup>18</sup>.

С максимализмом, свойственным молодости, Лансере готов отвергнуть будущее, которое как бы уготовано ему самим рождением. Подобно героям Толстого он тянется к естественной жизни на природе, подальше от душных гостиных и готовых рецептов: «К черту мне ваши Чайковские, Григоровичи и Эрмитажи, Рембрандты, театры, Нибелунги, катки, вечера, обеды, гости... А что меня ждет впереди?.. Обеды с тостами, незнание что делать? Мне хочется луну, поля... ширину и свежесть и тройку и настоящий смех; мне хочется лошадь... и мух,

кузнечики и стрекозы и перепелки и дрохвы, и Погорелое и купание в мутной холодной Муромке»<sup>19</sup>.

Религиозные искания Толстого, его учение о добре и зле также попадают в сферу размышлений будущего художника. И хотя в те годы ему не удастся до конца разобраться во всех тонкостях толстовской мысли, он выделяет те положения, которые сейчас созвучны его переживаниям и настроениям. «Теперь,— записывает он в 1894 году,— Толстой сознал, что нельзя жить одними реальностями, нашей наукой, нужна внутренняя духовная, чувственная наука, философия, искусство»<sup>20</sup>.

Когда приходили минуты сомнений в себе, в своем призвании, когда юному Лансере казалось, что он оставался один на один с жизнью и необходимо самому определить свое будущее, он обращался к жизнеутверждающей силе толстовского искусства и всегда получал поддержку. Вдумываясь в мысли Толстого, Лансере преодолевает отчаяние, неуверенность. Мысль Толстого о служении людям как высшем идеале жизни находит отклик в его душе: «Всю свою жизнь я полагал в своем особом таланте и, сомневаясь, отчаивался в жизни. Теперь же я принял, согласился с Толстым, принял, что я могу — буду жить и без денег и без таланта... могу и буду исполнять свое назначение»<sup>21</sup>.

В годы ученичества Лансере много работает и путешествует. Он убеждается, что стать мастером можно, только учась у самой жизни. И этим выводом он обязан Толстому. В поездках по Европе (Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Бельгии) он жадно впитывает впечатления, учится у зарубежных мастеров, накапливает опыт.

Свою первую работу в области книжной графики Е. Е. Лансере выполнил еще в 1898 году. Позднее он много прекрасных графических работ сделал для журнала «Мир искусства», куда был приглашен С. П. Дягилевым.

В начале века Лансере оформлял десятки книжных изданий: альманахов, альбомов, журналов, книг по искусству. Уже в ту пору он стал мастером. Но только обращение к творчеству Толстого открыло полный выход творческим возможностям художника, принесло ему истинную радость свершения большого, значительного.

В 1912 году Лансере, по рекомендации А. Н. Бенуа, получил заказ от издательства «Голике и Вильборг» на иллюстрирование повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат».

Получение такого заказа сделало для него возможным осуществление давней мечты. Четыре года посвятил художник этой работе. Поэтический мир поздней толстовской прозы, ее конкретность и реализм, ее историческая достоверность продиктовали художнику и метод работы.

Начальный этап работы состоял в изучении природы, тех



мест, где жили толстовские герои, в изучении исторических источников, полном «вживании» в текст. Для изучения натуры художник едет на два года в Дагестан и Чечню. Здесь он делает натурные зарисовки Аварского Кайсу и реки Алазань, аулов Хунзах, Цельмес, Нуха, крепости Воздвиженской и улиц Тифлиса. Страницы рабочих альбомов Лансере заполняются пейзажными зарисовками, лицами и костюмами аварцев, чеченцев и других народностей Закавказья, портретами исторических лиц, выписками из исторических источников. Лансере зарисовывает убранство горской сакли, интерьеры и предметы дворцовой обстановки, детали женских и мужских костюмов, женские украшения, домашнюю утварь, посуду, люльки, оружие, солдатские и офицерские мундиры, головные уборы, повозки, знаки отличия, ордена и т. д.

Первый этап работы носил почти научный, исследовательский характер. Свой труд художник делает строго документальным. Следование правде жизни — его девиз и одно из необходимых условий реалистического обобщения.

Понимая, что достижение правды в искусстве требует огромного труда, Лансере работает самозабвенно. В письме к Н. А. Попову в 1914 году Лансере признается: «...все, что я делаю, я делаю с затратой большого труда»<sup>22</sup>. С документальной точностью указывает художник на материалы, использованные им при создании портретов исторических лиц и мест действия повести.

В рабочих альбомах художника есть зарисовки с известных фотопортретов молодого Толстого в военной форме. Они в точности повторяют фотографии 1851—1854 годов. Но опираясь на этот документальный материал, Лансере создает обобщенный портрет молодого писателя, т. е. рассказчика, который сам служил на Кавказе в 50-е годы, слышал историю выхода Хаджи-Мурата к русским и воссоздал почти эпическую картину его жизни и гибели.

В поле зрения художника не только история завоевания Кавказа, которую он изучает по тем же источникам, что и Толстой, — он обращается к альбомам Гагарина, Челищева, Тимма, рисункам Коррадини, Горшельдта, дагерротипам, фотографиям, каталогам, гектографированным портретам, экспонатам этнографических и исторических музеев.

Вспоминая это незабываемое время творчества и труда, художник впоследствии писал: «Время моей жизни на Кавказе я считаю временем увлечения живописью, усиленной работы с натуры, раскрытием для меня многих сторон колорита»<sup>23</sup>.

Выход в свет в 1916 году книги «Хаджи-Мурат» в оформлении и с иллюстрациями Лансере можно считать значительным событием не только в жизни художника, но и в искусстве книжной графики. Художник выступает своего рода соавтором посмертной повести великого Толстого. Ему понятны и близки

героические, свободлюбивые мотивы героев, которым сочувствует, сопереживает Толстой. Художнику подвластны противопоставления, контрасты жизни, «полюсы абсолютизма», положенные Толстым в основу замысла. Глубоким проникновением в общую мысль толстовской прозы, направленной против всякого насилия, отмечены рисунки Лансере, вплоть до деталей декоративного оформления — заставок, концовок, разворотов.

В 1915 году многие рисунки Лансере к повести «Хаджи-Мурат» были выставлены как самостоятельные произведения темперной живописи на выставке «Мира искусства». А. Н. Бенуа посвятил им целую статью в газете «Речь», где писал: «Лансере по природе иллюстратор, но без всякого преувеличения скажу, что он **гениальный** иллюстратор. В других областях он великий мастер, виртуоз... в иллюстрациях же он — большой поэт и художник. Слишком огромно искусство Толстого, чтобы вообще допускать какие-либо сравнения. Но тем значительнее то, что рисунки Лансере сохраняют рядом со всей толстовской колоссальностью и свою значительность, и свою прелесть, что они не только дают тонкую и точную справку по сценарию и рисуют типы действующих лиц, но, кроме того, складываются в самостоятельную песнь, прекрасно ввязывающуюся в могучую музыку Толстого»<sup>24</sup>.

В Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве хранится большая коллекция (206 ед.) работ Е. Е. Лансере. В этой коллекции — работы к повестям «Хаджи-Мурат», «Казачьи», подготовительные рисунки к неосуществленной экранизации казачьей повести, а также многочисленные типографские оттиски с авторской подкраской.

Начало собиранию коллекции было положено в 1925 году, когда художник живо откликнулся на просьбу Музея Толстого и первая партия рисунков Лансере к «Хаджи-Мурату» стала музейной собственностью.

Все последующие годы художник не прерывал связи с музеем. Все, что он рисовал на толстовскую тему, поступало в музей, многие вещи были отданы художником в дар.

Несомненно, что творческая встреча большого художника с Толстым сыграла огромную роль и в становлении художественного метода самого Лансере. Он учился реализму у великого Толстого, следуя его утверждению, что открытие истины посредством чувства и есть искусство.

В зрелые годы жизни Лансере определил принципы своего искусства, развивавшегося в русле традиций реализма, традиций Толстого: «Важнейшим принципом искусства считаю выразительность образа, типа и выразительность движения, изображаемого лица в реальной, исторически верной, убедительно понятой обстановке»<sup>25</sup>.

Образы толстовских героев, запечатленные в живописи и

графике Лансере, неизменно присутствуют в экспозициях музея и на его выставках и помогают создавать ту удивительную атмосферу общения современного человека с миром искусства, что так важно для обогащения его духовной культуры.

В заключение считаю необходимым поблагодарить родственников Е. Е. Лансере за предоставленную возможность познакомиться с дневниками художника, а также за доброжелательную помощь в работе.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Подобедова О. И. Евгений Евгеньевич Лансере. 1875—1946. М., 1961.

<sup>2</sup> См.: Толстой Л. Н. Юб. изд., т. 30, с. 4.

<sup>3</sup> Бенуа А. Н. (1870—1960) — русский художник, историк искусства и художественный критик; младший брат матери Е. Е. Лансере.

<sup>4</sup> Бенуа А. Н. Мои воспоминания, кн. 4—5. М., 1980, с. 65.

<sup>5</sup> Там же, с. 66.

<sup>6</sup> Лансере Е. Е. Дневник 1893 г., с. 15 (Здесь и далее записи Е. Е. Лансере приводятся по его дневнику, хранящемуся в семье художника).

<sup>7</sup> Лансере Е. Е. Письмо к А. Н. Бенуа.— Цит. по кн.: Подобедова О. И. Указ. соч., с. 37.

<sup>8</sup> Бенуа А. Н. Указ. соч., с. 406—407.

<sup>9</sup> Лансере Е. Е. Дневник 1893 г., с. 31.

<sup>10</sup> Там же, с. 98.

<sup>11</sup> Сочинения Л. Н. Толстого, часть тринадцатая. Произведения последних годов. М., 1890. Опубликованы статьи: «В чем счастье?» (1882), «О переписи в Москве» (1882), «Так что же нам делать?» (1884—1885), «О том, в чем правда в искусстве» (1886).

<sup>12</sup> Лансере Е. Е. Дневник 1893 г., с. 98.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же, с. 22.

<sup>15</sup> Там же, с. 28.

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Там же, с. 21.

<sup>18</sup> Там же, с. 17.

<sup>19</sup> Там же, с. 28.

<sup>20</sup> Там же, с. 32.

<sup>21</sup> Там же, с. 24.

<sup>22</sup> Лансере Е. Е. Письмо к Н. А. Попову от 24 июня 1914 г., ЦГАЛИ, ф. 337.

<sup>23</sup> Лансере Е. Е. Моя жизнь на Кавказе.— Творчество, 1936, № 1, с. 11.

<sup>24</sup> Речь, 1916, 4 марта.

<sup>25</sup> ЦГАЛИ, ф. 1982.

## О ХУДОЖНИКЕ Л. Д. КРЮКОВЕ И ЕГО МИНИАТЮРАХ

Художник Лев Дмитриевич Крюков жил и работал в Казани в первой половине XIX века. Его популярность в городе была велика, он написал много заказных портретов известных казанцев и представителей местной знати.

В казанский период жизни (1841—1847) Толстой мог видеть работы Л. Д. Крюкова, а созданные казанским мастером портретные миниатюры родных писателя стали семейными реликвиями Толстых.

Крюков — малоизвестный художник, и поэтому нам кажется не лишним сообщить некоторые биографические сведения о художнике-самоучке, бывшем крепостном, добившемся значительных успехов в области искусства, особенно миниатюры.

Лев Дмитриевич Крюков родился в 1783 году, умер в Казани 3 мая 1843 года. Происходил из крепостных крестьян помещицы Секиотовой, которая дала ему отпускную. В ней говорится: «Лета тысяща восемьсот шестого, июля в третий день порутчица Аграфёна Александровна дочь Секиотова, дала сию отпускную своему дворовому человеку Льву Дмитриеву сыну Крюкову, написанному... за мною Симбирской губернии и уезда в деревне Новой Бугурне, в том, что отпустила Секиотова его, Крюкова, за добропорядочное его поведение и верные ко мне услуги вечно на волю»<sup>1</sup>.

Получив вольную, Крюков в 1806 году приехал из Симбирска в Казань. У Крюкова не было образовательного ценза, и ему было назначено испытание для определения его способностей и подготовки. Представленные им рисунки были одобрены, и 6 февраля 1807 года он был утвержден преподавателем «приятных искусств» по классу рисования и живописи, а также первым живописцем университета.

Кроме педагогической деятельности, Крюков занимался также пейзажной и религиозной живописью. В «Памятной книжке» И. Чернова сказано: «Крюков (отец) Лев Дм<итрие-вич> т<итулярный> с<о>в<етник>; пишет портреты с натуры в натуральную величину и миниатюрные; обучает живописи в Университете и в частных домах; пишет иконы и целые

иконостасы; ж〈ивет〉 в Верхне-Федоровской улице в собственном доме»<sup>2</sup>.

В портретной галерее лиц первой половины XIX века, созданной университетским живописцем, есть портрет Н. И. Лобачевского, написанный Крюковым в 1839 году (х.м., 74×62). Этот портрет с 1928 года принадлежал музею Л. Н. Толстого в Москве, а в 1945 году был передан в Академию наук СССР. Н. И. Лобачевский (1792—1856) был ректором Казанского университета в то время, когда там учился студент Лев Толстой.

Вспоминая в старости Лобачевского, Толстой говорил: «Я его отлично помню. Он был всегда таким серьезным и настоящим ученым... мне приходилось с ним разговаривать как с ректором»<sup>3</sup>.

О своем уходе из университета Толстой рассказывал: «Лобачевский, помню, очень тогда со мной хорошо говорил, жалел, что мои университетские занятия так плохо удались, говорил: «Было бы очень печально, если бы ваши выдающиеся способности не нашли себе применения»<sup>4</sup>.

Теперь остановимся на миниатюрах.

В Ясной Поляне, в Доме-музее Л. Н. Толстого, в кабинете писателя, на полке стоит настольная ширма. На четырех створках этой ширмы в порядке, указанном самим писателем, размещены портретные миниатюры его предков и родственников; они составляют как бы небольшую семейную галерею. Толстой очень интересовался этими портретами, они были ему особенно дороги, говорили о том времени, когда жили его предки.

Портрет Ильи Андреевича Толстого, деда писателя, помещен на третьей створке ширмы. Илья Андреевич изображен в пожилом возрасте; открытое лицо, коротко подстриженные волосы. В его внимательном взгляде видны доброта и мягкость. Илья Андреевич одет в куртку и белую рубашку со стоячим воротничком. Справа по краю фона в вертикальном направлении подпись: «Л. Крюков».

Граф Илья Андреевич Толстой родился в 1757 году, учился в Морском корпусе, был гардемарином во флоте, затем поступил в лейб-гвардию, служил в Преображенском полку и в 1793 году вышел в отставку в чине бригадира. Был выбран от дворянства Тульской губернии судьей Совестного суда. Расточительный образ жизни, расстроенные дела привели к тому, что Илья Андреевич вынужден был поступить на службу. Приказ Сената гласил: «Отставному бригадиру графу Илье Толстому всемилостивейше повелеваем быть казанским гражданским губернатором с переименованием в статские советники».

В августе 1815 года Толстые приехали в Казань. В течение пяти лет Илья Андреевич был казанским губернатором. За это время его имущественное положение не улучшилось, а крупные неприятности по службе закончились трагично. Тол-

стой был отстранен от губернаторства и отдан под следствие сенатской комиссии. Не пережив этого удара, Илья Андреевич скончался 21 марта 1820 года.

Миниатюра передает облик Ильи Андреевича в последние годы его жизни; портрет написан в Казани художником Л. Д. Крюковым в период между 1815—1820 годами.

В «Войне и мире» Толстой отразил в образе старого графа Ростова некоторые черты характера и события из жизни своего деда.

Портрет Николая Ильича Толстого, отца писателя, помещен также на третьей створке ширмы. Худое лицо, высокий лоб, задумчивый взгляд, темные вьющиеся волосы причесаны на косой пробор, коротко подстриженные усы. Николай Ильич одет в мундир с аксельбантами. Слева по краю фона в вертикальном направлении подпись: «Л. Крюков».

Граф Николай Ильич Толстой родился в 1794 году. В 1812 году был зачислен корнетом в Иркутский гусарский полк, в 1813 году отправился в заграничный поход; участвовал в «битве народов» под Лейпцигом. В местечке Сент-Оби попал в плен к французам и оставался в Париже до взятия его русскими войсками. В 1814 году Н. И. Толстой возвратился в Петербург и был переведен в кавалергардский полк. 14 ноября 1818 года подал прошение об отставке, к которому было приложено свидетельство о болезни, выданное главным врачом Казанского военного госпиталя. Н. И. Толстой вышел в отставку в 1819 году в чине подполковника; в Казань приехал не ранее 1818 года, когда Илья Андреевич был там губернатором; в 1820 году после смерти отца Николай Ильич уехал из Казани.

Когда же была написана миниатюра? Основываясь на приведенных выше данных, можно считать, что она была выполнена Л. Д. Крюковым в 1818—1820 годах в Казани.

Известно, что некоторые факты из жизни отца писателя и отдельные черты его характера нашли отражение в образе Николая Ростова в романе «Война и мир».

К сказанному добавим: в путеводителе «Ясная Поляна. Дом-музей Л. Н. Толстого» подпись к миниатюре «Граф Николай Ильич Толстой» дана с вопросительным знаком, указывающим, что изображенное лицо точно не установлено<sup>5</sup>. На наш взгляд, на этой миниатюре изображен не кто иной, как Николай Ильич Толстой. Сходство изображенного с достоверной портретной миниатюрой, переданной музеем Л. Н. Толстого в Москве внучкой писателя Т. М. Альбертини-Сухотиной в 1977 году, несомненно. Изображено одно и то же лицо. Обе миниатюры подписаны Л. Д. Крюковым, обе выполнены в Казани. По всей вероятности, портреты Пелагеи Николаевны (третья створка ширмы), Николая Ильича (вторая створка), а также Владимира Ивановича Юшкова (четвертая створка) являются также работами казанского художника.

Высказывая такое предположение, мы находим эти миниатюры по манере исполнения похожими на работы Крюкова, помня также и о том, что не один раз художник писал членов семьи Толстых. В изофондах музея Л. Н. Толстого в Москве тоже хранятся миниатюры его работы: одна, на которой Николай Ильич изображен в домашнем халате, другая — портрет В. И. Юшкова — вставлена в крышку дорожной шкатулки Толстых.

Имя Л. Д. Крюкова вызывает у нас большой интерес, так как нам удалось выявить его работы в музеях Л. Н. Толстого. Достоверные, написанные правдиво, с вниманием и теплотой, эти маленькие произведения искусства волнуют нас. Они дороги нам тем, что запечатлели лица дорогих Толстому людей. Эти фамильные реликвии приближают нас к прошлому, дают нам лучше почувствовать атмосферу семьи Толстых. Представляя собой документ эпохи, воскрешая в нашей памяти героев художественных произведений писателя, они занимают свое достойное место в музеях Толстого.

«Миниатюры Л. Крюкова так интересны, что заслуживают быть отмеченными и описанными не только как образец местного творчества, но и как работы, могущие прибавить несколько любопытных штрихов в историю этой интересной области искусства»<sup>6</sup>.

С этой оценкой нельзя не согласиться.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Дульский П. М. Лев Крюков: Материалы к истории миниатюры в России. Казань: Изд. автора, 1923, с. 22—23.

<sup>2</sup> Чернов И. С. Указатель города Казани или памятная книжка для жителей Казанской губернии на 1841 год. Казань: Типогр. губернского правления, VII, с. 5.

<sup>3</sup> Цингер А. В. У Толстых: Международный Толстовский альманах, составленный П. Сергеевко. М., 1909, с. 389.

<sup>4</sup> Цингер А. В. Толстой и Лобачевский (Красная Татария, 1939, 12 дек.). — Цит. по кн.: Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954, с. 228.

<sup>5</sup> Пузин Н. П. Ясная Поляна. Дом-музей Л. Н. Толстого. М., 1982, с. 4, 19, 111.

<sup>6</sup> Дульский П. М. Лев Крюков, с. 34.

## Л. Н. ТОЛСТОЙ В ФОТОГРАФИЯХ Д. А. ОЛСУФЬЕВА

Коллекция снимков Л. Н. Толстого работы Д. А. Олсуфьева невелика. Она насчитывает всего двенадцать сюжетов и для исследователя не представляет большой сложности в том смысле, что снимки этого собрания не нужно выискивать в обширном «море» фотографического фонда Толстого, «биться» над их атрибуцией, доказывать авторство Д. А. Олсуфьева и т. д.

Вся коллекция снята в Ясной Поляне в августе 1905 года и подарена ее автором Л. Н. Толстому в день рождения писателя, 28 августа, в виде монтажа в широкой деревянной раме с вырезанной на ней надписью: «Ясная Поляна, 1828—28 августа 1905 г.». В описи вещей яснополянского дома, составленной С. А. Толстой в 1918 году, записано: «Разные моменты из жизни Л. Н-ча, подарок гр. Д. А. Олсуфьева в красной раме»<sup>1</sup>.

Серия, состоящая из одиннадцати фотографий, до сих пор находится в экспозиции мемориального дома Толстого в Ясной Поляне (в комнате для приезжающих). Краткое описание снимков, сделанное Н. П. Пузиным, опубликовано в «Яснополянском сборнике» за 1974 год в статье «Фотографии Л. Н. Толстого в его яснополянском доме»<sup>2</sup>.

Известно существование и второй такой же «рамы» с фотографиями Д. А. Олсуфьева, которая, вероятно, раньше принадлежала его семье, а в настоящее время находится в собственности частного лица в городе Дмитрове<sup>3</sup>.

Об этом монтаже снимков сделал публикацию в газете «Ленинское знамя» журналист И. Илюхин еще в 1964 году<sup>4</sup>. Вместе со статьей он опубликовал редкую фотографию, на которой сняты Л. Н. Толстой, Д. П. Маковицкий, сам фотограф Д. А. Олсуфьев и неизвестный, изображение которого получилось не «в фокусе» (расплывчатым). Вероятно, потому снимок и не попал в яснополянский подарочный монтаж.

До недавнего времени фонды нашего музея не располагали полностью собранием снимков-оригиналов работы Д. А. Олсуфьева. И только в 1977 году, накануне 150-летнего юбилея Толстого, в числе многочисленных даров, музей получил одиннадцать фотографий-оригиналов Олсуфьева, и среди них —



тот редкий снимок, о котором говорилось выше. Эти фотографии писателя, наряду с другими, были присланы из Англии в дар от Е. С. Молло и М. А. Бовойтер.

Дмитрий Адамович Олсуфьев (1862—1930), автор этих снимков, был сыном Анны Михайловны и Адама Васильевича Олсуфьевых, старинных друзей Л. Н. Толстого. В их имении Никольское-Обольяниново он часто гостил в московский период своей жизни в 1880—1890-х годах.

Олсуфьевы, люди просвещенные, обладали широким кругом интересов; по-настоящему любили литературу, музыку. В их доме была прекрасная библиотека, где Лев Николаевич отбирал нужные книги для издания в «Посреднике», читал и перечитывал труды по искусству и философии, когда работал над статьей «Что такое искусство?» и т. д.

Впрочем, нельзя сказать, что жизнь Олсуфьевых была замкнутой, эстетской, заполненной только искусством, дружбой с видными деятелями культуры. Им безразлично было положение крестьян, живших с ними рядом, и они делали многое для улучшения условий их быта.

«Роскошь жизни их очень большая и очевидно тяготит, давит их,— и им скучно... Выкупается все нравственной чистотой и честностью, которая чувствуется во всех» (83, 554),— писал Толстой об Олсуфьевых жене Софье Андреевне в декабре 1885 года.

Отношение всех Олсуфьевых (и старших, и младших) к Л. Н. Толстому было очень чутким. Они никогда не злоупотребляли своим гостеприимством, умели тактично оберегать покой. Не стесняя писателя подчеркнутым вниманием, хозяева создавали ему условия для отдыха и работы.

Возможно, по этой же причине Олсуфьевы не фотографировали Льва Николаевича, когда он гостил у них.

Толстой чаще всего приезжал к своим друзьям с дочерью Татьяной, которую кто-то из Олсуфьевых снял в Никольском: вместе с Адамом Васильевичем и сидящей в кресле-качалке (эта фотография очень нравилась Льву Николаевичу).

В 1899 году умерла Анна Михайловна, а в 1901 году не стало Адама Васильевича.

Добрую дружбу с Толстыми продолжали их сыновья: Михаил Адамович и Дмитрий Адамович. Оба получили университетское образование, занимались земской деятельностью, были честны и добры, в рамках своей службы стремились приносить пользу людям.

В письмах к жене из имения Олсуфьевых Толстой писал в разные годы о его обитателях: «Все добрые люди, но мальчики (М. А. и Д. А. Олсуфьевы.— Т. П.) лучше всех» (84, 16). Или: «Здесь, как всегда... все очень просты и добродушны. Нынче долго беседовали с Мишей об его земских делах и искренне сочувствовал его деятельности. Он хороший человек вполне»

(84, 238). К Михаилу Адамовичу Толстой, видимо, испытывал особую симпатию и не желал лучшего мужа для своей старшей дочери Татьяны. Но более тесные и длительные дружеские узы связывали с семьей писателя Дмитрия Адамовича Олсуфьева. Он был другом старшего сына Толстого, Сергея Львовича, учился с ним на одном факультете в Московском университете, после окончания которого они (по совету Д. И. Менделеева и с его рекомендательными письмами) посещали шахты и промышленные предприятия донецкого края. Дмитрий Адамович часто гостил в Ясной Поляне, где его тепло принимали, встречал с Толстыми несколько раз Новый год; был одним из партнеров Льва Николаевича по шахматам.

«Он простой и правдивый — нет в нем ни позы, ни фальши»<sup>5</sup>, — говорил о Д. А. Олсуфьеве Толстой и очень часто к его имени прибавлял эпитет «милый». «Играл с милым Адамычем в шахматы и карты» (58, 3), — записал он в дневнике 2 января 1910 года.

В 1906—1907 годах Дмитрий Адамович — член Государственного совета, и Толстой на правах старшего и давнего друга обращался к нему с многочисленными просьбами похлопотать о пострадавших от преследования царского правительства (помочь освободить из-под стражи Н. Н. Гусева, В. А. Молочникова, второй раз отбывавшего тюремное заключение за распространение запрещенных произведений Толстого, оказать посильную помощь многим другим).

На протяжении многолетней дружбы Л. Н. Толстого с Олсуфьевыми сфотографировал его лишь младший из них — Дмитрий Адамович и только в 1905 году. Ни до, ни после Д. А. Олсуфьев не сделал ни одной фотографии Толстого.

С таким парадоксальным на первый взгляд обстоятельством мы встречаемся не впервые при изучении любительских снимков писателя работы его близких знакомых и членов семьи, многие из которых фотографировали Толстого в моменты наивысшего духовного сближения с ним.

И не случайно, что именно в августе 1905 года Д. А. Олсуфьев сделал снимки Л. Н. Толстого: это было время их наивысшей духовной близости. Дмитрий Адамович в тот год только что освободился из японского плена. 11 августа 1905 года Д. А. Маковицкий записал в дневнике: «Приехал Д. А. Олсуфьев из Японии»<sup>6</sup>, а через день, уточняя ранее написанное, отметил: «Д. А. Олсуфьев вернулся из японского плена: Мукден, Инкоу, Шанхай, Одесса»<sup>7</sup>.

Л. Н. Толстой и Д. А. Олсуфьев беседовали о современных военных событиях, которые имели для обоих более глубокий и понятный смысл как для бывших участников войн (одного — Крымской 1853—1855 годов, другого — русско-японской 1904—1905 годов). Они видели героизм русских солдат, были свидетелями бессмысленных потерь.

Дмитрий Адамович рассказывал также о беспорядках, царящих в войсках, и в разговоре с ним Толстой повторил свою излюбленную мысль о том, что «дух армий — главное»<sup>8</sup>. 17 августа, в день отъезда Олсуфьева из Ясной Поляны, было получено известие о заключении мира с Японией, и Лев Николаевич тогда сказал: «Я должен сознаться, что во мне патриотическое чувство есть и я все надеялся, что русские победят»<sup>9</sup>. В этот же день он сообщил дочери Т. Л. Сухотиной: «Нынче только уехал Митя Олсуфьев — жил 6 дней и был очень мил» (76, 12).

За эти шесть дней Дмитрий Адамович и снял всю свою небольшую серию фотографий Л. Н. Толстого. Его снимки немного напоминают те, что сделал П. И. Бирюков летом того же 1905 года.

Толстой на них изображен в традиционной блузе, а на некоторых снимках — в белой широкополой шляпе. Сюжеты в отдельных случаях тоже совпадают: Лев Николаевич с просителями под «деревом бедных», верхом. Фотографии Олсуфьева, так же как и снимки Бирюкова, можно назвать условно репортажем об отдыхе писателя в летний день в Ясной Поляне, хотя сняты они в разные дни.

Но есть и различие. П. И. Бирюков больше фотографировал Л. Н. Толстого с просителями, рабочими, нищими. Олсуфьев же этой теме посвятил всего два снимка, а на четырех других его фотографиях мы видим Толстого в группах с профессором Мичиганского университета Э. Валкером, с сенатором А. М. Кузминским и другими.

Выбор сюжетов скорее всего оказался случайным, потому что в дни пребывания Д. А. Олсуфьева в Ясной Поляне у Толстых было много других посетителей.

Снимки Д. А. Олсуфьева отпечатаны на матовой бумаге двух размеров: 17×12 см (это размер снимков С. А. Толстой, которая, как известно, фотографировала громоздкой дорожной камерой со штативом) и 8×10 см (размер фотографий более портативного аппарата).

Трудно представить, чтобы Дмитрий Адамович приезжал в Ясную Поляну с двумя фотоаппаратами. Вероятнее всего, у него была с собой небольшая камера типа «Кодак», которую он взял с собой во время прогулки верхом с Л. Н. Толстым 13 августа 1905 года, когда Олсуфьев снял две фотографии писателя вдвоем с женой и в группе с Кузминскими и другими.

Половину своих снимков Олсуфьев оставил в виде контактных отпечатков (8×10 см), другую половину увеличил (17×12 см). Такие размеры фотографий, возможно, были подчинены его замыслу оформить все снимки как монтаж на одном большом паспорту в раме.

Дмитрий Адамович педантично следовал однажды найден-

ному решению: одни сюжеты увеличивал, другие — оставлял контактными отпечатками.

Более масштабными он делал портреты писателя и группы с Л. Н. Толстым, что вполне естественно; контактными — снимки, отличающиеся камерностью содержания, предполагающей, может быть, меньшие размеры.

Все фотографии яснополянского цикла сняты Д. А. Олсуфьевым средним планом, который дает меньше, чем крупный план, возможностей для раскрытия нюансов эмоционального состояния человека, его духовного мира. И тем не менее многие любители, фотографировавшие писателя средним планом, например, С. А. Толстая, С. С. Абамелек-Лазарев, П. И. Бирюков, М. Л. Оболенская, сумели отразить в своих работах глубину и значительность личности Толстого.

С. А. Толстая удачно назвала снимки работы Дмитрия Адамовича «разными моментами» из жизни Л. Н. Толстого.

Вот традиционный, самый типичный «момент» из яснополянской жизни писателя: Лев Николаевич с просителями под «деревом бедных». У Олсуфьева он вылился в миниатюрную новеллу из двух фотографий. На одной из них — Л. Н. Толстой раздает милостыню трем женщинам-крестьянкам, а несколько поодаль стоит крестьянин и ждет, чтобы поговорить с Толстым наедине. Видимо, предстоящий разговор для него был так важен, что он терпеливо ожидал, когда писатель освободится. На другой фотографии — крестьянин с Толстым, разговаривая, углубляется в парк. Камера Олсуфьева словно остановила их в движении. Снятые со спины их две небольшие фигуры поособому органично вписались в пейзаж яснополянского парка.

Две другие фотографии составили еще одну новеллу, о которой рассказал Д. П. Маковицкий в «Яснополянских записках»: «13 августа. Пополудни катались Кузминские, Софья Андреевна, Варвара Валерьяновна, я. У станции Рвы встретили Л. Н. с Олсуфьевым верхом. Старая Тульская дорога тянется среди великолепного старого леса. Л. Н. нам указал сросшиеся березы с дубом на границе наших владений и казенных. Кузминский был так очарован красотой мест, что сказал: — Сколько ни путешествовал (по России, Финляндии и Кавказу), места красивее Ясной Поляны не видел»<sup>10</sup>.

Снимки были сделаны Д. А. Олсуфьевым во время этой встречи. На одном из них Л. Н. Толстой верхом, рядом с ним, в белом платье, стоит С. А. Толстая и держит лошадь мужа под уздцы.

На другом — спешившийся Лев Николаевич с Софьей Андреевной и племянницей Варварой Валерьяновной Нагорновой стоят около открытого экипажа, в котором — Т. А. и А. М. Кузминские с внуком. Снимок удался технически и получился свободным по композиции. Вся группа, несмотря на «заданность» позирования перед объективом, смотрится живой, ес-

тественной, а вид открытого экипажа, который в семье Толстых называли катками, придает этой сцене жанровый характер. Широкая опушка леса с проселочной дорогой на переднем плане и молодой лес — на втором — передают ощущение простора, атмосферу непринужденности.

16 августа, накануне отъезда из Ясной Поляны, Д. А. Олсуфьев снял небольшую группу с Толстым на площадке в парке, вблизи дома. Это та редкая фотография, которой нет в яснополянском «подарочном» варианте монтажа снимков Дмитрия Адамовича.

Кроме Л. Н. Толстого, Д. П. Маковицкого и самого фотографа, на снимке изображен неизвестный. Его личность удалось определить благодаря «Яснополянским запискам» Маковицкого и узнать некоторые подробности его пребывания в Ясной Поляне.

«16 августа. Спас,— читаем в дневнике Душана Петровича.— Был американский мичиганский профессор Эдсон Валкер (Walker),— не ответили ему на его телеграфный запрос за недосугом. Приехал, просил автограф, цветы, которые должен был сорвать Л. Н. Просил Л. Н-ча помахать двумя привезенными американскими флагами; желает этого его сын. Фотографировались вместе с Олсуфьевым»<sup>11</sup>.

В этот же день Толстой проводил гостя до Овсянникова. Э. Валкер в письме в Ясную Поляну от 8 октября, вспоминая свою поездку с Л. Н. Толстым «по направлению к Туле, просил прислать адрес господина, сфотографировавшего их на лужайке». «Я жажду ее (фотографию) получить»<sup>12</sup>,— писал он.

Одновременно были сделаны два портрета Льва Николаевича с палкой в руках, сидящего на садовом диване в парке, как и на предыдущем снимке. К сожалению, эти фотографии Л. Н. Толстого меньше всего удалась Д. А. Олсуфьеву. На одной — у писателя недовольное выражение лица, в общем-то, случайное для него. Другая — снята более общим планом, поэтому содержит мало информации о настроении Толстого, о выражении его лица.

Более удалась Дмитрию Адамовичу два снимка Л. Н. Толстого верхом, запечатлевшие его красивую, легкую посадку. На одном он снят в динамической позе, с натянутым поводом в руках.

Два других снимка из серии Д. А. Олсуфьева трудно точно проанализировать: Л. Н. Толстой с неизвестным гостем за обеденным столом на террасе яснополянского дома. Обе фотографии сделаны одновременно с разных точек, в разных ракурсах. Из всех снимков работы Олсуфьева — эти типично любительские: нет четкости изображения, неудачна композиция; на обеих фотографиях часть фигуры неизвестного срезана.

Установить его личность пока не представляется возможным, так как в период пребывания Олсуфьева в Ясной Поляне

там побывало много посетителей. Можно только строить предположения о том, кто изображен на снимке. Одно из них касается слушателя Оксфордского университета Н. Форбса, который обедал с Толстыми 12 августа. А поскольку на снимке Лев Николаевич с гостем сидят за обеденным столом, то Форбс стал первой кандидатурой при атрибуции неизвестного.

Однако в именном указателе к «Яснополянским запискам» Д. П. Маковицкого, откуда почерпнуты эти сведения, сказано, что Невил Форбс был студентом Оксфордского университета, а на фотографии — человек средних лет, так что это предположение отпало.

Другая, на наш взгляд, более реальная версия состоит в том, что с Л. Н. Толстым снят Сергей Дмитриевич Николаев (1881—1920) — экономист, переводчик на русский язык работ Генри Джорджа, большой знаток литературы по земельному вопросу. Он «подходит» и по возрасту и по тому, что был близок Толстому по взглядам. С ним-то писатель и мог задержаться за обеденным столом, продолжая интересный разговор, тем более, что в этот приезд Николаева в Ясную Поляну Лев Николаевич правил одну из его статей о Генри Джордже, к которой написал предисловие. К сожалению, это предположение не подтвердилось. Дочь С. Д. Николаева, Татьяна Сергеевна, сообщила, что ее отец ни разу не фотографировался с Л. Н. Толстым. Так что вопрос о том, кто сидел в тот день за столом рядом со Львом Николаевичем, остается открытым.

И последняя фотография, завершающая анализ коллекции снимков, сделанных Д. А. Олсуфьевым в Ясной Поляне в августе 1905 года. Младшая дочь писателя верхом на лошади около «дерева бедных». На втором плане, через большую крону старого вяза, отчетливо просматривается дом Толстого с экипажем у крыльца. Рядом с ним хлопочет И. В. Сидорков.

Снимок получился скорее пейзажным с элементами жанра. Младшая дочь Толстого снята средним планом, хорошо смотрится ее красивая и даже изящная (не в пример другим ее снимкам) фигура.

Вообще, всадница производит впечатление статуэтки, ваятель которой продумал каждую деталь — поворот головы, жест и т. д.

Из всей серии снимков Д. А. Олсуфьева наиболее распространенными являются два — «Л. Н. Толстой с Софьей Андреевной» и «Л. Н. Толстой и С. А. Толстая в группе с Кузминскими и В. В. Нагорновой», опубликованные в иллюстрированном приложении к «Новому времени» еще в сентябре 1905 года. Остальные фотографии менее известны, а такие, как Л. Н. Толстой в группе с профессором Валкером, с неизвестным посетителем, с просителем в парке, являются редкими. Вообще, коллекция снимков Д. А. Олсуфьева принадлежит к числу мало распространенных и мало экзemplарных: если большинство

фотографий, сделанных С. А. Толстой и В. Г. Чертковым, хранятся, как правило, в нескольких экземплярах, то снимки работы Дмитрия Адамовича — в одном, в лучшем случае — в двух экземплярах.

При создании своей, хотя и небольшой, коллекции Олсуфьев проявил мастерство фотографа-любителя: умение «построить» кадр, зафиксировать «движение», найти гармоничное сочетание портрета и пейзажа, добиться четкости и чистоты изображения.

Однако, несмотря на хорошее техническое выполнение фотографий, многие удачные сюжеты, несмотря на их документальный, информационный характер, к сожалению, не раскрыли глубину личности Толстого и не отразили ту духовную близость, которая возникла между Львом Николаевичем и его фотографом в период создания этих снимков.

В целом же коллекция снимков Олсуфьева по-своему интересна и даже разнообразна. В какой-то степени она иллюстрирует досуг писателя. На снимках мы видим Льва Николаевича верхом, во время длительной прогулки по окрестностям Ясной Поляны, с крестьянами-просителями под «деревом бедных», с посетителями и гостями, среди родных и знакомых. Эти фотосюжеты очень типичны для яснополянской жизни Толстого, поэтому часто встречаются и у других авторов, как любителей, так и профессионалов. У Дмитрия Адамовича снимки сделаны в ракурсах простых и естественных и не лишены красоты и изящества.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Цит. по ст.: Пузин Н. П. Фотографии Л. Н. Толстого в его яснополянском доме. — В кн.: Яснополянский сборник 1974. Тула: Приок. кн. изд-во, 1974, с. 163.

<sup>2</sup> Там же, с. 152—167.

<sup>3</sup> Имение Олсуфьевых Никольское-Обольяниново, или Горюшки находилось в Дмитровском уезде Московской губернии.

<sup>4</sup> Илюхин И. Редкие снимки Л. Н. Толстого. — Ленинское знамя, 1964, 17 сент.

<sup>5</sup> Маковицкий Д. П. Яснополянские записки: Запись 17 августа 1905 г. — В кн.: Лит. наследство, т. 90, 1979, с. 378.

<sup>6</sup> Там же, с. 372.

<sup>7</sup> Там же, с. 373.

<sup>8</sup> Там же, с. 374.

<sup>9</sup> Там же, с. 378.

<sup>10</sup> Там же, с. 374.

<sup>11</sup> Там же, с. 377.

<sup>12</sup> Там же, с. 527.

## ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

«Юбилейный фоторепортаж из Ясной Поляны» 1908 года... При этих словах непосвященному человеку, наверное, представляется каскад живых увлекательно интересных фотографий, какие обычно получаются при репортажной съемке, т. е. съемке без предварительной подготовки.

К сожалению, Толстого в год его 80-летия из профессиональных фотографов так снимал лишь один К. К. Булла, да и тот пользовался штативной камерой, ограничивающей творческие возможности фотографа. Фоторепортаж тогда только еще зарождался. Мы употребили в заглавии это слово скорее в значении «фотоповествование», «фоторассказ».

Несомненно, профессиональных фотографий писателя, в славе и известности не знавшего себе равных, было бы немало больше, если бы не его отказ от проведения юбилея.

Еще в марте 1908 г. в обращении к редакциям газет Толстой писал, что «готовящийся юбилей» для него «чрезвычайно тяжел» и просил всех «добрых людей», любящих его, «сделать все, что возможно, для того, чтобы уничтожить всякие попытки чествования» (78; 104, 106).

Воля Толстого преградила доступ в Ясную Поляну фотокорреспондентам. На их просьбы разрешить приехать к нему для съемки Лев Николаевич, как правило, отвечал отказом. И все же некоторым фотографам удалось побывать у писателя накануне и в самый день его юбилея. Тем дороже нам их сравнительно немногие фотографии, мало похожие на репортажные снимки нашего времени.

«Первой ласточкой» Ясной Поляны 1908 года был московский фотограф Семен Алексеевич Баранов. Его ателье, находившееся у Мясницких ворот, не принадлежало к числу перво-разрядных, и имя этого фотографа, должно быть, теперь мало кому известно. В Ясную Поляну Баранов приехал по инициативе И. П. Сысоева — учителя закона божьего одной из сибирских народных школ. 9 июля 1907 года Сысоев написал Толстому письмо о том, как он преподает этот, по его словам, «важный и серьезный» предмет, и просил разрешения приехать



в Ясную Поляну, чтобы продемонстрировать свои методы преподавания Льву Николаевичу. Изложенные в письме мысли Сысоева о христианстве были Толстому абсолютно чужды. Он попросил ответить учителю Д. П. Маковицкого (или Гусева)<sup>1</sup>, набросав конспект ответа: «Л. Н. думает, что о личности Христа нужно говорить как можно меньше, а сосредоточить внимание на его учении. Доказывать же... воскресение естественным путем невежественно». В конце конспекта — приписка: «Л. Н. очень занят», означающая фактический отказ Сысоеву в его просьбе<sup>2</sup>.

Однако он все-таки приехал в Ясную Поляну 11 мая 1908 года, т. е. в тот день, когда, просматривая по своему обыкновению газеты, Толстой прочитал в одной из них (газете «Русь») сообщение о казни 20 херсонских крестьян «за разбойное нападение на усадьбу землевладельца». Впечатление, произведенное на Толстого этим сообщением, явилось, как известно, толчком к написанию статьи «Не могу молчать». 11 мая Лев Николаевич продиктовал ее начало<sup>3</sup> в фонограф. Несколько раз... От волнения он не мог дальше говорить.

Можно представить, каким трудным в этот день для него оказался визит незваного Сысоева и разговор с ним о законе божьем, преподавание которого Толстой, отрицавший церковное учение, считал «величайшим преступлением». И, может быть, еще тягостнее для писателя была неожиданная фотосъемка (о фотографии в письме Сысоева не упоминалось).

Д. П. Маковицкий констатирует: «Сегодня был сибиряк-учитель, побывавший в Америке, с московским фотографом Барановым, просил у Л. Н. разрешения снять его для американцев, и сняли быстро, раз 20»<sup>4</sup>.

Сысоеву было лестно сфотографироваться рядом с великим юбиларом. Из семи известных нам фотографий Баранова на четырех Толстой снят в общении с Сысоевым, на двух — отдельно, и на одной — с крестьянином, как бы случайно попавшим в объектив (часть его фигуры срезана кадром).

Интересная деталь: на снимках, зафиксировавших беседу Толстого с Сысоевым, присутствует тот же крестьянин. Он стоит в стороне, на почтительном расстоянии, с шапкой в руках, дожидаясь, когда Лев Николаевич освободится.

Толстому были дороги посетители из народа, он находился в подавленном состоянии, и это усиливало его обычное желание поскорее отделаться от фотографа. Наверное, съемка не показалась ему такой быстрой, как свидетельствует Маковицкий. Это чувствуется на фотографиях писателя, где он стоит возле своего дома, заложив руки за пояс, в застывшей, напряженной позе. На очень немногих снимках Толстого мы видим его таким подчеркнуто и нетерпеливо позирующим. Возможно даже, что он выразил словами свое нетерпение фотографу. На обороте одной из фотографий литератор

П. А. Сергеевко, бывший тогда в Ясной Поляне, сделал надпись: «Фотограф просит постоять еще секунду».

На снимках Толстого с Сысоевым в фигуре Льва Николаевича тоже ощущается скованность и еще отчужденность, какая бывает при общении с неблизким, неинтересным, да еще попавшим «не в такт» человеком.

Но вот, наконец, разговор с учителем окончен. Толстой обращается к крестьянину. Что именно так было — мы предполагаем, но не видим, потому что съемка обрывается. Нам неизвестны фотографии Баранова, запечатлевшие разговор Льва Николаевича с ожидавшим его крестьянином. Может быть, Сысоев ограничился тем, что «увековечил» себя на снимках с Толстым, а может быть, писатель отказался позировать фотографу и беседовать с крестьянином «на показ» перед фотообъективом.

Потом, делая по заказу Сысоева в своей мастерской увеличения яснополянских фотографий, Баранов «уберет» фигуру крестьянина на снимке Толстого с ним, превратив фотографию в индивидуальный портрет писателя. То же фотограф проделает и с некоторыми из снимков Толстого с Сысоевым, оставив их вдвоем.

Небольшая серия фотографий Толстого, снятая московским фотографом С. А. Барановым 11 мая 1908 года, еще раз напомнила нам, сколь красноречивым может быть фотодокумент.

Казалось бы, фотограф зафиксировал лишь один заурядный эпизод из жизни Толстого — встречу с учителем Сысоевым и снял несколько отдельных фотографий писателя, которые не относятся к числу его лучших фотопортретов. Но оказавшиеся в кадре «случайные» детали действительности, точная дата съемки, текстовые документы нередко дают возможность выявить более емкое содержание фотографии. Связанные с предысторией статьи «Не могу молчать», снимки Баранова обрели для нас значительность. Они приоткрыли внутренний мир Толстого не только в сиюминутном психологическом состоянии, но и в характерных его проявлениях.

У литератора П. А. Сергеевко есть снимок, названный им «Атака». Льва Николаевича, сидящего на скамеечке под «деревом бедных», «атакуют» фотографы: С. М. Прокудин-Горский и П. Е. Кулаков (или его помощник П. П. Лобанов). Третий участник «атаки», сфотографировавший эту сцену, — сам П. А. Сергеевко. Фотография снята 22 мая 1908 года, когда три фотографа из Петербурга одновременно съехались в Ясной Поляне.

Чрезвычайно интересные сведения об известном русском фотографе-художнике Сергее Михайловиче Прокудине-Горском и его съемках в Ясной Поляне мы опускаем, так как они подробно изложены в специальных статьях С. П. Гараниной<sup>5</sup>. Отметим только, что снятая Прокудиным-Горским цветная

фотография Толстого — единственная цветная фотография писателя и первый русский цветной фотопортрет — была помещена в августовском номере журнала «Записки Русского Технического Общества», посвященном 80-летию Толстого, несколько позже — в журнале «Фотограф-любитель», а затем, в том же 1908 году, издана отдельно большим тиражом издательством «Солнце».

Крымский помещик Петр Ефимович Кулаков приехал в Ясную Поляну для стереоскопической съемки как представитель основанного им стереографического издательства «Свет».

В одном из писем к С. А. Толстой от 18 апреля 1908 года от имени этого издательства он выразил ей «глубокую благодарность за содействие... к получению разрешения Льва Николаевича сделать несколько стереоскопических снимков в Ясной Поляне»<sup>6</sup>.

Как видим, в качестве ходатая за фотографа в данном случае выступила Софья Андреевна, а может быть, еще и литератор и врач Сергей Яковлевич Елпатьевский, тесть Кулакова. Елпатьевский был знаком с Толстым, лечил писателя во время его болезни в Гаспре, и не исключено, что и он мог замолвить словечко за своего зятя.

Петербургские фотографы были в Ясной Поляне два дня: 22 и 23 мая. Какой была обстановка в доме Толстых и как чувствовал себя в эти дни Лев Николаевич?

С 22 по 28 мая Толстой дневника не ведет, а 29-го делает итоговую запись: «То, что записано о нездоровье, с 21 мая прерывается до сих пор. Никогда не чувствовал себя до такой степени слабым... Посетителей и писем так много, что нельзя успеть всего записать» (56; 130—131). Дальше следует длинный и, видимо, неполный перечень лиц, побывавших за это время в Ясной Поляне, в числе которых упомянуты Прокудин-Горский и Кулаков.

Несмотря на нездоровье, множество посетителей и корреспонденции, Толстой нашел возможности для общения с фотографами.

Маковицкий записывает: «Л. Н. много беседовал с ними... Смотрел фотографии Финляндии, любовался некоторыми. Их привез ему в подарок Кулаков... Прокудин-Горский и Кулаков рассказывали про новые изобретения, про передачу фотографий по телеграфу; про однорельсовую железную дорогу с вертящимся волчком на передней площадке вагонов, об автомобилях, электрических трамваях.

Л. Н.: «А всё-таки нет лучше, как пешком или верхом»<sup>7</sup>.

Так Толстой, говоря современным языком, отреагировал на научно-техническую информацию, сообщенную ему фотографами. Он не мог разделить их восторг по поводу железных дорог, автомобилей, трамваев и, тем более, передачи фотографий по телеграфу. Все эти блага цивилизации, доступные в

основном «сословию богатых людей», сидящих на шее трудового народа, не только, по мнению Толстого, отрывали человека от природы, но отвлекали человечество от самых главных проблем жизни — нравственных.

Писатель с его негативным отношением к буржуазным наукам, в особенности юридическим, оправдывающим капиталистический строй, с добродушной иронией выслушивает пояснение Кулакова к альбому стереоскопических фотографий «Финляндия». «Там,— пишет Маковицкий,— между прочим, лекция Манделыштама — «русского ученого» в Гельсингфорсе, как Кулаков выразился о нем.

Л. Н. спросил:

— Чего же он профессор?

— Государственного права.

Л. Н.:— Государственного права?— и, переглянувшись с сидящим тут же С. Д. Николаевым, засмеялся. (Так чудно ему, что есть такое право)<sup>8</sup>.

Маковицкий справедливо отметил, что фотографии из Петербурга показались ему «слишком занятыми своими специальностями»<sup>9</sup>.

Позднее Кулаков пошлет в Ясную Поляну отрывной и настольный календари, выпущенные издательством «Солнце», в котором он также сотрудничал, и напишет Софье Андреевне: «Очень был бы рад, если бы Вы и Лев Николаевич ознакомились с ними и высказали свое мнение... Отрывной весь с портретами Льва Николаевича и с Ясной Поляной»<sup>10</sup>.

«Слишком занятый своей специальностью» Кулаков не подозревал, что своей просьбой он может затруднить Толстого. Кстати, фотограф, конечно, не предполагал, что календарь «весь с портретами Льва Николаевича» не может доставить радости писателю, не любившему видеть свои портреты в печати.

Поражает оперативность фотографа. 24 мая, т. е. на другой день после отъезда из Ясной Поляны, он уже пишет Софье Андреевне: «Посылаю несколько наскоро отпечатанных стереоскопических снимков из числа пяти проявленных мною негативов. Всего мною сделано 70 снимков, и я надеюсь, что бóльшая часть их будет удачна»<sup>11</sup>.

В 1908 году издательство «Свет» выпустило комплект стереоскопических снимков «Лев Николаевич Толстой и Ясная Поляна», состоящий из 25 стереопар. В послесловии к изданию, не без рекламной броскости, сообщалось: «Есть хорошие портреты Льва Николаевича и обыкновенные снимки Ясной Поляны. Но не было такого издания, которое давало бы иллюзию действительности, которое переносило бы зрителя в Ясную Поляну... Наблюдая хорошую стереоскопическую картину, зритель совершенно отрывается от окружающих впечатлений и переносится в обстановку, изображаемую картиной»<sup>12</sup>.

Фотографии Толстого, снятые Кулаковым и Лобановым, не отличаются психологической глубиной. Похоже, что авторы больше стремились передать обстановку, в которой живет великий писатель, нежели его облик.

Из пяти индивидуальных портретов Толстого в подборке нет ни одного крупнопланового. На всех Лев Николаевич сфотографирован специально позирующим в «обрамлении» пейзажа или интерьера. И лишь на одном снимке, открывающем собой серию, особо акцентировано его лицо. Толстой тоже позирует, но взгляд его глаз глубоко отрешен. Вся его фигура с непокрытой головой, в темном пальто, четко вырисовывающаяся на фоне светлой стены террасы, кажется скорбной. «Снимок сделан,— читаем в комментарии к нему,— через несколько минут после того, как он (Толстой) писал свою статью о казнях «Не могу молчать». Может быть, чувства, владевшие им, когда он писал эту статью, нашли выражение в его глазах на этом снимке». А вот впечатление Маковицкого, дополняющее издательский комментарий: «Кулаков прислал фотографию для стереоскопа: Л. Н., сидящего с рукой на палке, опертой о землю. Старческая фигура. Сегодня мне бросилась эта перемена в глаза. Л. Н., должно быть, устал: всю неделю было очень шумно»<sup>13</sup>.

Из общего ряда выделяется также фотография Толстого за работой в кабинете. В сентябре 1963 года она была опубликована в ялтинской «Курортной газете», где автор снимка Лобанов писал: «Интересен сам эпизод съемки... Я делал разные снимки в яснополяском доме, переходил с громадным аппаратом из одной комнаты в другую и как-то ошибся дверью. Толкнул ее ногой, маленький крючок слетел, и я очутился перед Львом Николаевичем, работавшим за столом. В растерянности я опустил аппарат, а он, улыбнувшись, сказал: «Ну, вы и здесь хотите меня снять?» Я извинился, однако, не теряя времени, в одну-две минуты снял его за работой. До сих пор, глядя на этот снимок, я рад, что тогда так удачно ошибся дверью»<sup>14</sup>.

Следствие растерянности, боязни помешать Толстому длительной возней, из-за громоздкости аппарата, фотографу было нелегко выбрать нужную точку съемки. Скорее всего непреднамеренно излишне крупно на переднем плане фотографии оказалась спинка кресла, загородившая часть фигуры писателя, его руки и предметы, лежащие на письменном столе. Но снимок как раз и привлекателен этой не совсем обычной композицией, камерностью, незагруженностью деталями и тем, что Толстой, снятый с опущенными глазами, кажется поглощенным своей работой. На фотографии не видно позирования.

Этим качеством отличается еще один снимок издания — Толстой в группе с родными и гостями: американским профессором-социологом Джеромом Реймондом, его женой и

С. М. Прокудиным-Горским. Фотография передает атмосферу непринужденности общения. Компановка кадра свободная, почти как при репортажной съемке. Позы и мимика изображенных естественны. Жаль только, что мы не видим лиц «гостей»: Прокудин-Горский снят почти со спины и заслоняет головой лицо сидящего напротив американского профессора.

В целом портретные фотографии Кулакова и Лобанова, при всем их «грамотном» построении кадра, несут на себе печать «официальности», исключающей какое бы то ни было свободное истолкование образа.

В еще большей степени это относится к снимкам родных писателя — тех, кто находился в то время в Ясной Поляне: жены, сестры и младшей дочери. Они сфотографированы в статичных, стереотипных позах — то стоя, то сидя на фоне пейзажа или интерьера. Исключение составляет не лишенный поэтичности снимок Софьи Андреевны на мостике с видом на поля и деревню Ясная Поляна.

Кроме портретов, фотографы сняли общий вид яснополянской усадьбы, столовую в доме Толстых, флигель Кузминских, нижнюю часть парка с березовым мостиком, яблоневый сад, Большой пруд и шоссе между Ясной Поляной и станцией Щекино. Из фотографий, посвященных деревенской теме (общий вид деревни Ясная Поляна, сельская школа и уборка хлеба), наиболее интересна третья. Крестьянки, вяжущие снопы на переднем плане, сняты в движении; довольно естественно «схвачено» небо с кучевыми облаками; удачно взят и второй план: деревенский простор с виднеющимися вдали крышами крестьянских изб и едва заметным белым пятнышком дома Волконского, утонувшего в густой зелени парка. Снимок не только выгодно отличается от других своей живостью, но и ценен документально прежде всего как близкий и дорогой Толстому сюжет, далеко недостаточно «разработанный» его фотографами.

В начале июля 1908 года на Толстого «обрушился» К. К. Булла — опытный, энергичный, предприимчивый петербургский фотограф, один из первых фоторепортеров России.

Приехав в Петербург из Германии еще мальчиком, Карл Карлович Булла поступил посыльным в мелкую фирму «Дюнант», выпускавшую фотоматериалы, а через 20 лет открыл в Пассаже (а затем на Невском) свое ателье и со временем завоевал широкую популярность не только в России, но и за ее пределами.

Под стать Карлу Карловичу был его сын Виктор Карлович (будущий известный советский фоторепортер), которого он взял с собой в Ясную Поляну в качестве помощника.

Кто же способствовал приезду этих фотографов к Толстому? Могли многие. Булла снимал И. Е. Репина, А. М. Горького, В. В. Стасова, с которым был приятелем. Последний неодно-

кратно восторженно отзывался о снимках Буллы. В одном из писем к родным, имея в виду съемку в имении Репина «Пенаты», он писал: «Булла снял с нас 16 фотографий, одна другой лучше, просто чудо как хорошо,— всеобщий восторг был!»<sup>15</sup> В другом письме Стасов описывает характер работы фотографа: «Булла никогда не ожидал, чтобы мы встали в позу, а пока мы еще собирались, готовились, ждали и между собой разговаривали, конечно, со всякими жестами и движениями, а он возьмет да чихнет, не предвзявая нас, от этого выходило многое очень натурально!»<sup>16</sup>

«Ходатаем» Буллы мог быть и лично знакомый с Толстым А. С. Суворин: ведь Булла приехал в Ясную Поляну как фото-корреспондент суворинской газеты «Новое время».

7 июля Н. Н. Гусев записывает в дневнике: «Приезжали фотографии из «Нового времени», сделали очень много снимков. В том угнетенном состоянии, в котором он чувствует себя сегодня<sup>17</sup>, Льву Николаевичу было это, по-видимому, неприятно»<sup>18</sup>.

Опять фотографии приехали не вовремя...

«Они,— вспоминает А. Б. Гольденвейзер,— снимали целых два дня беспрестанно... Лев Николаевич чувствовал себя очень плохо. Он сказал мне на мой вопрос, не устал ли он: «Нет, не устал, а мне просто стыдно на старости лет такими глупостями заниматься»<sup>19</sup>...

После отъезда фотографов, 9 июля, Толстой сделал следующую запись в дневнике: «Пережил очень тяжелые чувства. Слава богу, что пережил. Бесчисленное количество народа, и всё это было бы радостно, если бы всё не отравлялось сознанием безумия, греха, гадости роскоши, прислуги и бедности и сверх-сильного труда кругом. Не переставая мучительно страдаю от этого, и один» (56, 140).

Потом К. К. Булла вспоминал, как гостеприимно встретил его с сыном Толстой. Он поинтересовался, где они остановились, как идет их работа и не мешает ли ей яркий солнечный свет. «Лев Николаевич показал мне свое жилище,— пишет Булла,— провел по всем комнатам первого и второго этажа и предоставил нам возможность сделать целый ряд снимков внутреннего убранства во всех комнатах. В своем кабинете он позировал для нас за своим письменным столом». И дальше: «Обед прошел очень оживленно. Лев Николаевич был в хорошем настроении духа, много шутил и смеялся»<sup>20</sup>.

Действительно, Толстой смеялся за обедом, но не потому, что был в «хорошем настроении духа». По словам Н. Н. Гусева, его рассмешила торжественная неподвижность, с которой все сидящие за столом «застыли над кушаньями», когда фотографии снимали «обед Толстого» с выдержкой в 10 секунд. «...торжественность эта,— пишет Гусев,— очевидно, показалась Льву Николаевичу до такой степени комичной, что он не выдержал

и громко фыркнул от смеха и тем испортил снимок. Стали снимать вторично — Лев Николаевич опять не выдержал и фыркнул еще раньше, чем в первый раз»<sup>21</sup>.

Тяжелое внутреннее состояние писателя, не замеченное фотографиями, невольно проступило на некоторых его снимках. О нем буквально «кричит» его фотография, снятая в парке на фоне темного экрана, — один из самых замечательных фото-портретов Толстого. Лев Николаевич стоит в расстегнутом пальто, слегка опершись на спинку садового стула, со смятой темной шапкой в руках. Летний ветерок чуть шевелит его легкие седые волосы. А в глазах, смотрящих в объектив, столько страдания, столько глубокого, но какого-то по-толстовски мягкого укора, словно смотрит на вас сама обнаженная человеческая совесть...

За два дня (7 и 8 июля) фотографии сняли большую, разнообразную по содержанию и блестящую по выполнению серию фотографий, в общей своей массе гораздо менее статичных и более выразительных композиционно, чем снимки Кулакова и Лобанова.

На снимках Буллы перед нами как бы проходит в живых мгновениях день писателя: за работой в кабинете, на прогулке, за игрой в шахматы, в общении с крестьянами и родными. Однако не все фотографии Толстого, членов его семьи и его внуков сняты Буллой репортажно, несмотря на то, что из всех перечисленных нами фотографов он был единственным настоящим мастером этого вида изображения. Возможно, для такой съемки у Буллы не всегда имелись подходящие условия.

Особую ценность представляют сделанные Буллой снимки Ясной Поляны: интерьеры дома Толстого, усадьба и ее окрестности, деревня Ясная Поляна. Ни один из профессиональных фотографов не запечатлел Ясную Поляну при жизни писателя так полно, подробно и интересно, как Булла. Время, увы, беспощадно, и в наши дни она выглядит иначе, чем тогда, в 1908 году. И о той Ясной Поляне, которую видел Толстой и которая «видела» Толстого, мы судим во многом по снимкам Буллы.

Его фотографии с присущей им высокой профессиональностью, проявившейся как в построении кадра, так и в технической обработке негативов и позитивов, — одна из самых замечательных фотографических коллекций московского музея Л. Н. Толстого<sup>22</sup>.

В 1908 году гостем Ясной Поляны стал еще один фотограф, на этот раз провинциальный, из Калуги, — Франц Трифонович Протасевич — единственный профессиональный фотограф (не считая кинематографиста А. И. Дранкова), снимавший Толстого в день его рождения, 28 августа.

Протасевич был в приятельских отношениях с сыном писателя Ильей Львовичем, имевшим в Калужской губернии имение Мансурово. По-видимому, этим объясняется факт пре-



бывания фотографа в Ясной Поляне в день 80-летия Толстого. Возможно, Илья Львович попросту привез с собой своего калужского приятеля, не спросив на то разрешения отца.

В отличие от Баранова, Кулакова и Буллы Протасевич снимал Толстого не только в 1908 году. Он — автор серии юбилейных фотографий писателя разных лет. Впервые он снял Льва Николаевича в день его 75-летия в 1903 году, а позднее — 28 августа 1909 года. В дни похорон Толстого Протасевич фотографировал траурную процессию по дороге со станции Засака в Ясную Поляну.

К сожалению, наши поиски каких бы то ни было сведений об этом фотографе в эпистолярно-мемориальных источниках, связанных с Толстым, успехом не увенчались. Ничего не дал и запрос в Калужский краеведческий музей. О Протасевиче известен лишь один анекдотический эпизод, который приводит в своих воспоминаниях А. Б. Гольденвейзер: «Илья Львович привез однажды ко Льву Николаевичу своего приятеля, фотографа Протасевича. Считая, очевидно, что с Толстым нужно вести беседу на высокие темы, он задал Льву Николаевичу такой вопрос: — Скажите, Лев Николаевич, есть бог или нет? Лев Николаевич помолчал и спросил его:

— Вы видали когда-нибудь микроскоп?

— Видал.

— Что же вы в нем видели?

— Видел в капле воды инфузории.

— Что, если бы одну из этих козявок спросили, — сказал Лев Николаевич, — есть ли в Калуге фотограф Протасевич? Что бы она на это ответила?

После этого Протасевич больше вопросов Льву Николаевичу не задавал и приступил к фотографированию»<sup>23</sup>.

А фотографом Протасевич оказался неплохим.

28 августа 1908 года, кроме него, Льва Николаевича фотографировали еще С. А. Толстая, В. Г. Чертков и неизвестный любитель. Лучшим, пожалуй, получился один из двух снимков Софьи Андреевны, на котором мы видим Толстого в момент разбора почты (в руках у писателя почтовый конверт). Взгляд устремленных «на зрителя» глаз задумчив. Кажется, что Лев Николаевич находился под впечатлением только что прочитанного письма, возможно, давшего ход его собственным мыслям. Софье Андреевне удалось запечатлеть характерное для Толстого сосредоточенно-углубленное выражение лица.

Серия чертковских фотографий по неизвестной причине вышла малоудачной. Неудачен и снимок неизвестного любителя. По сравнению с ними фотографии Протасевича выразительнее, техничнее и, несомненно, интереснее как документ.

Это два одновременных фигурных (в рост) портрета (фас и 3/4 влево), на которых Толстой изображен сидящим в кресле-коляске<sup>24</sup>. Сняты фотографии на широкоформатные пласти-

ны<sup>25</sup> и содержат много информации. Их хочется рассматривать: кресло, подушки, блузу Толстого, его руки, лицо... Толстой смотрит спокойно и чуть-чуть устало. По свидетельству Маковицкого, в день своего рождения он находился в благодушном настроении и был растроган поздравлениями, особенно близких ему людей. Маковицкий приводит слова В. Г. Черткова, обращенные к нему: «Сейчас он (Лев Николаевич.— О. Е.) говорил: так хорошо ему, что думает — что-нибудь случится»<sup>26</sup>.

На профессиональных фотографиях, снятых в Ясной Поляне в мае — августе 1908 года, Толстой предстает перед нами то недовольно и нетерпеливо позирующим (у Баранова), то скорбным и самоуглубленным (у Кулакова и Буллы), то благодушным (у Протасевича). Эти разные «лики» писателя запечатлелись на снимках, скорее, независимо от воли фотографов. Лишенные возможности предварительного изучения модели и в большинстве случаев «незаметной» съемки, они не могли сознательно уловить драгоценные моменты и проникнуть в тайники души писателя, не только документировать, но и обобщать. В целом вся серия рассмотренных снимков Толстого, несмотря на отдельные удаchi, далека от проникновения в глубину и сложность его облика. Но она имеет огромную историческую, научную и документальную ценность, особенно если принять во внимание, что любительских фотографий Толстого, снятых в канун и день его 80-летия, очень мало. Наиболее значительны из них снимки С. А. Толстой и В. Г. Черткова, но их единицы. Чертков, сделавший много великолепных крупноплановых фотопортретов Льва Николаевича в 1907 году, в следующем году отдал предпочтение жанровому сюжету — Толстой на прогулке<sup>27</sup> — с преобладанием общего плана.

Что же касается обстановки, которая окружала Толстого накануне его 80-летия, то она запечатлена почти исключительно профессиональными фотографами — разносторонне, со свойственной им протокольной скрупулезностью и четкостью изображения. Все эти фотографии, в отличие от большинства любительских, прекрасно сохранились до наших дней.

Заключая, можно сказать, что профессиональные фотографии являются самым обстоятельным изобразительным документом 80-летнего юбилея Толстого. Кулаков, а в еще большей степени Булла в сериях своих яснополянских фотографий старались показать «день» писателя в его разнообразии. Снимки Баранова и кулаковская фотография Толстого на террасе, упоминавшаяся выше, по-своему отразили один из значительных фактов не только предъюбилейного периода, но и всей биографии писателя — его взволнованный протест против массовых смертных казней, большим количеством которых в России особенно отличался 1908-й год. Даже если отрешиться

от художественной оценки этих снимков, они бесконечно интересны как чистая документация жизни писателя.

Не любивший фотографироваться Толстой нередко испытывал недобрые чувства даже к близким ему людям, когда они выступали в роли его фотографов. Надо ли говорить, насколько более сильными были эти чувства в отношении фотографов профессиональных? Помимо принудительного и утомительного позирования, здесь дело было связано для него с распространением его портретов в печати, что в старости Льву Николаевичу, по его признанию, было неприятно в высшей степени.

Снимая Толстого, его близких, Ясную Поляну, фотокорреспонденты и представители фотографических фирм преследовали часто лишь коммерческие цели. Удача улыбалась наиболее энергичным и напористым из них (такова уж эта профессия!). Фотографы сильно докучали Толстому и были особенно тяжелы в юбилейный 1908-й год. Но, к сожалению, только так, такой ценой они смогли оставить истории поистине бесценные фотодокументы.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Кем точно написан ответ — неизвестно.

<sup>2</sup> Отдел рукописных фондов Государственного музея Л. Н. Толстого (ГМТ).

<sup>3</sup> Окончательный вариант текста начала статьи «Не могу молчать», над которой Толстой начал работать с 13 мая 1908 г., значительно отличается от фотонадписи.

<sup>4</sup> Лит. наследство. У Толстого. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. М., 1979, т. 90, кн. 3, с. 84 (запись 11 мая 1908 г.). Далее ссылки на это издание.

<sup>5</sup> См.: Гаранина С. Л. Н. Толстой на цветном фото.— Наука и жизнь, 1970, № 8, с. 97—99; Гаранина Светлана. Неизвестные диапозитивы.— Сов. фото, 1983, № 2, с. 40—41.

<sup>6</sup> Отдел рукописных фондов ГМТ.

<sup>7</sup> Маковицкий Д. П. Указ. соч., с. 96, 97.

<sup>8</sup> Там же, с. 97.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Кулаков П. Е. Письмо к С. А. Толстой от 30 ноября 1908 г. (Отдел рукописных фондов ГМТ).

<sup>11</sup> Отдел рукописных фондов ГМТ.

<sup>12</sup> Лев Николаевич Толстой и Ясная Поляна: Пояснительный текст стереографического издательства «Свет». М., 1908, с. 42.

<sup>13</sup> Маковицкий Д. П. Указ. соч., с. 97.

<sup>14</sup> Лобанов П. П. Толстой в Крыму.— Курортная газета (Ялта), 1963, 8 сент.

<sup>15</sup> Стасов В. В. Письмо к Н. Ф. Пивоваровой от 23 августа 1904 г.— В кн.: Стасов В. В. Письма к родным, т. 3, ч. 2. М., 1962, с. 232.

<sup>16</sup> Стасов В. В. Письмо к Д. В. Стасову от 24 августа 1904 г.— Там же, с. 236.

<sup>17</sup> 7 июля Толстой сделал запись в «Тайном» дневнике: «Очень было мучительно вчера. Считал деньги и соображал, как уйти» (56, 172).

<sup>18</sup> Гусев Н. Н. Два года с Толстым. М., 1973, с. 181.

<sup>19</sup> Гольденвейзер А. В. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 233—234 (Далее ссылки на это издание).

<sup>20</sup> Булла К. К. Два дня в Ясной Поляне.— Петербургская газета, 1908, 28 авг.

<sup>21</sup> Гусев Н. Н. Указ. соч., с. 181 (запись 7 июля 1908 г.).

<sup>22</sup> Яснополянские снимки К. К. Буллы впервые были частично опубликованы в 1908 г. в юбилейных толстовских номерах журналов «Нива» и «Огонек». Неоднократно воспроизводились они и в советских изданиях.

<sup>23</sup> Гольденвейзер А. Б. Указ. соч., с. 78.

<sup>24</sup> У Л. Н. Толстого было воспаление вен на ноге. Поэтому на всех снимках в день своего рождения он сфотографирован в катающемся больничном кресле, с вытянутой на подушке больной ногой.

<sup>25</sup> Отпечатки сделаны контактом. В отделе изофондов ГМТ имеется большой стеклянный негатив фотографа, равный по размеру позитиву-оригиналу.

<sup>26</sup> Маковицкий Д. П. Указ. соч., с. 180.

<sup>27</sup> Как известно, с 1908 г. близкие стали незаметно сопровождать Толстого во время его уединенных прогулок. Сопровождая писателя, Чертков начал фотографировать его и увлекся этим новым для себя занятием.

*М. Г. Логинова*

## ФРОНТОВЫЕ ФОТОГРАФИИ ПАВЛА ТРОШКИНА

С 1943 года хранятся в фондах Государственного музея Л. Н. Толстого фотографии Ясной Поляны, снятые П. А. Трошкиным сразу же после ее оккупации. А в 1978 году, в дни празднования 150-летия со дня рождения великого русского писателя, дочь Трошкина, Карина Павловна Савельева, передала в музей негативы фотографий. Но прежде чем говорить о снимках, несколько слов об их авторе.

Павел Артемьевич Трошкин родился в 1909 году в Симферополе. А в 1924 году, пятнадцатилетним подростком, он уже начал свой трудовой путь: пришел в московскую типографию «Известий» работать, как и его отец, наборщиком. С тех пор вся жизнь Павла Артемьевича была неразрывно связана с газетой. В редакции он нашел свое призвание, обучился фотоделу, стал фотокорреспондентом. По отзывам коллег, он был всегда нетерпеливым, неугомонным, отличавшимся редкой даже для газетчика оперативностью<sup>1</sup>.

Когда грянула война, Трошкин встретил ее в боевом строю военным корреспондентом газеты «Известия». С первого до последнего дня сражений с врагом — он на переднем крае. Через три войны прошел коммунист Трошкин. О войне, о том, что видел и пережил, он рассказывал правдивым и ярким языком фотографий.

В семье Трошкина бережно сохраняется его архив: письма, дневники, отснятые пленки. О нем писали в своих книгах военные журналисты — Виктор Полторацкий, Леонид Кудреватых, Евгений Кригер, Константин Симонов, который о фронтовых встречах с Трошкиным вспоминает в сборнике «В редакцию не вернулся». Этих двух людей связывали не только тяготы военного времени, но и дружба, рожденная в бою, которая навечно остается в сердце. Наверно, именно поэтому воспоминания Симонова о фотокорреспонденте «Известий» глубокие и волнующие.

«Павла Трошкина я впервые увидел летом 1939 г. в монгольской степи на Халхин-Голе, — пишет К. Симонов. — Он, Трошкин — худощавый, щеголеватый, красивый, в сбитой набок

авиационной пилотке, ...с полевой сумкой на боку и с «лейкой» на груди, с револьвером на другом боку... Таким — небрежным, щеголеватым, готовым к немедленному действию, как взведенный курок, запомнил я его в первые минуты нашего знакомства...»<sup>2</sup>.

Симонов отметил в книге, что в его памяти Трошкин остался «человеком сильным, упрямым и до такой степени необузданным в своей работе, что с ним было опасно ездить. Когда ему надо было снять, он не отступал от своего намерения ни при каких обстоятельствах... Остался в моей памяти облик, пожалуй, самого бесстрашного из всех наших фотокорреспондентов, т. е. тех людей, которым вообще, как правило, не занимать мужества»<sup>3</sup>.

Вот один из примеров. Летом 1941 года Павел Трошкин сфотографировал крупным планом первые подбитые в боях под Могилевом фашистские танки, находившиеся на нейтральной полосе. Подбирался он к ним под пулеметным огнем противника, серьезно рискуя жизнью. Но тогда он вряд ли думал об этом. Главное — как можно скорее рассказать об успехах Красной Армии против «непобедимой» германской военщины. Этот снимок, обошедший потом всю мировую печать, появился в «Известиях» вместе с очерком К. Симонова, который впоследствии рассказывал: «Когда я в книге «Живые и мертвые» писал главы, связанные с боями за Могилев, я часто вспоминал при этом Павла Трошкина, потому что именно с ним мы были там, под Могилевом, и с ним потом выбирались оттуда и именно его, первая в советской печати большая панорама разбитых немецких танков, вместе с моим коротким очерком была помещена тогда же, в конце июля 1941 г., в «Известиях»<sup>4</sup>.

Все, что запечатлела «лейка» бесстрашного корреспондента в годы войны, — бесценные документы истории. Но, оставаясь репортером, Трошкин чувствовал себя воином. Он всегда — на самых горячих участках боев, в самой гуще сражений. В грохочущем Сталинграде, в дыму пожаров, среди рвущихся снарядов и бомб, он снимал уличные бои за город. И какой бы сложной ни была обстановка, Павел Артемьевич Трошкин, прожив в машине пленку, мчался на корпункт, чтобы скорее отправить негатив в Москву, в очередной номер «Известий». Часто он, горя желанием все увидеть своими глазами, попадал в такие рискованные ситуации, что сам потом изумлялся тому, что остался жив. Неудивительно поэтому, что товарищи по несколько раз в день «хоронили» его, а он, несмотря ни на что, возвращался в пробитой осколками шинели, черный от грязи и порохового дыма, но обязательно с «горячими» снимками. В списке воинов, награжденных медалью «За оборону Сталинграда», есть и фамилия корреспондента Павла Трошкина.

Битва под Москвой, Курская дуга, форсирование Днепра,

освобождение Крыма и Западной Украины — таковы этапы фронтового пути неутомимого и вездесущего репортера. Отснятые им фотокадры — неумирающая горькая и славная память о битве за Родину.

Не сохранилась только последняя пленка: в 1944 году П. А. Трошкин погиб в бою с бандеровцами, устроившими засаду на одной из дорог, ведущей ко Львову. Посмертно майор Павел Артемьевич Трошкин награжден орденом Отечественной войны I степени. Похоронили его с воинскими почестями на Холме Славы в г. Львове.

\* \* \*

48 фотографий, составляющих 14 сюжетов, и 82 негатива этих фотографий, сделанные Павлом Трошкиным в освобожденной Ясной Поляне, хранятся в фондах Государственного музея Л. Н. Толстого. Полтора месяца, с 29 октября по 14 декабря 1941 года, знаменитая усадьба и деревня были оккупированы фашистами<sup>5</sup>.

Старший политрук П. Трояновский, один из тех, кто первыми вошли в Ясную Поляну, писал 16 декабря 1941 года о том, что увидели там наши войска после ухода гитлеровцев: «Ясная Поляна горела. Огнем была объята знаменитая школа, пылала больница. Черный дым валил из окон двухэтажного дома Толстого... Не узнать этого величественного исторического места!.. Пахнет пожаром. На снегу пепел. Кругом все замусорено, загажено, истоптано, изломано. Когдаходишь в дом Толстого, не веришь своим глазам... Стены заплеваны, запачканы, полы сломаны, толстовская мебель искалечена, окна разбиты...»<sup>6</sup>.

Таковыми предстали дорогие всем советским людям места в декабре 1941 года перед бойцами 217-й стрелковой дивизии 50-й армии, освободившими усадьбу от гитлеровских оккупантов. Вместе с этими частями вошел в Ясную Поляну и военкор газеты «Известия» Павел Трошкин. «Он был необыкновенно заинтересован в людях, любопытен, восприимчив, и мне казалось, — писал К. Симонов, — что он еще когда-нибудь сам напишет обо всем, что видел»<sup>7</sup>.

Не написал... Погиб в сорок четвертом, в тридцать пять лет. Никаких сведений о дне и обстоятельствах съемки в освобожденной Ясной Поляне, о тогдашних впечатлениях фотографа мы не имеем. Только его снимки. Только снимки, которые говорят своим языком — правды, документальности, вызывая потрясение!

И опять слова Симонова о своем боевом товарище, который, по мнению писателя, был человеком недюжинным: «Мне казалось и продолжает казаться, что, останься он жив, он бы не только мог создать из собственных достовернейших снимков

целую летопись войны, но к этой летописи не понадобилось бы автора текста»<sup>8</sup>. Это в большей степени относится и к кадрам, отснятым Трошкиным в только что освобожденной Ясной Поляне. Очевидно, фотографировал он 15 или 16 декабря.

«15 декабря в 9 часов утра в деревне, по свидетельству хранителя музея-усадьбы С. И. Щёголева, появились первые красноармейцы»<sup>9</sup>. А уже 18 декабря 1941 года вышел из печати номер газеты «Известия» (переснимок из нее передала в музей дочь Трошкина) с публикацией трех обвинительных снимков разрушений усадьбы, сделанных Павлом Трошкиным.

Если сравнивать яснополянские фотографии Трошкина со множеством других, сделанных им в разные военные годы, прежде всего обращаешь внимание на их статичность. Последние же, напротив, полны динамики и необычных ракурсов. Чувствуешь, что каждый кадр действительно приходилось «брать в бою»: солдаты, поднимающиеся в атаку, «горячие» сталинградские снимки, панорамные картины сражений, заснятые с самолетов. И хотя потом Трошкин будет фотографировать пожарища, развалины освобожденных русских, украинских городов, фото пленка, снятая им в Ясной Поляне, — единственная в его архиве, которая составляет целую серию обвинительных документальных кадров. Они — неопровержимое свидетельство жестокости, варварства, презрения к общечеловеческой и особенно русской культуре, свойственных фашизму.

Эти фотографии не нуждаются в пояснительном тексте. И только потому, что не все читатели знакомы с ними, мы позволим себе прокомментировать их.

Вот о чем рассказывают страницы яснополянской фотолетописи Павла Трошкина.

Вещи из дома Л. Н. Толстого, сваленные в беспорядке, в кучу, в одну комнату. (В остальных комнатах дома писателя фашисты разместили госпиталь.)

Разбитая музейная мебель, выброшенная на улицу... ею немецкие солдаты топили печи, хотя рядом с домом был запас сухих дров. На протесты сотрудников музея один немецкий офицер сказал: «Дрова нам не нужны, мы сожжем все, что связано с именем вашего Толстого»<sup>10</sup>.

Разбросанная солома, железные кровати, бутылки из-под вина, изгаженный пол, порнографические рисунки на стенах — в такой грязный хлев была обращена «комната под сводами», в которой создавалась «Война и мир»....

Сгоревшие библиотека, спальня Льва Николаевича и спальня Софьи Андреевны — прогоревший пол, обрушившиеся потолок и стены (фашисты при отступлении пытались сжечь дом писателя. В комнатах второго этажа разожгли три костра, но убежали, боясь окружения, не дождавшись конца своей «работы»).



Оскверненная могила Л. Н. Толстого — вокруг нее 75 крестов с фашистской свастикой и с надписями на немецком языке.

Сожженная яснополянская школа им. Толстого; уничтоженная школьная библиотека, насчитывавшая 18 000 томов; дотла сожженная амбулатория; превращенная в конюшню больница... — страшные в своей дикости, жажде истребления и разрушения следы фашистских «носителей» культуры.

Но камера репортера не только обвиняет. Она запечатлела тех, чья забота и личное мужество спасли дом Льва Толстого от пожара, от полного уничтожения. На снимках П. А. Трошкина — хранитель музея-усадьбы «Ясная Поляна» С. И. Щёголев, научный сотрудник М. И. Щёголева, вахтер М. П. Маркина, школьница Клава Литвинова, сторожа музея И. В. Егоров, Д. С. Фоконов и В. С. Филатов.

То, что сделали оккупанты в Ясной Поляне, — это иллюстрация к одобренному Гитлером приказу генерала-фельдмаршала фон Рейхенау от 10 октября 1941 года «О поведении войск на Востоке»: «Войска заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые должны быть использованы для стоянок военных частей. Все остальное, являющееся символом бывшего господства большевиков, в том числе и здания, должно быть уничтожено. Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения»<sup>11</sup>.

Павел Трошкин сделал целую серию кадров, где яснополянская крестьянка в окружении односельчан рассказывает первым красноармейцам-разведчикам, вошедшим в деревню, о том, что вытворяли здесь оккупанты. Люди сняты на фоне виселицы, той самой, на которой 14 ноября были повешены первые попавшиеся фашистам под руку мужчины — 28-летний яснополянский колхозник и рабочий Косогорского завода, только потому, что неизвестно кто и где пытался испортить немецкую машину.

Несколько раз фотокамера выхватывает крупным планом лицо рассказывающей женщины, на котором запечатлены страдания и жалость, гневное осуждение и радость, что, наконец, пришли свои... Эти фотографии отличаются от всей яснополянской хроники Павла Трошкина своей экспрессивностью, внутренней динамикой. Будто не фотоаппарат, а кинокамера запечатлела все многообразие эмоций, выраженных на лице свидетельницы злодеяний гитлеровских захватчиков.

Таковы сюжеты фотографий, сделанных военным фотокорреспондентом газеты «Известия» Павлом Трошкиным в освобожденной Ясной Поляне. Их значение трудно переоценить. Они обошли все советские газеты военных лет. И закончить сообщение мне хочется выдержкой из газеты «Правда» от 13 января 1942 года, где речь идет именно о яснополянских фотографиях Трошкина, хотя его фамилия и не называется:

«Советские фотодокументы, запечатлевшие погромные

дела гитлеровцев в Ясной Поляне,— это убийственные для гитлеровцев, неопровержимые доказательства. Мировое общественное мнение, располагая этими документами, может лишний раз убедиться в том, до какой степени падения дошла гитлеровская Германия в ее походе против культурных завоеваний человечества»<sup>12</sup>.

В фондах музея будут вечно храниться фотоснимки, сделанные фронтовым корреспондентом Павлом Трошкиным. Эта правдивая фотоповесть Великой Отечественной продолжает волновать нас и теперь — более чем через сорок лет после Победы.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Биографические сведения о П. А. Трошкине сообщила его дочь — Карина Павловна Савельева.

<sup>2</sup> Симонов К. М. С «лейкой» и блокнотом.— В сб.: В редакцию не вернулся, кн. I. М.: Госполитиздат, 1972, с. 71.

<sup>3</sup> Там же, с. 76.

<sup>4</sup> Там же, с. 77.

<sup>5</sup> Сб. Ясная Поляна: Статьи и документы. М.: Госполитиздат, 1942, с. 123, 176.

<sup>6</sup> Там же, с. 170.

<sup>7</sup> Симонов К. М. Указ. соч., с. 76.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Сб. Ясная Поляна, с. 159.

<sup>10</sup> Там же, с. 4.

<sup>11</sup> Там же, с. 124.

<sup>12</sup> Правда, 1942, 13 янв.

*Е. Г. Корнаухова*

## ЦЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Среди приобретений последних лет в фонды музея-усадьбы «Ясная Поляна» поступило немало ценных фотографий. Особенно хочется отметить интересную коллекцию негативов «Из истории Ясной Поляны» В. Я. Бромберга, ныне покойного фотокорреспондента щекинской районной газеты «Знамя коммунизма». Она передана музеем его сыном И. В. Бромбергом.

Коллекция насчитывает более тысячи кадров, отразивших жизнь музея за последние двадцать лет. Перед нами яркий, живой калейдоскоп событий прошлых лет: празднование юбилеев, связанных со знаменательными датами жизни и деятельности Л. Н. Толстого, интересные выставки, экспозиции, встречи с почетными советскими и зарубежными гостями...

Целая серия негативов переносит нас в лето 1969 года. Участники декады литературы и искусства Украины в Ясной Поляне. На пленке — знаменитый народный хор СССР им. Григория Веревки в ярких национальных костюмах.

На ряде фотографий запечатлены традиционные встречи ветеранов боев за Ясную Поляну в годы Великой Отечественной войны. Среди них — генерал-майор И. И. Ющук, генерал-майор И. Н. Веремей, Г. П. Довбенко, Д. А. Панчук и другие офицеры бывшей 32-й танковой бригады. Запечатлены и ветераны 16-й Литовской дивизии, стоявшей осенью 1942 года в окрестностях Ясной Поляны и много сделавшей по разминированию и восстановлению усадьбы; ветераны войны, летчики французской эскадрильи Нормандия—Неман во главе с генералом П. Пуяд, посетившие Ясную Поляну в 1973 году, и многие другие.

Среди негативов — материалы, запечатлевшие пребывание в Ясной Поляне Героев Советского Союза — космонавтов Г. Т. Берегового и Е. В. Хрунова, а также прославленного летчика, трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.

На многих фотографиях — советские и зарубежные деятели литературы и искусства: А. Корнейчук, Г. Марков, К. Симонов, С. Михалков, М. Лисянский, болгарский поэт М. Исаев, В. Соколухин, кавказские писатели, директор-режиссер цыганского

театра «Ромэн» Н. А. Сличенко с актерами; киноактеры В. Тихонов и Л. Савельева во время съемок фильма «Война и мир»; труппа Государственного театра им. Евг. Вахтангова; нар. арт. СССР С. А. Герасимов в период подготовки к съемкам фильма «Лев Толстой»; гости из Чехословакии, Индии, Кубы и многие другие.

Немалый интерес представляют негативы, запечатлевшие пребывание в Ясной Поляне родственников Л. Н. Толстого — его потомков из Москвы, Франции, Италии, Швеции. Здесь кандидат филологических наук, старший преподаватель МГУ И. В. Толстой — правнук писателя, доктор медицины, президент общества друзей Л. Н. Толстого во Франции С. М. Толстой — внук писателя; Т. М. Альбертини — внучка писателя (Италия, Рим), которая трижды приезжала в Ясную Поляну со своими детьми; внуки и правнуки Л. Н. Толстого по линии его сына Л. Л. Толстого (Швеция).

Целая серия негативов отражает работу коллектива музея по созданию выставок, экспозиций как в литературном музее, так и в доме Волконского; проведение праздников в музее, посвященных знаменательным датам; открытие памятника Толстому в Туле к 145-летию со дня его рождения; День школьника в Ясной Поляне в связи с 70-летием со дня пребывания у Толстого 800 детей рабочих-мастеровых из Тулы; виды усадьбы, деревни Ясная Поляна, ее жителей.

Особое место в коллекции В. Я. Бромберга занимают негативы, отражающие большое событие в связи со 150-летием со дня рождения Толстого — награждение коллектива музея орденом Ленина за успешную работу по научной пропаганде наследия великого писателя и бережному сохранению Ясной Поляны.

Поступившая в фонды музея коллекция негативов — богатый материал для наших выставок и экспозиций, и вместе с тем всегда будет напоминать нам и будущим поколениям о большом вкладе в наш общий труд скромного и влюбленного в свое дело ветерана Великой Отечественной войны фотокорреспондента Вадима Яковлевича Бромберга.

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. Л. ТОЛСТОГО ОБ ОТЦЕ

*(Публикация Н. П. Пузина)*

Предлагаемые читателям воспоминания принадлежат старшему сыну Л. Н. Толстого — Сергею Львовичу Толстому (1863—1947). Он занимался литературной и музыкально-композиторской деятельностью. Сергей Львович — автор содержательных статей и книг о Толстом и его окружении. В последние годы жизни он создал мемуары «Очерки былого», которые начал писать вскоре после смерти своего отца. Эта книга хранит в себе много правдивых сведений о жизни Толстого и его близких в Ясной Поляне и Москве.

Обширный архив С. Л. Толстого, в том числе рукописи «Очерков былого», находится в отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве.

Публикуемые воспоминания — «Из разговоров моего отца» и «Отзывы Толстого о различных писателях» — представляют собой отдельные суждения Льва Николаевича, записанные его сыном в разные годы и не вошедшие в книгу «Очерки былого». Предлагаемые страницы дают в этом отношении нечто новое для всех, кто изучает жизнь и творчество гениального мыслителя и писателя.

### ИЗ РАЗГОВОРОВ МОЕГО ОТЦА

В главе «Мой отец в семидесятих годах» я изложил слышанные мною в те времена суждения и рассказы отца. На следующих страницах я изложу то, что я помню о сказанном им в последующие годы. Это, во-первых, его суждения, во-вторых, его рассказы, в-третьих, юмор в его разговорах. При этом я стараюсь избегать опубликованного как им самим, так и разными лицами, писавшими о нем свои воспоминания<sup>1</sup>.

---

Как иллюстрацию тщеты человеческой жизни отец рассказывал следующую известную восточную басню:

«В пустыне лев погнался за путником. Путник, убегая от него, бросился в колодезь, но на дне колодца увидел дракона с разинутой пастью. В колодце рос куст. Путник уцепился за ветки этого куста и повис на нем. Вверху был лев, внизу — дракон. В то же время две мыши, белая и черная, подгрызали корни куста, на котором он держался. На кусте росли ягоды, и вот человек, несмотря на неминуемую гибель, стал есть эти ягоды. Такова же наша жизнь: все мы, несмотря на неминуемую смерть, занимаемся ягодами, а белая и черная мыши (день и ночь) подгрызают тот куст, на котором держится наша жизнь».

---

Отец передал следующий рассказ о Будде: «Будда однажды увидел у собаки рану, в этой ране копошились черви. Он вычистил рану и выбросил из нее червей, но, увидев, что червям нечего есть, он вырезал кусок мяса из своей ляжки и бросил червям».

Отец не говорил, что надо поступать так, как Будда в этой сказке, но он любовался ею как крайним выражением буддийского учения о жалости по отношению ко всякому живому существу.

---

Однажды он сказал: «Миром управляют покойники». И его голос задрожал. Он, по-видимому, подумал о том, какое влияние на людей после его смерти будет оказывать его учение.

---

Он умилялся на слова старого мужика: «Надо летом помирать. Летом легче могилу копать».

Про смерть он говорил: «Умереть это значит присоединиться к большинству».

---

Отец прочел сказку Анатоля Франса о фее<sup>2</sup>, подарившей молодому человеку клубок его жизни, который он мог разматывать по своему желанию. Молодой человек так быстро разматывал клубок своей жизни, что его жизнь кончилась через два месяца.

Отец сказал: «Обыкновенно говорят, что главные пороки людей — это женщины, вино и азартные игры. Прелесть первых двух страстей понятна. Но в чем прелесть азартной игры — непонятно. Сказка Анатоля Франса мне это уяснила. Прелесть игры состоит в разматывании клубка жизни».

---

В 90-х годах я записал в Чернском уезде слышанную мною от одного старого отставного солдата известную народную пьесу «Про царя Максимилиана и его непокорного сына Адольфа». Я показал свою запись отцу и спросил его мнение об этом народном произведении. Он сказал:

— Это плохая народная литература. Это не то, что былины. Народное творчество не всегда хорошо. Я очень люблю народные деревенские песни в исполнении самого народа.

---

Как отец обо всем судил по себе.

Он меня спрашивал: «Зачем ты носишь очки? Я тоже близорук, обхожусь без очков». Однако он был чуть-чуть близорук, а я очень близорук.

Когда он состарился, он говорил, что планета (Земля) состарилась.

Он говорил: «Когда я был молод, мне казалось, что на улицах я встречаю больше стариков, чем молодых. Теперь, когда я состарился, мне кажется, что на улицах я встречаю больше молодых, чем старых».

---

Отец, прочтя книгу Эльцбахера об анархизме<sup>3</sup>, говорил, что Эльцбахер довольно верно изложил его (Л. Н-ча) взгляды. Он признавал себя анархистом, но он отличался от действующих анархистов тем, что отрицал насилие. Его как-то спросили: «Какой образ правления вы считаете наилучшим?» Он ответил: «Никакой». Кто-то ему сказал: «Однако кто-нибудь должен же заведывать общественными делами, как вы представляете себе устройство человеческого общества?»

Он ответил: «Естественное устройство. Люди собираются в каждом селении и обсуждают общие дела; сносятся с соседними общинами, но управляются без применения насилия.

— Это — федерация.

— Называйте как хотите».

---

Когда отец занимался «Хаджи-Муратом», он писал о Николае I. Он говорил: «Цари утрачивают свою волю. Царь находится в фокусе многочисленных влияний и поневоле подчиняется этим влияниям».

---

Отец говорил, что у крестьян лучшая похвала человеку это — кормилец, худшее порицание — дармоед.

---

Известно, что Л. Н. был горячим сторонником земельной реформы по системе Генри Джорджа<sup>4</sup>. Он думал, что в России она лучше всего могла бы быть осуществлена самодержавной властью подобно тому, как было отменено крепостное право. Он плохо верил тому, что эту реформу может провести представительное правительство. Однако он уговаривал члена Государственной думы В. А. Маклакова<sup>5</sup> поднять вопрос об этой реформе в Государственной думе.

— Я был и остаюсь сторонником налога на земельную ренту (по системе Генри Джорджа), но налога не только на земельную ренту.

Я сказал отцу: «Почему ты думаешь, что следует облагать налогом только ренту, получаемую с земли, а не также ренту, получаемую банкирами, фабрикантами, рантье, стригущими купоны, и др.?»

Он сказал: «Отчего же не обложить и эту ренту? Может быть, и это будет полезно».

Рекомендуя налог на земельную ренту, он закрывал глаза на то, что установить и взыскивать этот налог может только государство, а он отвергал государство.

Правда, он говорил, что налог на ренту может быть уплачиваем добровольно; однако возможно ли это? Об этом у него происходили споры с С. Д. Николаевым<sup>6</sup>, горячим сторонником учения Генри Джорджа, утверждавшим, что этот налог нельзя установить помимо государства.

---

В своем дневнике 1895 года отец написал нечто вроде завещательной записки. В нем он пожелал, чтобы после его смерти его рукописями занялись Софья Андреевна, В. Г. Чертков и Н. Н. Страхов. Прочтя эту запись, я его спросил: «Почему ты не упомянул обо мне в числе лиц, которым ты поручаешь разбирать свои рукописи? Я бы добросовестно работал над этим».

Он недовольным тоном ответил: «Потому что никто из моих сыновей не разделяет моих взглядов».

---

Когда в 1906 году я решил жениться (вторым браком) на Марии Николаевне Зубовой, я поехал из Москвы в Ясную Поляну, пошел к отцу и объявил ему об этом. Он был доволен, что я приехал нарочно для того, чтобы сообщить ему о своей предполагаемой женитьбе, как бы просил его благословения, и сказал:

— Теперь у нас будет еще третья Мария Николаевна Толстая.



Это ему нравилось. Как известно, это имя носили его мать и сестра.

Когда я в первый раз вместе с женой приехал в Ясную Поляну, он сказал моей жене: «Мне надо привыкнуть, что ты моя невестка и называешься Машей». И он повторил несколько раз подряд: «Маша, Маша, Маша».

---

В конце 1900-х годов он говорил: «Я боюсь трех вещей: Саша перестанет хохотать. Мария Александровна (Шмидт) умрет. Андрюша разойдется со своей второй женой». К счастью, ни одно из этих его опасений при его жизни не сбылось.

---

Про памятники он говорил: «Зачем, когда ставят памятники, изображают человека во весь рост? Разве для памяти о Гоголе, Пушкине, Викторе Гюго, Руссо нужны изображения их животов и ног? Интересны их головы и лица, а не ноги и туловища. Лучше на памятниках ставить только бюсты».

---

Когда была напечатана книга «Мысли мудрых людей», отец спохватился: «Там есть и мои мысли; стало быть, я сам себя назвал мудрым. Нехорошо!»

Поэтому, когда эта книга была переработана и изречения мыслителей были распределены по дням года, она была названа «Кругом чтения». Перед ее изданием я сказал отцу: «Следовало бы подписывать, у кого и из каких книг взяты помещенные изречения. Тебе ведь было бы неприятно, если бы твои мысли были напечатаны в измененном виде, и об этом не было бы сказано». Он ответил:

«Неизменные изречения будут подписаны именами их авторов, а мною измененные не будут подписаны, это как бы мои мысли. Мне невозможно восстановить, откуда эти изречения взяты, я этого не записывал».

После издания «Круга чтения» отец продолжал работать над этим своим трудом. Он подразделил его на отделы и провел известную последовательность в помещенных в нем изречениях. Мысли, заимствованные у разных авторов, были подписаны их именами, если они не были изменены, а если были изменены, то подписывались с предлогом «по». Например: по Канту, по Паскалю и т. д. Но некоторые измененные изречения остались без всякой подписи.

Переработанный «Круг чтения» отец предполагал издать под тем же названием, но этому воспротивился В. Г. Чертков, предполагавший назвать книгу «На каждый день». Отец воз-

ражал, говоря, что заглавие «Круг чтения» лучше выражает последовательное изложение его мировоззрения. Но Чертков упрямо настаивал на заглавии «На каждый день» и говорил: «Об этом вас очень просит Галя (жена Черткова Анна Константиновна)». Как будто мнение Гали в этом вопросе было компетентно. Тогда после отъезда Черткова (в Телятинки, где он жил) отец сказал: «Не все ли равно «Круг чтения» или «На каждый день»? Тяжело! Умирать пора».

Он был огорчен тем, что его друг с ним не согласился и упрямо настаивал на своем. И что же? Книга была издана под заглавием «На каждый день». Я присутствовал при этом разговоре. О нем написал и брат Илья в своих воспоминаниях.

---

В 1909 году отец сказал: «Чем больше я живу, тем больше недоумеваю». Я его спросил: «Перед чем?» Он ответил:

— Перед тем, что люди неразумно живут.

---

#### ОТЗЫВЫ ТОЛСТОГО О РАЗЛИЧНЫХ ПИСАТЕЛЯХ<sup>7</sup>

##### М. Ю. Лермонтов

Про Лермонтова Лев Николаевич говорил, что его натура ему ближе, чем Пушкина, «Героя нашего времени» он считал образцовой прозой. «Демона» он считал наивной поэмой. Из мелких стихотворений он очень ценил «Валерик» и говорил про «Слышу ли голос твой»:

«Вот прекрасное стихотворение без размера и рифмы».

##### Ф. И. Тютчев

Всю жизнь Толстой любил и ценил Тютчева<sup>8</sup>. В моем распоряжении имелась книжка стихотворений Тютчева; на полях ее — собственноручные пометки Льва Николаевича.

Каждое стихотворение из тех, которые произвели на него впечатление, отмечены им следующими словами: К — «красота»; Г — «глубина»; «Чувство» или «Тютчев», то есть только Тютчев мог сказать то, что он сказал, и так это сказать.

Кроме того, ряд стихотворений отчеркнуты на полях. Иногда касается всего стихотворения или части его, а иногда на полях стоит один или несколько восклицательных знаков.

Все отметки Толстого сделаны черным карандашом. Когда-то Лев Николаевич был лично знаком с Тютчевым, но выдались они редко. Тютчев жил за границей или в Петербурге и, по-видимому, личной близости между ними не было. Но Лев

Николаевич и тогда еще восхищался поэзией Тютчева, когда она не была известна широкой публике...

Лев Николаевич любил в Тютчеве его своеобразное и глубокое, по его мнению, мировоззрение, его любовь к природе и его неожиданно образный, иногда архаичный, но всегда исключительно образный поэтический язык.

Я помню, как еще в конце 1870-х годов отец читал Тютчева, обращая особенное внимание на некоторые стихи. Он говорил, что ни у кого, кроме Тютчева, нельзя найти такие образные выражения, как, например:

«Тени сизые смешались»<sup>9</sup> или такие сравнения, как стихи:

...и на всем  
Та кроткая улыбка увяданья,  
Что в существе разумном мы зовем  
Божественной стыдливостью страданья!<sup>10</sup>

Не раз он вспоминал «Silentium», особенно строку: «Мысль изреченная есть ложь».

Признавая вместе с Тютчевым, что передать полностью свою мысль другому человеку невозможно, Лев Николаевич говорил про себя: «Я мыслю лучше, чем говорю, говорю лучше, чем пишу, пишу лучше, чем печатаю».

### А. А. Фет

С А. А. Фетом Лев Николаевич долго был в приятельских отношениях. Сохранилась обширная переписка между ними, в которой не раз отец высказывал свое мнение о стихотворениях Фета. По моим воспоминаниям, ему особенно нравились описания природы у Фета в следующих стихотворениях:

1) «Вечер». («Прозвучало над ясной рекою...») (1855)

2) «В дымке-невидимке...» (1873)

3) «В вечер такой золотистый и ясный...» (1886)

4) «Я пришел к тебе с приветом...» (1843)

5) «Весна на дворе» (1855). В этом стихотворении Лев Николаевич отмечал и ценил тонкое знание Фетом русского языка:

Как дышит грудь свежо и емко —  
Слова не выразят ничьи!

6) «Опять незримые усилья...» (1859). В этом стихотворении Лев Николаевич обращал внимание на стих: «Под беломраморные своды...» и на последнюю строку этого стихотворения:

Как будто стаю лебедей.

7) «Жду я, тревогой объят...» (1886). В этом стихотворении Лев Николаевич обращал внимание на строки:

Словно струну оборвал  
Жук, налетевши на ель...

8) «Ласточки пропали...» (1854)

9) «Осенью». («Когда сквозная паутина...») (1870 (?)). Лев Николаевич говорил: «В прозе нельзя сказать этот стих:

Когда сквозная паутина

Разносит нити ясных дней..., а в стихотворении это дает полную картину».

10) В стихотворении «Осенняя роза» (1886) Лев Николаевич обращал внимание на стих:

Дохнул сентябрь, и георгины  
Дыханьем ночи обожгло.

11) В стихотворении «Еще весны душистой нега...» (1854) отец хвалил слова:

И соловей еще не смеет  
Запеть в смородинном кусте.

12) «Печальная береза...» (1842).

13) «Чудная картина» (1842).

14) «Есть ночи зимней блеск и сила...» (1885).

Лев Николаевич меньше ценил «Вечерние огни» Фета и еще меньше «Послания к разным лицам». Но из этих циклов ему нравились некоторые любовные и философские стихотворения, как, например:

1) «Я в жизни обмирал и чувство это знаю...» (Смерти) (1884). Особенно ему нравились слова: «...ты мысль моя, не боле, Игрушка шаткая тоскующей мечты». Известно, что Фет не боялся смерти.

2) «Кляните нас: нам дорога свобода...» (1891).

3) «Все, что волшебю так манило...» (1892).

4) «Не отходи от меня...» (1842).

5) «Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад...» (1853).

6) «Я долго стоял неподвижно...» (1843).

7) «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...» (1877).

8) «Какое счастье: и ночь, и мы одни!..» (1854).

9) «Шепот, робкое дыханье...» (1850). Про это стихотворение Лев Николаевич говорил: «Оно написано для небольшого кружка любителей стихов, как лакомое блюдо, но прочтите его русскому мужику — он ничего не поймет»<sup>11</sup>.

10) «Мы встретились вновь после долгой разлуки...» (1891):

\* \* \*

Мои воспоминания об отзывах Льва Николаевича на стихотворения Фета неполны. Они могут быть дополнены воспоминаниями моего брата, Ильи Львовича Толстого, а также записками Д. П. Маковицкого и А. Б. Гольденвейзера.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Незначительная часть «Из разговоров моего отца» С. Л. Толстого была впервые нами опубликована. См.: Лит. Россия, 1965, 21 мая, с. 18—19.

<sup>2</sup> В начале июня 1909 года Толстой читал сказки А. Франса. Книга была прислана Толстому автором. Она сохранилась в яснополянской библиотеке.

<sup>3</sup> Эльцбахер Пауль (1868—1928) — немецкий теоретик анархизма. Его книга «Сущность анархизма» (Спб., 1906) сохранилась в яснополянской библиотеке.

<sup>4</sup> Джордж Генри (1839—1897) — американский экономист, публицист, основатель теории «единого налога» на земельную собственность.

<sup>5</sup> Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957) — адвокат.

<sup>6</sup> Николаев Сергей Дмитриевич (1861—1920) — экономист, переводчик сочинений Генри Джорджа на русский язык.

<sup>7</sup> См. также главы: «Мой отец в семидесятих годах. Высказывания его о литературе и писателях», «Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин)». — В кн.: Толстой С. Л. Очерки былого. 4-е изд. Тула: Приок. кн. изд-во, 1975, с. 86, 319.

<sup>8</sup> Список стихотворений Ф. И. Тютчева с пометками Л. Н. Толстого см. в статье С. Л. Толстого — «Л. Н. Толстой о поэзии Ф. И. Тютчева». — В кн. Толстовский ежегодник. — М., 1912, с. 143—148.

<sup>9</sup> Стихотворение «Тени сизые смешались...» (1836).

<sup>10</sup> Стихотворение «Осенний вечер» («Есть в светлости осенних вечеров...») (1830).

<sup>11</sup> Ср.: «Про известное стихотворение «Шепот, робкое дыханье» отец в 80-х годах говорил приблизительно так: «Это мастерское стихотворение; в нем нет ни одного глагола (сказуемого). Каждое выражение — картина; не совсем удачно разве только выражение «В дымных тучках пурпур розы». Но прочтите эти стихи любому мужику, он будет недоумевать, не только в чем их красота, но и в чем их смысл. Это — вещь для небольшого кружка лакомов в искусстве». (Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975, с. 322).

## ПИСЬМА Н. И. ТОЛСТОГО К ЖЕНЕ

(Публикация Н. И. Азаровой)

Переписка родителей Толстого представляет особый интерес — в ней отражена нравственная атмосфера семейной жизни в Ясной Поляне, тот духовный мир семьи, что способствовал формированию личности Льва Николаевича.

Письма матери Толстого Марии Николаевны были опубликованы С. Л. Толстым в книге «Мать и дед Л. Н. Толстого»<sup>1</sup>, письма же Николая Ильича не публиковались. До нас дошло некоторое из его переписки — письма к родителям из действующей армии в 1813 году и 11 писем к жене, сохраненные после смерти Марии Николаевны Т. А. Ёргольской как драгоценная семейная реликвия. От Татьяны Александровны эти письма перешли к С. А. Толстой, а она передала их вместе с другими бумагами семейного архива и принадлежавшими ей рукописями Л. Н. Толстого на хранение в Румянцевский музей.

При передаче писем от одного лица к другому, перекладывании их нарушился тот первоначальный порядок, в котором они хранились у Т. А. Ёргольской; листки разрознились, перепутались, и к тому времени, когда сотрудники отдела рукописей ГБЛ их стали разбирать и делать их описания, уже было трудно определить, в какой последовательности их получали и к какому году которое из них относится, так как Николай Ильич указывал в своих письмах число, иногда месяц, но не указывал год написания письма. Некоторые его письма вообще не имеют никакой даты. Поэтому из отдела рукописей ГБЛ в музей Л. Н. Толстого они поступили с предположительной датировкой.

При внимательном прочтении писем (они написаны по-французски) удалось обнаружить, что несколько из них связано, как единым сюжетом, сообщением о приезде Николая Ильича в Москву, его делах в городе и сведениями о его предполагаемом отъезде в Ясную Поляну. Таких писем — всего четыре. Они были разрознены и датированы по-разному: одни предположительно 1823 годом, другие — предположительно 1825-м.

О том, что письма написаны не ранее 1823 года и не позже 1826 года, свидетельствовало упоминание в них об одном ребен-

ке, первенце М. Н. и Н. И. Толстых — Коко: Николай Николаевич Толстой родился 21 июня 1823 года. Второй ребенок — Сергей — родился в феврале 1826 года.

Поездка Николая Ильича в Москву состоялась в июне, этим месяцем помечены им два письма — от 16-го и от 20-го. Стало быть, дело происходило не в 1823, а в 1824 или в 1825 году.

Определить точно год написания писем помогли несколько упоминаемых в них фактов.

В первом своем письме, которое Николай Ильич отправил по приезде в Москву, он пишет о непрерывном дожде и ужасной грязи на дорогах.

Из переписки современников Н. И. Толстого, например, из писем А. Я. Булгакова из Москвы в Петербург к брату<sup>2</sup> известно, что необыкновенно дождливыми были июнь—июль 1824 года.

Оставалось проверить по календарю. В том же первом письме из Москвы Николай Ильич пишет, что ожидает известий из Ясной Поляны в четверг, когда прибывает почта. 13-го он сообщает жене о получении ее письма, т. е. это «почтовый день» — четверг, так же, как и 20-е — дата отправления последнего письма с известием об отъезде из Москвы. По календарю четверг 13 июня был в 1824 году. Затруднения в датировке возникли из-за допущенной Николаем Ильичом описки. В письме от 20 июня он писал, что намеревается выехать из Москвы во вторник 23-го; но вторник в июне 1824 года — 25-е. В самом деле, Николай Ильич рассчитывал домчаться домой за сутки, чтобы встретить свой день рождения — 26 июня — в кругу семьи, но опасался, что из-за дождей и непролазной грязи может застрять где-нибудь на дороге.

Четыре письма Николая Ильича, соединенные вместе, составляют как бы маленькую повесть о жизни семьи Толстых летом 1824 года. Это ценный биографический материал.

В семейных архивах той поры сохранилось немного писем, которыми обменивались в канун событий 14 декабря 1825 года: множество их было сожжено при уничтожении бумаг, когда после разгрома восстания декабристов в домах семей, близких к заговорщикам, по ночам запылали камины. Поэтому письма Н. И. Толстого дороги нам и как редкий исторический документ — в них неповторимые черты русской жизни 20-х годов XIX века.

б. д. (начало июня 1824 г.)

«Я приехал в Москву вчера вечером, мой нежный друг, претерпев в дороге все, что только возможно себе представить: грязь по самые уши, дождь и снова дождь выше ушей. Я не говорю о своем беспокойстве о вашем здоровье — оно прекра-

тится только в четверг, с прибытием почты. Мой зять<sup>3</sup> был вчера у меня, он остановился у своего брата Александра Ивановича, который, по его словам, полон к нему самых дружеских чувств, с чем я его и поздравил, вовсе не веря этому, но это не то, что нас интересует. Его проект устроиться здесь, как мне кажется, дело совершенно решенное и вполне верное, до такой степени, что этой зимой он хочет непременно приехать в Москву. Прочитай маменьке несколько раз этот абзац моего письма, я надеюсь, что это произведет большее действие на ее здоровье, чем рецепты Балка и Беера<sup>4</sup>. Я жду с нетерпением, которое трудно себе представить, письмо от тебя, мой дорогой друг; расскажи мне, пожалуйста, во всех деталях о твоём здоровье, здоровье тата и маленького; хорошо ли он спал в ночь того дня, когда я уехал, что говорят врачи, узнав, что мы решили больше не позволять им мучить его. Я не знаю, до чего меня заставляла страдать мысль о нитке на маленьком. Я благодарен Туанетт<sup>5</sup> за совет удалить ее.

Я посылаю тебе 1.200 рублей ассигнациями на имя Александра, чтобы избавить тебя от затруднения получить их; ты найдешь список того, на что они должны быть истрачены, на другой стороне страницы.

Языков<sup>6</sup> переехал жить ко мне; благодаря его заботам, дела в Сенате идут неплохо, наши другие дела тоже пойдут своим чередом, я надеюсь, и, может быть, вскоре я возвращусь с Владимиром Ивановичем, чтобы нам решить <дело> о покупке имения.

Вот, мой нежный друг, все, что могу тебе сказать в данный момент. Я еще не видел никого, как ты хорошо себе представляешь, и еще несколько дней я не пойду куда, я хочу дать немного отдохнуть моим костям, которые, право, почти все разбиты, по-русски говорится, как в мешке<sup>7</sup>.

Поцелуй руку маменьке и попроси у нее благословения для меня; поцелуй Коко десяток раз, что не будет досыта.

Прощай, мой ангел, будь здорова. Будь спокойна насчет моего здоровья, береги свое и будь уверена, что я люблю тебя так нежно, как только возможно.

Твой верный друг Nicolas. Обнимаю Туанетт и благословляю Коко.

Куды употребить деньги<sup>8</sup>.

Якову отдать на zapлату подушных и харчевых — 500 р.

На zapлату мастеровым — смотри по необходимости и на покупку леса — 300 р. (Эти деньги оставь у себя и выдавай по мере нужды).

Коптильнику, который будет просить денег под расписку — 150 р.

На zapлату долга и докторам — 250 р.

---

1.200 р.

Языков уверяет вас в своей преданности».



«Москва

13-го текущего месяца  
(13 июня 1824 г.)

Я получил твое письмо, мой добрый друг; ты мне пишешь, что Коко все еще плохо спал, это, вероятно, происходит из-за боли, причиненной ему шнурком, который врачи ему наложили. Я все еще не могу поймать Лёвенталья<sup>9</sup>, но я надеюсь, что он придет сегодня, расскажу ему все подробно и с первой почтой я сообщу тебе его мнение.

Мой зять и я, мы неразлучны, он предполагает приехать вместе со мной повидать маменьку, он очень любезен, и чем больше я с ним бываю, тем больше я вижу, что он решил приехать обосноваться в наших местах. Его брат Александр тоже уговаривает его это сделать, и я начинаю поддерживать этого последнего до такой степени, что пригласил его сегодня придти ко мне обедать. Я признаюсь, однако, что в дружбе, которую я ему выказываю, имеется в виду немало заинтересованности; я бы хотел, насколько возможно, привлечь его на нашу сторону.

Раз уж мы коснулись Юшковых, нужно поговорить с вами и о других: Николай Иванович пил, как прорва, и покинул Москву пьяным, как свинья. Осип Иванович<sup>10</sup> до такой степени увлечен своей особой и считает себя человеком, столь необходимым правительству, что он почти больше ни о чем не говорит<sup>11</sup>; а я говорю, что я его не боюсь: нет нужды, что он шталмейстер, и у меня был шталмейстер Коновалов, который был и толще и выше его, да и того я не только не боялся, но даже сменил.

Я видел княгиню Наталью<sup>12</sup>, она очень слаба, говорит так тихо, что ее почти не слышно; она интересуется тобой очень искренно. Трубецких<sup>13</sup> нет в городе, что меня бесконечно расстраивает, я вынужден буду отправиться повидать их в их имение.

Мы были вчера в Русском театре, давали небольшую пьесу — водевиль «La matinée du jour en ville» и балет «La belle Arcène»<sup>14</sup>. Этот спектакль был очарователен до того, что я веселился, и это меня огорчило: я не хотел веселиться вдали от тебя и, в особенности, когда я знаю, что ты не здорова.

Предполагаю, что мое письмо найдет тебя в Ясном. Прикажи, мой друг, построже смотреть за малярами, чтобы крышу железную замазывали как можно аккуратнее и двери парадные шпаклевали, не торопясь, и заправляли бы все сучки<sup>15</sup>. Я не говорил тебе в последнем письме о моем путешествии сюда: скажу тебе только, что, если бы я должен был сделать тысячу верст по такой дороге, на место моего назначения доставили бы лишь мой труп. Много я путешествовал в моей жизни, но не видел ничего подобного.

Прощай, мой добрый, мой нежный друг, да хранит Господь тебя и маленького Коко, которому я посылаю мое благословение. Целую руки моей доброй маменьке и прошу ее быть спокойной за дела моего зятя. Я надеюсь, что этою зимой мы будем все вместе. Я благодарю от глубины моего сердца Туанетт за подробности, которые она мне сообщает о здоровье маленького, и прошу ее это продолжать. Прошу еще раз, прости меня за вчерашнее веселье.

Целую тебя. Твой верный Nicolas.

Языков уверяет вас в своей преданности»<sup>16</sup>.

3

«Москва

16 июня (1824 г.)

Мой нежный друг, ты кончаешь свое последнее письмо тем, что рекомендуешь мне не забывать тебя; ты становишься безумной: могу ли я забыть то, что составляет самую дорогую часть меня самого; что было бы здесь со мной, если бы двадцать раз на дню я не думал о тебе и о моем дорогом Коко. Я виделся сегодня с Лёвенталем и Ильдебрандом<sup>17</sup>, которым я рассказал со всеми подробностями о болезни маленького. Они оба пришли к заключению, что нет нужды делать операцию. Ильдебранд в особенности доставил мне большое удовольствие, объяснив, что если ребенок родился с этим пятном, то весьма вероятно, что оно будет увеличиваться только до известной степени, а затем оно будет твердеть и даже, может быть, уменьшится. Но пока посылаю тебе рецепт, который ты отправишь в Тулу, если, как я думаю, ты уже в Ясном, и с лекарством, которое ты получишь, надо будет класть холодные компрессы на прыщ и менять их несколько раз в день.

Что касается тебя, вот что тебе прописывает Лёвенталь<sup>18</sup>: брать три раза в неделю ванны, в которые класть две пригоршни дубовой корки, божьего дерева, простой мяты и отрубей; все это положить в мешок и опустить в горячую воду и дать настояться полчаса, потом влить в ванну, в которую опустить кусок раскаленного железа, например, какую-нибудь гирию или цепь, только непременно железа, а не чугуна; теплота ванны должна быть 25 градусов, сидеть в ней, как ты сживала в Москве, я полагаю, около четверти часа или 20 минут. Лёвенталь тебе рекомендует в особенности быть столь спокойной, насколько это возможно, т. е. ничем не возбуждаться и избегать всего, что может привести в движение кровь.

Я только что получил письмо от тебя, мой бесценный друг, оно мне доставило бесконечное удовольствие; я уже был обеспокоен опозданием, с каким мне его доставили.

Мне будет невозможно поехать к 21 этого месяца<sup>19</sup>, что причиняет мне истинное огорчение; дело в Сенате отложено до

23-го, так что я не уверен, приеду ли я к 26, по крайней мере, я сделаю все, что смогу.

Посылаю вам билеты с извещением о свадьбе маленькой Лидии<sup>20</sup>, и мы идем сегодня с моим зятем к Долгоруким<sup>21</sup> по его делу; скажи нашей доброй маменьке, что она может быть совершенно спокойна на его (Владимира Николаевича Юшкова.— Н. А.) счет; он никогда не был столь решителен в намерении устроиться здесь, как в настоящий момент.

Целую руки маменьке и прошу ее благословения; поцелуй Коко так нежно, как только можешь, да хранит вас Господь.

Прощай, мой нежный друг, береги свое здоровье для твоего верного Николая. Обнимаю дорогую и добрую Туанетт.

Языков свидетельствует вам свое почтение».

4

«Москва

20 июня (1824 г.)

Я получил твое последнее письмо вчера вечером, мой нежный друг, оно доставило мне истинное удовольствие; новости, которые ты мне сообщаешь о здоровье Коко и о своем, меня очень успокоили; остается только эта опухоль, которая меня немного тревожит. Абзац твоего письма,— ты не хочешь, чтобы я его кому-нибудь показывал,— меня насмешил; да, мой добрый друг, постарайся, чтобы к моему возвращению я нашел бы в Маше мою жену, но не сестру.

У нас были непрерывные дожди все эти дни, и дороги, как говорят, почти непроходимы; несмотря на это, я предполагаю выехать из Москвы во вторник, т. е. 23 сего месяца, поэтому ты видишь, что я смогу прибыть только к 26 и то с трудом, и признаюсь тебе, что я буду очень раздосадован, если я буду вынужден провести свой день рождения в дороге; мой зять едет со мной, и это может быть одной из значительных причин, из-за которых я смогу запоздать приехать и обнять тебя в четверг. Ты скажешь, может быть, почему бы не выехать раньше? Это потому, что мне решительно необходимо остаться здесь на понедельник, т. к. наше дело в Сенате, до сих пор неоконченное, в этот день получит определенное направление за или против нас<sup>22</sup>.

Наше наследство превратилось в ничто. Г-н Доброклонский<sup>23</sup> выиграл свой процесс, и нам остались только дом в Москве и земли без крестьян в Костромской губернии; и это нужно еще поделить на двадцать частей, что приведет к тому, что нам не достанет и на орехи<sup>24</sup>.

**Не огорчайся этим, чтобы не расстраивать свое здоровье, подумай, что потеря богатства есть наименьшая из всех возможных!**

Что ты на это скажешь? Вот, что называется рассуждать философски!

Если ты не получишь моих писем с ближайшей почтой, это будет означать, что я в пути, и поэтому не беспокойся.

Перед отъездом я намереваюсь пойти обедать к Трубецким, я очень хочу их видеть.

Прощай, мой добрый, мой нежный друг, да хранит тебя Господь, благослови от меня Коко, поцелуй руки маменьке и обними Туанетт. Прощай еще раз.

Твой верный Nicolas.

Семен Иванович уверяет вас в своем почтении»<sup>25</sup>.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> «Письма гр. Марии Николаевны Толстой». — В кн.: Толстой С. Л. Мать и дед Л. Н. Толстого. М., 1928, с. 123—152.

Отрывок из письма Н. И. Толстого к жене 13 (июня 1824 г.) опубли. в кн.: Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954, с. 647. Письмо ошибочно датировано 13 августа.

<sup>2</sup> Булгаков А. Я. — Булгакову К. Я.:

«Москва, 19 мая 1824.

Все говорят о страшном дожде вчерашнем...»

«Москва, 22 мая 1824.

...за ужасными дорогами... одна барыня 18 верст ехала сутки...»

«Москва, 7 июля 1824.

Скоро земля наша будет в водяной болезни! Дожди не перестают у нас, они сопровождаются сильными грозами... В десяти же верстах от Москвы, по Тульской дороге, был пресильный град третьего дня...»

Русский архив, 1901, № 5, с. 57, 58; 67.

<sup>3</sup> Юшков Владимир Иванович (1789—1869) — муж сестры Н. И. Толстого, Пелагеи Ильиничны (1801—1875), служил в лейб-гусарах, полковник в отставке. Его имение Паново находилось в Казанской губ. Намерение В. И. Юшкова продать Паново и приобрести имение в Московской или Тульской губ. не осуществилось.

<sup>4</sup> Беер Франциск Карлович — тульский врач; Балк — по-видимому, тоже тульский врач, сведений о нем разыскать не удалось.

<sup>5</sup> Ёргольская Татьяна Александровна (1792—1874) — троюродная тетка Л. Н. Толстого.

<sup>6</sup> Языков Семен Иванович (ум. 1885) — владелец имения Бутырки Тульской губ., сосед и приятель Н. И. Толстого.

<sup>7</sup> Эта строка во французском подлиннике написана по-русски.

<sup>8</sup> Эта приписка сделана в письме по-русски.

<sup>9</sup> Лёвенталь Густав Осипович (1788—1845) — врач, директор Павловской больницы в Москве.

<sup>10</sup> Братья Владимира Ивановича Юшкова — Александр Иванович и Николай Иванович — офицеры гвардейского Преображенского полка; Юшков Осип (Иосиф) Иванович (1788—1849) служил в лейб-гусарах, шталмейстер двора.

<sup>11</sup> Далее до конца абзаца по-русски.

<sup>12</sup> Волконская Наталья Алексеевна, рожд. Мусина-Пушкина (1784—1829), с 28 марта 1811 г. жена Волконского Дмитрия Михайловича (1769—1835) двоюродного брата М. Н. Толстой, приятельница Марии Николаевны.

<sup>13</sup> Семейство родного дяди Марии Николаевны по материнской линии Ивана Дмитриевича Трубецкого (ум. 1827), который владел в Москве домом у Покровских ворот и подмосковным имением Знаменское.

<sup>14</sup> Водевиль «Раннее утро в городе» и балет «Прекрасная Арсена» (пер. с франц.).

<sup>15</sup> Речь идет о строительстве главного дома в Ясной Поляне, возводить

который начали еще при Н. С. Волконском. В этом доме родился Л. Н. Толстой.

<sup>16</sup> Приписка по-русски.

<sup>17</sup> Ильдебранд — Гильдебрандт Федор Андреевич (1775—1845) — профессор хирургии и медицины Московского университета. Был знаком с А. С. Пушкиным, который высоко ценил его врачебное искусство. «...Гильдебрантов не много», — говорил о нем Пушкин, по свидетельству современников. — Современник, 1843, т. XXIX, № 3, с. 384.

<sup>18</sup> Далее, кончая словами «20 минут», — по-русски.

<sup>19</sup> 21 июня — день рождения Коко (Н. Н. Толстого).

<sup>20</sup> Свадьба родственницы Толстых (по Горчаковым) Лидии Алексеевны Горчаковой, дочери военного министра в 1812—1815 гг. Алексея Ивановича Горчакова, и графа Василия Алексеевича Бобринского состоялась 6 июля 1824 г. Об этом — в письме А. Я. Булгакова к брату от 7 июля 1824 г. — Рус. архив, 1901, № 5, с. 67. По свидетельству декабриста Владимира Сергеевича Толстого, на свадьбу съехалось много военных; в это время кн. Барятинский вербовал молодых офицеров в члены тайного общества. (См. Декабристы. Новые материалы. М., 1955, с. 24.)

Барятинский Александр Петрович (1798—1844), декабрист.

<sup>21</sup> Долгорукие — кн. Юрий Владимирович (1740—1830), известный военный деятель екатерининского времени, жил в отставке в Москве, в Петровском, и пользовался большим авторитетом и почетом у москвичей; Варвара Юрьевна Горчакова, рожд. Долгорукая (1778—1828), дочь Ю. В. Долгорукого, вдова военного министра А. И. Горчакова (1769—1817).

<sup>22</sup> 8-й департамент Правительствующего Сената рассматривал дело о продаже за долги принадлежавших И. А. Толстому имений. Дело это тянулось с 1819 по 1851 г., когда было продано главное имение Толстых, Большие Поляны, часть которого досталась брату Л. Н. Толстого, Дмитрию Николаевичу. О делах в Сенате после смерти Н. И. Толстого хлопотала его сестра А. И. Остен-Сакен и другие опекуны детей Толстых.

<sup>23</sup> Павел Михайлович Доброклонский, майор в отставке, был женат на Елизавете Федоровне Волконской, двоюродной сестре Н. С. Волконского.

По-видимому, упоминается процесс о разделе наследства бездетной родственницы Волконских княжны Анастасии Евграфовны Волконской, умершей 29 января 1823 г.

<sup>24</sup> «...На орехи» — по-русски. Далее — курсив Н. И. Толстого.

<sup>25</sup> Приписка по-русски.

## НЕИЗВЕСТНЫЕ ДНЕВНИКИ А. А. ТОЛСТОЙ

Не часто в печати появляются сообщения о новых бесценных находках. Бывает, что исследователь всю свою жизнь посвящает поискам нужных ему документов и не находит их. Неожиданно возникшие шесть манускриптов, владелицей которых была некая Маньковская М. П., вызвали изумление у сотрудников музея-усадыбы «Ясная Поляна». Это были ранние дневники Александры Андреевны Толстой (1817—1904), двоюродной тетки и друга Л. Н. Толстого. Они переданы сотрудникам музея старинной тульской подругой Маньковской — Н. К. Несходовской.

Какова же история этих дневников и судьба людей, которые оказались причастными к ним? Мария Петровна Маньковская, в девичестве Антипова, родилась в Петербурге в 1897 году, в семье писмоводителя. Через три года умер ее отец, а когда ей исполнилось 10 лет, не стало ее матери.

Девочку и ее двух сестер взяла на воспитание житомирская помещица Анна Гавриловна Зенкович, которая хорошо знала родителей осиротевших детей. Маньковская получила образование, она окончила Киевскую женскую гимназию в 1916 году. Работала сначала в Киеве, а затем вернулась в село Краевщину бывшего Житомирского уезда Волынской губернии, в имение А. Г. Зенкович, где и прожила несколько лет. В 1924 году они переехали в Житомир, где Маньковская начала работать в детском саду.

Встретившись с Маньковской, проживающей в настоящее время в Житомире, сотрудники музея услышали ее рассказ об истории дневников А. А. Толстой, хотя в свои 85 лет она припомнить все подробности уже не могла. Мария Петровна рассказала, что дневники А. А. Толстой передала ей перед смертью ее сестра, которая получила их от Анны Гавриловны Зенкович, племянницы А. А. Толстой.

В литературе о Л. Н. Толстом имя Зенкович упоминается в связи с публикацией в 1911 году Обществом Толстовского музея «Переписки Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой»<sup>1</sup>. Это Общество осенью 1910 г. приобрело у А. Г. Зенкович право печатания писем за установленную плату на благотворительные цели. Четвероюродная племянница А. А. Толстой Зенко-

вич была ее единственной наследницей. Александра Андреевна прожила такую долгую жизнь (она умерла в возрасте 87 лет), что ко времени ее кончины у нее уже не осталось ни одного прямого наследника. Зенкович, очевидно, унаследовала часть семейного архива А. А. Толстой. В настоящее время ее личный архив хранится частично в ИРЛИ (Пушкинский дом), частично в исторических архивах Ленинграда, Москвы и других городов.

В год смерти А. А. Толстой А. Г. Зенкович было 50 лет. Девятью годами раньше она уволилась со службы из Петербургской Александровской гимназии, где занимала должность учительницы арифметики, и посвятила себя уходу за Александрой Андреевной. Умерла она в 1932 году в возрасте 78 лет в Житомире, где и похоронена.

Что касается самих дневников А. А. Толстой, то они около века оставались неизвестными. Это четыре рукописных тетради, заполненных рукой А. А. Толстой, и два альбома, один из которых принадлежал П. В. Толстой, подаренный ей А. А. Воейковой, племянницей В. А. Жуковского, а другой — И. А. Толстому, старшему брату А. А. Толстой. Внешний вид дневников и альбомов весьма элегантен, они в хорошей сохранности (кроме дневника А. А. Толстой 1837 года и альбома И. А. Толстого). Две довольно большие, почти квадратные книжки, одна в коричневом, другая в зеленом сафьяновых переплетах с золотым и простым тисненными узорами. На корешке переплета коричневой книжки стоит дата — 1838 год, «Царское село», на зеленой — тисненая золотом надпись на немецком языке «Травемюнде».

Два других дневника — меньших размеров и более скромного оформления. На одном из них посередине обложки — монограмма «А. Т.». В дневнике 1837 года все записи с июля 1836 года по март 1837 года утрачены, иначе говоря, вырваны. Как известно, события трагической гибели А. С. Пушкина проходили именно в это время. Можно предположить, что они нашли отражение в дневнике. Удастся ли разгадать тайну исчезновения этих листов или это навсегда останется загадкой?

Все записи в дневниках велись на французском, русском и английском языках, одним почерком. В одном из альбомов (альбом П. В. Толстой) — разными почерками. Среди записей в дневниках встречаются карандашные рисунки, акварели, аппликации, силуэты, засушенные цветы, фотографии. Крайние даты всех записей — 1819—1844 гг. А. А. Толстая вела очень обширные записи, но, к сожалению, упоминаний об А. С. Пушкине нет (кроме дневника 1837 года, где она в списке книг, прочитанных за январь 1837 года, пишет: «Капитанская дочка» повесть Пушкина» и далее по-французски: «Бедный Пушкин! Это был его последний росчерк пера»). О М. Ю. Лермонтове и других современниках, а также упоминаний о каких-либо примечательных событиях этого времени — нет. Записи носят

глубоко частный характер: личные переживания, размышления о природе, описания прогулок, путешествий, балов, событий семейной жизни, цитаты из прочитанных книг.

В дневниках чаще всего упоминаются имена близких родственников А. А. Толстой — матери Прасковьи Васильевны, сестер, братьев, двоюродной тетки Прасковьи Степановны Барыковой (Полина), двоюродного брата Ф. И. Толстого — «Американца», его дочери Сарры Федоровны, подруги детства Александры Александровны Воейковой и др. Судя по дневникам, А. А. Толстая была человеком незаурядным, умным, добрым, отзывчивым, очень чувствительным и религиозным. Видимо, она в молодые годы относилась к тому типу русской девушки начала XIX в., к которому, по мнению В. Г. Белинского, относилась Татьяна Ларина — «существо исключительное, натура любящая, страстная».

В годы, к которым относятся дневники, Л. Н. Толстой с А. А. Толстой, будучи близкими родственниками (отец А. А. Толстой, Андрей Андреевич, и дед Л. Н. Толстого Илья Андреевич были родными братьями) еще не были знакомы. Поэтому имя Льва Николаевича на страницах дневников не встречается. И тем не менее дневники представляют собой большой интерес. В них содержится богатый материал для понимания той среды, в которой А. А. Толстая сформировалась как личность, привлекая внимание и заслужившая дружбу такого необыкновенного человека, как Л. Н. Толстой. Они познакомились в 1850-е годы, когда А. А. Толстая была фрейлиной вел. кн. Марии Николаевны, дочери Николая I, и жила при дворе. Л. Н. Толстой и А. А. Толстая особенно часто встречались зимой 1855—1856 гг. в Петербурге. Толстой дружил и переписывался с ней до самой ее смерти. Их переписка стала одним из богатейших источников для биографии писателя, для характеристики его взглядов и творческих замыслов. Толстой сам называл переписку с А. А. Толстой своей лучшей автобиографией.

22 декабря 1903 года, в последнем письме к тяжело больной А. А. Толстой, он благодарит ее «за всё то доброе», что ею было внушено ему во время их «полувековой дружбы» и вспоминает ее «доброту и любовь», благодаря которой «сам становился лучше» (74, 265). Для А. А. Толстой дружба с Л. Н. Толстым тоже служила стимулом становиться лучше: «Когда я вижу вас, мне хочется всегда стать лучше, и мысль о вашей дружбе (правда, немного слепой) производит на меня то же действие», — писала А. А. Толстая<sup>2</sup>. Взгляды и убеждения Л. Н. Толстого и А. А. Толстой были глубоко различными. Все же в их характерах, несмотря на бесконечные споры по вопросам религии, была одна общая черта, которая сближала их: они оба «любили добро», оба все время искали его.

По своему уму А. А. Толстая была личностью замечатель-



ной. Л. Н. Толстой называл ее ум, «способным понимать всё». А. А. Толстая получила блестящее образование. «Одинаково хорошо и сильно владея и родным и французским языком, она умела выражать на нем результаты своих дум и выводы своей тонкой наблюдательности», — писал о ней А. Ф. Кони<sup>3</sup>. Весь XIX век прошел у нее на глазах. Она была знакома с В. А. Жуковским, А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым. В детстве видела И. И. Козлова, И. А. Крылова, Н. И. Гнедича, А. Ф. Воейкова, Н. И. Греча. Она была дружна с И. С. Тургеневым, И. А. Гончаровым, А. К. Толстым, она хорошо знала А. С. Хомякова, М. Н. Загоскина, Н. Ф. Павлова, П. Я. Чаадаева. В салоне Карамзиных часто встречала графиню Е. П. Ростопчину. Познакомилась с Ф. М. Достоевским за три недели до его смерти<sup>4</sup>.

У самой А. А. Толстой было литературное дарование. Она — автор нескольких повестей и статей, опубликованных на русском и французском языках. В личной библиотеке Л. Н. Толстого сохранились две книги А. А. Толстой, опубликованные на французском языке за границей под псевдонимом. Книжки не разрезаны. На одной из них дарственная надпись Софье Андреевне. А. А. Толстая — автор воспоминаний о Л. Н. Толстом, написанных в 1899 году. При всей сложности, противоречивости характера Л. Н. Толстого она сумела увидеть главное в нем: «Следя за ним с его молодости, я только теперь могу отчасти понять всю многосложность его исключительной природы, изменчивой и вместе с тем, остающейся всегда верной самой себе. Он, как зеркало, разбивался на куски, отражая в каждом обломке яркий луч света, который был ему дарован свыше. Увлечения, впечатления, воззрения сменялись в нем быстро, — но во всем и всегда преобладала необыкновенная искренность»<sup>5</sup>.

Личные встречи их были неоднократны. Толстой при каждом своем посещении Петербурга навещал своего старинного друга, но Александра Андреевна частой гостьей Ясной Поляны не была, она приезжала лишь несколько раз, начиная с 80-х годов XIX века.

После ее смерти в Ясную Поляну были переданы «на память» вещи, предназначавшиеся Л. Н. Толстому, его жене и их детям. С. А. Толстая писала в дневнике 26 мая 1904 года: «В числе вещей были и три портрета: один ее отца и двух братьев: рано умершего Константина и уже в старости умершего Ильи Андреевича»<sup>6</sup>. «Рано умершего брата» звали Василий. Софья Андреевна не могла помнить, как его звали. В родословной книге дворян Тульской губернии за 1818 год записано, что у «полковника графа Андрея Андреевича Толстого были сыновья: Илья 6 лет, Василий 5 лет, дочери: Елизавета 3 лет, Александра 1 года»<sup>7</sup>. Дневниковая запись Александры Андреевны от 24 ноября 1842 года подтверждает факт смерти

ее брата, Василия Андреевича Толстого, который умер 18 ноября 1841 года от нервной горячки на Кавказе. А. А. Толстая переписала в свой дневник письмо генерала Козлянинова (без инициалов в тексте) с подробностями о скоротечной болезни и смерти брата Василия.

При изучении архивных материалов установлено, что в «Родословный сборник русских дворянских фамилий» В. В. Румеля и В. В. Голубцова, изданного в Петербурге в 1887 году, вкрались неточности при датировке года рождения Ильи Андреевича Толстого (1813), Василия Андреевича Толстого (1814), Елизаветы Андреевны Толстой (1812) и Александры Андреевны (1818) — эти ошибки повторены (кроме года рождения Александры Андреевны) и в Полном собрании сочинений (Юбилейном) Л. Н. Толстого. На самом деле, судя по Дворянской родословной книге Тульской губернии, Илья Андреевич родился в 1812 году, Василий — в 1813 году, Елизавета в в 1815 году<sup>8</sup>.

В яснополянском доме Л. Н. Толстого в гостиной над диваном висят два акварельных портрета, на которых изображены отец А. А. Толстой, Андрей Андреевич, и ее рано умерший брат Василий Андреевич, работы неизвестного художника. Не исключено, что автор акварелей — А. А. Толстая. Рядом висит фотография старшего брата Ильи Андреевича в полный рост в мундире.

Дневники А. А. Толстой потребуют еще дополнительного изучения. Предстоит предпринять поиски новых материалов, чтобы попытаться объяснить все, что осталось загадочным и непонятным в ранних дневниках и в жизни этой замечательной женщины.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См.: Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. Спб., 1911.

<sup>2</sup> Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, с. VII.

<sup>3</sup> Кони А. Ф. Собр. соч., т. 6, с. 687.

<sup>4</sup> ЦГАЛИ, ф. 318, оп. 2, ед. хр. 43, л. 195.

<sup>5</sup> Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, с. 2.

<sup>6</sup> Толстая С. А. Дневники, т. 2. М., 1978, с. 102.

<sup>7</sup> ГАТО, ф. 39, оп. 1, д. 2761, л. 6.

<sup>8</sup> ГАТО, ф. 39, оп. 2, д. 2281, л. 3.

М. С. Бибикова

## ВОСПОМИНАНИЯ

(Публикация Н. А. Калининой)

Мария Сергеевна Бибикова (1872—1954) — племянница Л. Н. Толстого, младшая дочь его брата, Сергея Николаевича Толстого (1826—1904). Через всю жизнь Лев Николаевич пронес чувство глубокой приязни и уважения к старшему брату, о котором в «Воспоминаниях» писал: «В старости, в последнее время, он больше любил меня, дорожил моей привязанностью, гордился мной, желал быть со мной согласен, но не мог, и оставался таким, каким был: совсем особенным, самым собою, красивым, породистым, гордым и, главное, до такой степени правдивым и искренним человеком, какого я никогда не встречал. Он был, что был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться» (34, 388). Сергей Николаевич был женат на цыганке, Марье Михайловне Шишкиной (1829—1919), которую совсем юной выкупил из Тульского цыганского хора. Такой необычный брак наложил отпечаток на характер самого Сергея Николаевича и на характер его детей: Григория (1853—1928), Веры (1865—1923), Варвары (1871—1920) и Марии (1872—1954).

Сергей Львович Толстой так описал свою двоюродную сестру: «Маша — брюнетка с выразительными черными глазами — была похожа на свою мать-цыганку не только лицом, но и своим добродушным характером»<sup>1</sup>.

В последние годы жизни Сергея Николаевича из всех детей она была ему самой близкой.

М. С. Бибикова — автор известных мемуаров: «Мои воспоминания. Отец и дядя. Тетя Маша. (1880—1900)», опубликованных в книге «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник». (М. — Л., 1928, с. 101—144). В них Мария Сергеевна вспоминала, как ей когда-то довелось пилить дрова с Львом Николаевичем: «Он говорил, что пилка дров все равно, что жизнь людей, вступивших в брак, что надо все время помнить о том, что не надо мешать друг другу, а уступать; и тогда дело пойдет хорошо. Я как раз в это время собиралась замуж, и он говорил, что мне надо в моей будущей жизни помнить о способе пилки дров и так же поступать в жизни»<sup>2</sup>.

Кроме того, в отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого хранятся несколько неопубликованных очерков — воспоминаний о Л. Н. Толстом и семье его брата С. Н. Толстого, написанных М. С. Бибиковой в 1940-е годы.

В публикуемых воспоминаниях М. С. Толстая описывает события накануне ее брака с Сергеем Васильевичем Бибиковым (1871—1920). Бибиков ухаживал за Марией Сергеевной много лет. По мнению Сергея Львовича Толстого, «Сергей Васильевич был мало образован, живя постоянно в деревне и хозяйничая, но он был вполне порядочным, сердечным и дельным человеком»<sup>3</sup>.

В семье Л. Н. Толстого все с большим сочувствием относились к Марии Сергеевне и к Сергею Васильевичу и старались им помочь устроить свою судьбу. Весной 1899 года письма М. Л. Оболенской к отцу полны упоминаний о М. С. Толстой. Так, 2-го мая она писала: «Маша очень мила: хлопочет одна за всех... собирается в мае замуж»<sup>4</sup>.

События, которые автор воспоминаний относит к осени 1899 года, очевидно, произошли весной того же года. Известно, что Лев Николаевич вместе с Татьяной Львовной были в Пирогове в 1899 году один раз, прожив там с 14 до 19 мая. 30 мая 1899 года Мария Сергеевна стала женой С. В. Бибикова.

Забегая вперед, можно сказать, что Сергею Николаевичу Толстому не пришлось раскаиваться, что он все-таки дал согласие на этот брак. «Сергей Васильевич, по словам С. Л. Толстого, оказался любящим мужем и почтительным зятем. Его родные выделили ему небольшое имение Дубки, по соседству с Пироговом, где он вместе с женой и поселился. Со временем Сергей Николаевич стал к нему хорошо относиться, и Сережа Бибиков ему помогал в пироговском хозяйстве»<sup>5</sup>. 27 августа 1899 года М. Л. Оболенская сообщила Льву Николаевичу: «Маша очень довольна своей судьбой...»

Мне давно хочется написать одно воспоминание о Л. Н. Толстом, для меня очень дорогом. Но это воспоминание не относится, как большинство других моих воспоминаний, к 80-м годам и к началу 90-х гг., а к более поздней поре, приблизительно к 1899 году.

Но прежде чем что-нибудь написать о Л. Н. Толстом, мне надо вернуться к своим молодым годам, когда я часто видела и чувствовала так ярко Льва Николаевича и он был для нас, для меня, моих двух сестер<sup>6</sup> и его дочери, Марии Львовны<sup>7</sup>, с которой мы тогда были очень дружны, так необходим. Он вносил необыкновенный яркий осмысленный свет во всю нашу тогда молодую жизнь. Мы много и часто тогда общались с ним, разговаривали, ходили на прогулки вместе с ним. Его

необыкновенная привлекательность, талантливость, яркий его ум, взгляд его блестящих серых глаз из-под нависших бровей, улыбка, интонация его голоса,— как-то все овладевало нами. С ним все имело особенную красоту и прелесть, и даже природа, которая нас окружала, в его присутствии делалась еще красивее. И я не могу отделить Льва Николаевича от своей молодости, от красоты природы, от его собственного обаяния. Все это сливается у меня в одно бесконечное великое — красивое, и только так я могу писать о нем. Так тогда чувствовала это и Мария Львовна, и мои две сестры, да, я думаю, и все знавшие его.

Иногда мне нестерпимо бывает жалко всю нашу молодежь, что она никогда не видала Толстого, не говорила с ним, не переживала тех чудных минут, когда он бывал среди нас и сила его таланта и ума будили наши души, зажигая их таким ярким огнем, который и до сих пор горит светящимся, не потухающим светом.

Соприкасаясь с Львом Николаевичем, под его влиянием, благодаря привлекательности его таланта, человек, побыв с ним, сам делался значительнее, умнее, добрее, точно [...] захватывал частичку этой могучей силы в себя, уносил этот свет в себе и от этого делался много ценнее.

Начинаю приступать к своим воспоминаниям 1899 года, когда мне было 26 лет. Было это в начале осени, в августе, погода стояла замечательно хорошая, были солнечные теплые дни, без малейшего ветра и дождя. Везде шла молотьба. Я с моим женихом сидели в большом нашем саду, который так любил Лев Николаевич: это был очень большой тенистый старинный парк из липовых широких аллей. Мы сидели на старой скамейке в одной из этих аллей, и он говорил мне о том, что надо кончать свадьбой наш затянувшийся вопрос о женитьбе. Это был давний вопрос, продолжавшийся уже лет двенадцать.

Мы давно были знакомы с семьей моего жениха С. В. Бибикова. Моей маме он очень нравился, она считала его очень хорошим человеком, но отцу моему он не нравился. Даже такой пустяк, как то, что Сергей Васильевич не знал французского языка, он ставил ему в укор и был очень этим недоволен<sup>8</sup>. Вообще он имел какое-то совершенно непонятное предубеждение против него. А между тем Сергей Васильевич всем очень нравился и пользовался всеобщей любовью и большой популярностью.

Вообще с моим отцом было очень трудно, идти против его желания, и я склонялась, уступала (ему) и отказывала своему жениху, но мы продолжали быть в хороших отношениях. Хотя ездить к нам в дом ему положительно нельзя было, так плохо принимал его мой отец, и нам приходилось видаться с ним в саду и назначать там свидания, о которых всегда знала моя мать. Эти свидания получались очень красивыми: в аллеях

так называемого «английского сада», где дорожки были узкие и исключительно только из берез, которые вели к калитке, выходящей в поле. Я, гуляя по этим аллеям, вдруг замечала, что путь мой перегорожен сплетенными ветками берез, растущими по бокам аллеи. Я брала эти сплетенные ветки, распутывала их, и на каком-нибудь стебле замечала, что кора счищена, а на нем написано «буду такого-то числа в таком-то часу». Свидания у нас назначались всегда в 5 часов вечера.

Я всегда берегла эти кусочки берез с надписями у себя в комодке, и когда мы уже были женаты, любили с мужем смотреть на них, вспоминать прошлое.

И вот Сергей Васильевич стал все чаще и больше настаивать, чтобы я выходила за него замуж, и я в конце концов за столько лет этого неразрешимого вопроса измучилась.

Идти против отца, поднимать бурю его неудовольствия было очень трудно, и еще задерживало меня то, что с моим замужеством я должна буду расстаться с мамой, что мне очень не хотелось, но было жалко и Сергея Васильевича. Я чувствовала, что мы бы жили с ним очень хорошо.

Когда я вернулась из сада домой, я нашла у нас сидящей за обедом только что приехавшую из Ясной Поляны Татьяну Львовну<sup>9</sup>. Я ей рассказала, что только что сейчас видела своего жениха, и что мне делается все тяжелее вся эта путаница нашей с ним свадьбы. Таня как-то вошла в мое положение и сказала: «Надо папá поручить это дело, чтобы он повлиял на дядю Сережу, и он даст свое согласие на вашу свадьбу».

Татьяна Львовна пробыла у нас дня два и уехала с тем, что она переговорит со Львом Николаевичем и привезет его сюда.

И вот в условленный день, к вечеру, приезжает опять Татьяна Львовна, но уже со Львом Николаевичем, моей двоюродной сестрой Машей, Машей Кузминской<sup>10</sup> и еще с кем-то, теперь уже не помню. Так что народа собралось много.

Мы в это время сидели в большом сарае, отведенном для жилища кумысников и для их кумыса, который в это лето папá выписал из Самары.

Мы часто ходили туда к ним посидеть. В этом сарае у них было необыкновенно прохладно, чисто, приятно, там пахло кумысом, и приятно было там пить этот пенящийся кисловатый напиток, подаваемый в деревянном большом ковше, только что почерпнутый из большой чистой кадки, накрытой большой белой салфеткой. Сами эти башкиры были очень приятные люди. Их было трое: пожилая женщина София, заведовавшая кумысным делом, маленькая ее дочь, очень хорошенькая девочка лет десяти, со множеством туго заплетенных черных косичек с вплетенными в них серебряными монетами, и черными блестящими глазами — Амина, и племянник Софии, юноша лет 18-ти Абдерашид<sup>11</sup>.

Сарай был ярко освещен, посреди его стоял большой стол,

на столе большая лампа, от которой и шел весь этот свет, и блестящий большой самовар, и на блюде множество баранок.

Татьяна Львовна и приехавшие с ней гости уселись все вокруг стола пить чай.

Сергей Васильевич, уже извещенный о дне приезда Льва Николаевича, сидел тут же, рядом со мной за столом, недалеко от входной двери сарая, и что-то говорил мне, смеялся и вообще чувствовал себя возбужденным и взволнованным. Я сидела, слушала, что он говорит, и смотрела из светлого сарая в широкие темные открытые ворота. Вдруг из темноты в освещенном сарае показался Лев Николаевич. Я никак не ожидала, что он тут, так близко. Мы встали, начали здороваться с ним, я ему представила своего жениха. Лев Николаевич, здороваясь с ним, пристально смотрел ему в глаза, точно проникал в него. Но выражение его лица было серьезное, и он почти сейчас же положил свою руку на мою и увел меня из сарая, и там в темноте, где только падал свет из сарая, серьезно и почти с каким-то страхом и удивлением сказал мне: «Ведь ты его совсем не любишь, я долго смотрел на вас, на тебя и на него. Ты его не любишь, зачем же тогда поднимать всю эту историю», — и он пристально посмотрел на меня. Я сказала, что он очень хороший, что я его давно знаю, и что последнее время мне стало очень тяжело и хочется поскорее решить этот уже надоевший мне вопрос. Тут кто-то пришел, и Лев Николаевич с ним ушел.

Позднее вечером все собрались в большой гостиной, где помещались семь столов, два очень больших круглых из красного дерева и остальные из орехового дерева, очень красивые, четыре дивана и множество мягких больших кресел и четыре ярко горевших лампы. Народа собралось порядочно: папá, мамá, нас трое сестер, мой жених, Лев Николаевич, Татьяна Львовна, Мария Львовна, Маша Кузминская и еще кто-то. Все говорили, смеялись, разговор, как всегда, когда мы общались с Толстым, был веселый, оживленный. Отец мой был в веселом, миролюбивом настроении и с моим женихом обошелся благодушно. Лев Николаевич уже немного успел поговорить с ним, и на отца хорошо подействовал хороший отзыв Льва Николаевича о Сергее Васильевиче. Это заставило моего отца немного поколебаться в своем мнении о нем.

Мы сидели с Сергеем Васильевичем, моей мамой и Марией Львовной в отдалении, у маленького столика, и я замечала, что Лев Николаевич часто смотрит в нашу сторону. Марию Львовну кто-то позвал, мамá тоже отошла куда-то, и Лев Николаевич тихо подошел к нам, посмотрел на меня и на Сергея Васильевича, добро улыбнулся нам и сказал: «Долго же вы решаете судьбу свою. Мне сказали, что это у вас уже более десяти лет так продолжается, это очень хорошо, вы прошли большое испытание и имели время себя хорошо проверить. Что же — надо приходиться к концу и действовать более энергично». И он

опять добро и ласково улыбнулся Сергею Васильевичу, а меня движением головы и взглядом отозвал за собой и тихо сказал, ласково смотря мне в глаза: «Ты знаешь, что я думал о тебе, и, что хочу тебе сказать, что возможно это очень хорошо, что ты его так спокойно любишь. Часто самые счастливые браки бывают, когда одна сторона меньше любит, чем другая, брак бывает ровнее, спокойнее. Мне твой жених кажется хорошим человеком, насколько это можно судить по первому впечатлению, у него добрые глаза и очень доброе выражение лица, когда улыбается. Если хочешь, я поговорю с Сережей о тебе».

На другой день Лев Николаевич говорил с папой, но отец, к сожалению, опять стал раздражаться. Только к вечеру, перед отъездом Льва Николаевича, он стал мягче относиться к этому вопросу.

Но все-таки окончательно это ничем не кончилось. Было уже одно хорошо, что Сергей Васильевич мог хотя изредка приезжать к нам в дом. Папá стал выносить его присутствие и даже иногда говорил с ним.

Прошло месяца три, папá уже тут стал заболевать своей, потом оказавшейся смертельной болезнью — раком.

Ему все труднее стало заниматься хозяйством, он перестал вести свои конторские счета, все больше сидел на своем большом бархатном кресле, много думал. И вдруг как-то неожиданно быстро согласился на нашу свадьбу.

Когда мы поженились, папá все больше стал привыкать к Сергею Васильевичу, был рад, когда он приезжал, много говорил с ним, а впоследствии так привык и ценил его, что уже дня не мог прожить без него.

Так и кончился с помощью Льва Николаевича наш долгий, двенадцатилетний роман с Сергеем Васильевичем.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975, с. 276.

<sup>2</sup> Бибикова М. С. Мои воспоминания. 1. Отец и дядя. 2. Тетя Маша. (1880—1900).— «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник». М.—Л., 1928, с. 102.

<sup>3</sup> Толстой С. Л. Очерки былого, с. 278.

<sup>4</sup> Это письмо, как и другие цитируемые письма, хранится в отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого.

<sup>5</sup> Толстой С. Л. Очерки былого, с. 278.

<sup>6</sup> В 1940 г. в «Автобиографии» М. С. Бибикова писала: «Я и мои две умершие сестры, Вера и Варвара, под влиянием Льва Николаевича Толстого с 1885 года резко переменили свою жизнь, перестали нарядно одеваться, старались отдаляться от веселья и легкомысленной праздной жизни. Стали изучать медицину, чтобы быть в состоянии приносить пользу больным в деревнях, где было очень мало медицинской помощи. Учили крестьянских ребят грамоте. Завели для них хорошую библиотеку. Ставили с ними спектакли — «Первый винокур» Толстого и другие пьесы. К нам приезжал Лев Николаевич и очень интересовался школой...» (Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого).



<sup>7</sup> Оболенская (урожд. Толстая) Мария Львовна (1871—1906) с мужем Николаем Леонидовичем Оболенским (1872—1934) жила в своем имении Пирогово по соседству с С. Н. Толстым.

<sup>8</sup> М. С. Бибикина вспоминала: «Мы, три сестры, с трехлетнего возраста говорили между собой и отцом исключительно на французском языке, который отец очень любил и сам превосходно говорил» (Отдел рукописей Гос. музея Л. Н. Толстого).

<sup>9</sup> Толстая (в замужестве Сухотина) Татьяна Львовна (1864—1950), старшая дочь Л. Н. Толстого.

<sup>10</sup> Кузминская (в замужестве Эрдели) Мария Александровна (1869—1923), племянница Л. Н. Толстого.

<sup>11</sup> Абдерашид Сарафов вскоре стал гражданским мужем Веры Сергеевны Толстой. Подробнее об этих семейных событиях см.: «Письма Л. Н. Толстого брату Сергею Николаевичу». — Новый мир, 1982, № 9, с. 208—209.

Ф. А. Страхов

## ДВЕ ПОЕЗДКИ В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

(Публикация Л. С. Дробат)

Автор публикуемых воспоминаний Федор Алексеевич Страхов (1861—1923), философ-идеалист, один из близких знакомых Толстого, его последователь, корреспондент и адресат. Он общался с Толстым в конце 80-х годов.

Родился Ф. А. Страхов в 1861 году в Тульской губернии, в имении Клекотки. Окончил гимназию, затем юридический факультет Московского университета. Некоторое время служил на железной дороге, затем заведовал одной из библиотек в Москве. Ежегодно летом уезжал с семьей в станицу Урюпинскую, на Дон, откуда адресовал свои письма Толстому. Издал три книжки в «Посреднике», был связан с этим издательством со дня его основания.

В 1892 году принял участие в оказании помощи голодающим крестьянам. Толстой направил тогда Страхова в деревню Муравлянка Скопинского уезда Рязанской губернии, где им было открыто семь столовых.

В 1905 году по поручению писателя он держал корректуру «Круга чтения». Толстой был очень доволен его работой, говоря, что Страхов работает основательно, хотя и медленно. Тогда же Страхов, беседуя с Толстым о «Недельных чтениях»<sup>1</sup>, предложил поместить в них рассказы Н. С. Лескова «Под рождество обидели» и «Христос в гостях у мужика», а также два рассказа своей сестры Л. А. Авиловой «Без привычки» и «Первое горе». Толстой поместил их в «Недельных чтениях», сократив и переделав. С усердием Страхов прочитывал корректуры «Круга чтения». Несколько его мыслей Толстой включил в «Круг чтения», значительно сократив и исправив их.

С 1907 по 1923 год Страхов участвовал в составлении и редактировании «Свода мыслей» Л. Н. Толстого<sup>2</sup>, задуманного В. Г. Чертковым еще в 1890-х годах как систематизированное собрание мыслей писателя, выбранных из его художественных и теоретических произведений, дневников, писем по таким вопросам, как наука, искусство, семья, государство и т. д. Толстой пользовался «Сводом» в июле — сентябре 1908 года при работе над «Новым кругом чтения».

Работа над «Сводом» глубоко трогала Толстого. 5 августа 1908 года он записал в дневнике: «Умилялся на Черткова и других друзей работу над сводом. И думаю, и сомневаюсь, что это стоит того. Но мне приятно — приятно это сплочение моего духовного я» (56, 142). Когда в июле 1907 года В. Г. Чертков привез неоконченный «Свод» Толстому в подарок (большой ящик с «ремингтонными» восемнадцатью томами<sup>3</sup>), Лев Николаевич очень обрадовался подарку. Чертков вспоминал позднее, что он «спросил его, одобряет ли он «Свод»? — Как же можно не одобрять, — ответил он, — вот это настоящая моя биография, биография моей мысли»<sup>4</sup>.

Именно на Ф. Страхова лежала основная нагрузка по составлению «Свода», участие Черткова ограничивалось большей частью тем, что он давал средства на эту работу. 30 августа 1910 года Страхов писал Толстому из станицы Урюпинской: «Я все продолжаю раскладывать листки «Свода», и программа этой раскладки из двух оставленных Вами страничек (31 отд.) разрослась теперь со всеми ее над- и под-подотделами в 76 страниц большого формата... Листков мною уложено в соответствующие обложки более 12 тысяч и сейчас лежат еще неразложенными более 2-х тысяч...»<sup>5</sup>.

Л. Н. Толстому очень импонировали личные качества Страхова: ясность мысли, доброта, веселость и простота. В записях Д. П. Маковицкого неоднократно упоминается имя Ф. А. Страхова, приводятся отзывы Л. Н. Толстого о нем, всегда положительные, как, например, следующий: «Какой человек Федор Алексеевич! Самого скромного мнения о себе, смиренный, глубокие, образованность, доброта! Как замечательно пишет...»<sup>6</sup>.

Толстой весьма высоко оценивал статьи и книги, написанные Ф. Страховым. Он делил всех философов на тех, кто думает для публики, и самобытных мыслителей, думающих для себя. К последним относил и Ф. А. Страхова. Но Страхов не имел самобытного мирозерцания, он был скорее интерпретатором мыслей Л. Н. Толстого, последний, читая работы Страхова, легко узнавал близкие и дорогие себе мысли.

Как один из свидетелей, подписавшихся под завещанием Толстого, Ф. А. Страхов принимал участие в событиях, связанных с его составлением в 1909 году. В письме Страхова в редакцию «Петербургской газеты», датированном 2 ноября 1911 года, он так объяснял необходимость опубликования своих записок: «На опубликование предлагаемого извлечения из моих записок я решился из сознания долга рассказать то, что мне лично известно об этом предмете, как одному из непосредственных участников его...»

Так как мое участие в составлении названного завещания потребовало от меня двух столь памятных для меня поездок из Москвы в Ясную Поляну, то и материал моих воспо-

минаний об этом предмете я расположил тогда же в двух нижеследующих главах соответствующего названия»<sup>7</sup>.

О реакции, которую вызвали опубликованные в первую годовщину со дня кончины Толстого записки Ф. А. Страхова, со стороны двух враждующих лагерей, С. А. Толстой и В. Г. Черткова, вспоминает секретарь писателя В. Ф. Булгаков: «И хотя это было уже после кончины Льва Николаевича, чертковская группа все же, конечно, пришла в отчаяние: ведь опубликованием своей беседы с Толстым Страхов совершенно опровергал утверждение этой группы, что она якобы не имеет никакого отношения к составлению Львом Николаевичем завещания, будто Толстой сам и только сам хотел составить такое, и притом тайное, скрытое от семьи завещание.

«Дурак!» — говорил, наверное, в своей душе хитроумный Чертков, читая статью Страхова.

— Дурак! — уже вслух сказала София Андреевна Толстая, читая при мне ту же статью, причем в ее устах это слово было выражением торжества («враг» проболтался), между тем как в устах Черткова оно было бы ничем иным, как выражением досады и отчаяния.

На самом же деле Страхов выступил в этом эпизоде только человеком абстракции, далеким от жизни и ее тревожностей. И ошибка «чертковцев» состояла именно в том, что они проведение хитроумной акции поручили философу-младенцу»<sup>8</sup>.

Воспоминания Ф. А. Страхова были опубликованы в «Петербургской газете» в 1911 году 6 ноября.

#### ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА

Поезд, с которым я выехал в Ясную Поляну, вышел из Москвы в 12 ч. 15 минут ночи в понедельник, 26 октября 1909 года. Софья Андреевна, присутствие которой в Ясной Поляне было крайне нежелательно для того дела, по которому я ехал, должна была, по моему предположению, находиться еще в Москве, где я ее встретил. Дело это, как это выяснилось на происходившем в моем присутствии предварительном совещании В. Г. Черткова с присяжным поверенным Н. К. Муравьевым, состояло в следующем. Так как оказалось, что опубликованное Львом Николаевичем в 1884 году в газетах заявление об отказе его в общественную пользу от права литературной собственности на все его писания, еще не изданные до 81-го года, не имеет юридической силы, то ввиду преклонного возраста Льва Николаевича явилась неотложная необходимость обеспечить исполнение выраженной в этом заявлении воли Льва Николаевича посредством более прочного юридического акта. По совещании с Владимиром Григорьевичем Лев Николаевич решил выразить эту свою волю в духовном завеща-

нии. И вот такое завещание и было им составлено во время его пребывания в Крёкшине. Но так как это оказалось по его отъезде, по русским законам завещать что бы то ни было можно не всему человечеству, а только определенному лицу, а Лев Николаевич как раз и избегал этого последнего, то пришлось завещание переделывать.

Оставалось одно: выбрать такое лицо или группу лиц, в честности и исполнительности которого или которых Лев Николаевич был бы вполне уверен, и на имя такого или таких лиц написать завещание. Только вот вопрос: кого выбрать ради такой цели? Своих семейных? Своих детей? Но в том-то и дело, что некоторые из них как раз и заинтересованы в противоположном тому, чего хочет Лев Николаевич, а именно — в присвоении себе права собственности на то, что Лев Николаевич хочет сделать достоянием всего человечества.

И так как одни из семейных более или менее откровенно высказывались за это личное присвоение, а другие — против него, то со стороны Льва Николаевича естественно было выделить имена тех своих детей, в преданности и исполнительности которых он не должен был сомневаться.

После ночи железнодорожного пути я утром высадился на станции Засака и, к удивлению своему, встретился там с Софьей Андреевной, возвращавшейся с тем же поездом из Москвы. До Ясной Поляны я дошел пешком и, оправившись после дороги, прямо пошел к Льву Николаевичу, куда меня направил с только что полученными с почты письмами домашний доктор Льва Николаевича Душан Петрович Маковицкий. Льва Николаевича там еще не было. Чувствуя некоторую неловкость своего появления в комнате Льва Николаевича без всякого доклада, я поспешил объяснить причину этого самому Льву Николаевичу, который не замедлил выйти из дверей своей спальни.

— Да, знаю, знаю,— сказал Лев Николаевич, здороваясь со мной,— садитесь вот сюда и рассказывайте...

Я в кратких словах передал Льву Николаевичу о необходимости составить формальное завещание о передаче прав литературной собственности определенному лицу или лицам и положил перед ним проект бумаги, прося прочитать ее и подписаться под ней, если Лев Николаевич согласен с ее содержанием. Лев Николаевич сейчас же принялся читать эту бумагу; но только он начал чтение ее, как отворилась дверь и вошла в комнату Софья Андреевна. По-видимому, не обращая никакого внимания на то, чем занят ее муж, она быстро подошла к нему с коробкой конфет из марципана и стала настойчиво требовать от него, чтобы он съел несколько конфет, мотивируя необходимость этого тем, что это хорошо от изжоги.

— Конфеты чрезвычайно полезны как детям, так и стари-

кам,— говорила она, продолжая настаивать на своем требовании.

— Да нет же, не хочу я сейчас конфет,— возражал Лев Николаевич, снисходительно улыбаясь жене.

Встретив решительный отказ мужа, Софья Андреевна протянула коробку ко мне. Я поторопился взять из нее, она тотчас же ушла, а Лев Николаевич стал продолжать прерванное чтение бумаги. Дочитав эту бумагу до конца, он тотчас же подписал под ее текстом, что согласен с тем, что в ней изложено, а затем, подумав, сказал:

— Тяжело мне всё это дело. Да и не нужно это — обеспечивать распространение своих мыслей при помощи разных там мер. Вон Христос — хотя и странно это, что я как-то сравниваю себя с ним — не заботился о том, чтобы кто-нибудь не присвоил в свою личную собственность его мыслей, да и не записывал сам своих мыслей, а высказывал их смело и пошел за них на крест. И мысли эти не пропали. Да и не может пропасть бесследно слово, если оно выражает истину и если человек, высказывающий это слово, глубоко верит в истинность его. А эти все внешние меры обеспечения — только от неверия нашего в то, что мы высказываем.

Сказав это, Лев Николаевич вышел из кабинета, а я, оставшись один, в раздумье отошел к окну и, глядя на усыпанную желтым листом траву лужайки, стал соображать, что мне делать дальше: возражать ли что-нибудь на его заявление или так и уехать ни с чем из Ясной Поляны?..

Когда Лев Николаевич вернулся в свой кабинет, во мне уже созрело твердое решение не оставлять это дело так, и, набравшись смелости, я обратился к Льву Николаевичу со следующими словами:

— Вы мне позволите, Лев Николаевич, высказать об этом деле свое мнение?

— Пожалуйста, я вас прошу об этом,— поспешил он мне ответить и, усевшись на своем кресле в углу, приготовился слушать.

— Я понимаю, Лев Николаевич,— начал я,— и вполне ценю ту высоту, стоя на которой вы обсудили это дело. Но понимать и обсуждать что-либо при свете открывшейся нам истины это — одно, и в этой сфере мы вполне свободны, а действовать — это совсем другое, потому что деятельность нашу нам всегда приходится соотносить с данными условиями времени и места. Вот вы упомянули о Христе. Ему действительно не надо было заботиться о беспрепятственном распространении своего слова. Но почему? Потому что он не писал и по тогдашним условиям гонимых гонимых за свои мысли не получал. А вот вы пишете и гонимых за свои писания получали и теперь ваша семья получает. Условия же нашего времени таковы, что если вы ничего не предпримете для обеспечения всеобщего пользования ваши-

ми писаниями, то этим косвенно поспособствуете утверждению прав частной собственности на них со стороны ваших семейных. Если же позаботитесь о передаче их по наследству, хотя бы в частную собственность, но зато такому лицу, для которого ваша воля, выраженная вами в 84-м году, будет священна, то как раз этим и предоставите их во всеобщее пользование. Я не скрою от вас, как нам, друзьям вашим, больно было выслушивать по вашему адресу те упреки, по которым выходило, что, вопреки своему отрицанию частной земельной собственности, вы все-таки взяли и перевели имение ваше на имя жены и детей. Точно так же больно будет выслушивать и то, что вот, мол, несмотря на то, что Толстой наверное знал, что заявление его 84-го года никакой юридической силы не имеет, все-таки ничего не предпринял для осуществления своего желания и тем самым снова сознательно поспособствовал переводу своей литературной собственности на своих семейных. Я не могу выразить, до чего больно будет друзьям вашим выслушивать это, Лев Николаевич, после вашей смерти при полном торжестве монополии ваших наследников на ваши писания в течение более 50 лет и притом при несомненном знании ваших взглядов на этот предмет...

— Аргумент веский! — ответил мне на это Лев Николаевич и прибавил при этом, что едет сейчас кататься верхом и что, хорошенько обдумав во время прогулки это дело, даст мне окончательный ответ по приезде домой.

Немного спустя Лев Николаевич уехал верхом. По возвращении он лег спать. Позже мы все вместе обедали в зале, и он, по обыкновению сидя по правую руку от Софьи Андреевны, которая, по-видимому, далека была от всякого подозрения насчет того, какое важное событие совершилось в это время у нее в доме, спокойно говорил о совершенно посторонних предметах и даже со свойственным ему благодушием отзывался шутками на веселость, передававшуюся ему с другого конца стола. Но как только кончился обед и Софья Андреевна вышла из залы, так он сейчас же пошел в свой кабинет и увел туда с собой Александру Львовну и меня.

— Я вас удивлю своим крайним решением,— обратился он к нам обоим с доброй улыбкой на лице.— Я хочу быть «plus royaliste que le roi»<sup>9</sup>. Я хочу, Саша, отдать тебе одной все, понимаешь? Все, не исключая и того, о чем была сделана оговорка в том моем газетном заявлении.

Мы стояли перед ним, пораженные как молнией этими его словами — «одной» и «все». Он же произнес их с такой простотой, как будто сообщал нам о самом незначительном приключении, случившемся с ним во время прогулки. «Я думаю, лучше и проще будет, если напишу все на одну тебя,— продолжал Лев Николаевич,— и это вполне естественно, потому что ты последняя из всех моих детей живешь со мной, сочувствуешь

мне и так много помогаешь мне во всех моих делах...»

— Ну, как сам знаешь, папá,— процедила сквозь зубы Александра Львовна.

— Тяжеленько тебе будет... А?..

— Что же делать!.. Я смотрю на это, как на свой долг...

— Но как же, Лев Николаевич? Какая же ваша воля относительно всех тех писаний, доходом с которых до сих пор пользовалась Софья Андреевна и которые она привыкла считать вашим подарком и потому своей собственностью? — невольно вмешался я с своим вопросом, не будучи в состоянии прийти в себя от неожиданного решения Льва Николаевича.

— Обо всем этом можно будет дать частную инструкцию Саше, и она уже от себя позаботится об исполнении моей воли; но в завещании пусть будет стоять «все» и «ей одной», — поспешил удовлетворить меня Лев Николаевич. — Что же касается неизданных моих сочинений «Хаджи-Мурат», «Фальшивый купон» и других, то я хотел бы, чтобы первая выручка с них была употреблена на... Это мое давнишнее заветное желание... Ну, да все эти мелочи и подробности ты обсудишь вместе с Владимиром Григорьевичем, — обратился он к Александре Львовне.

— Тяжело только тебе будет! — этими словами Лев Николаевич закончил начинавший, видимо, его тяготить разговор о наследстве.

Заметив это, мы с Александрой Львовной вышли в смежную с кабинетом комнату, в ту самую, в которой до этого жил и работал сосланный теперь секретарь писателя Николай Николаевич Гусев.

Оставшись вдвоем, мы долго и молча смотрели друг на друга удивленными глазами, причем ее близорукие глаза были как-то особенно круглы и выражали такую трогательную доверчивость ко мне в эту минуту, что я не мог удержаться, чтобы не поцеловать ее руку.

Некоторое время спустя Лев Николаевич принимал ванну и вышел в залу уже в то время, как мы сидели там за вечерним чаем. В отсутствии Льва Николаевича Софья Андреевна спросила меня, зачем я приехал. Так как, кроме вышеизложенного дела, у меня было еще другое дело, а именно, перевозка из Ясной Поляны кое-какого материала по «Своду» мыслей Льва Николаевича, составлением которого я занимаюсь вот уже третью зиму, а также я должен был представить на усмотрение Льва Николаевича проекты некоторых поправок, сделанных в его последней статье «Чингиз-хан» (после эта статья была названа «Пора понять») рукою Владимира Григорьевича, то я с легким сердцем сообщил ей о том и другом, разумеется, умолчав о главной моей миссии. Вскоре появился к чайному столу и Лев Николаевич после ванны, в халате. А через какой-нибудь час я уже ехал в поезде по направлению к Москве,



предварительно известив Владимира Григорьевича телеграммой об удовлетворительном исходе моих переговоров с Львом Николаевичем.

## ВТОРАЯ ПОЕЗДКА

Задача второй моей поездки в Ясную Поляну состояла в том, чтобы отвезти Льву Николаевичу для подписания, а лучше всего для собственноручного написания самый текст духовного завещания, заранее составленный Муравьевым. Вместе с текстом завещания я должен был привезти с собой для подписи и бумагу, которая была письменно одобрена Львом Николаевичем при первой моей поездке к нему и в текст которой были внесены некоторые поправки сообразно с последним, «крайним» его решением, как он выразился. Эта вторая поездка была сопряжена с большими затруднениями в сравнении с первой. Хорошо, как Лев Николаевич сам своей рукой переписшет и подпишет текст завещания, тогда, по заверению Н. К. Муравьева, достаточно будет подписей двух свидетелей, удостоверяющих, что Лев Николаевич совершал этот акт в здравом уме и твердой памяти.

А вдруг Лев Николаевич в этот день будет сам слаб и до того мало расположен к переписке целой страницы большого листа бумаги, что я не решусь даже заикнуться ему об этом. Тогда ведь дело это еще больше осложнится. Тогда, по требованию Муравьева, необходимы будут подписи не двух, а уже четырех или, по крайней мере, трех свидетелей, кроме моей подписи, как переписчика текста бумаги. Положим, свидетелей таких найти не трудно! Но не в этом и затруднения, а в том, как ввести их в яснополянский дом, не вызывая подозрения у Софьи Андреевны. Тогда решено было обратиться к содействию Александра Борисовича Гольденвейзера, которому как профессору музыки, занятому в консерватории в будни, вполне естественно явиться в Ясную Поляну, например, в следующее воскресенье, потому что он и без того имел обыкновение бывать у Толстых по воскресным дням и играть для них на рояле. Разумеется, А. Б. Гольденвейзер, уже заранее посвященный в наше дело, изъявил нам полное согласие в своем содействии, принял от меня заранее заготовленные мной бумаги, выслушал от нас с Владимиром Григорьевичем все необходимые наставления и вместе со мною сел на поезд, долженствовавший доставить нас на место в воскресенье утром 1-го ноября 1909 г.

В Ясную Поляну Александр Борисович явился один, выйдя из поезда в Засеке. Я же поехал до следующей станции Щекино, откуда прибыл на лошадях в телятинскую усадьбу Владимира Григорьевича, отстоящую от Ясной Поляны в трех верстах. Сделал я это для того, чтобы подготовить там лишних

свидетелей, которые могли понадобиться в том случае, если бы Лев Николаевич отказался от собственноручного писания текста заявления. В телятинской усадьбе я не застал управляющего Черткова, Петра Семеновича Анурина, который еще заранее был приготовлен Владимиром Григорьевичем в качестве запасного свидетеля: он еще с раннего утра уехал за другим свидетелем, Михаилом Васильевичем Булыгиным, и вместе с ним должен был поехать прямо в Ясную Поляну. Сделав распоряжение о том, чтобы в случае заезда Булыгина с Ануриным в Телятинки, их сейчас же направили в Ясную, я поехал на том же извозчике прямо в Ясную Поляну.

«Вот через несколько минут я буду уже в Ясной Поляне,— думал я, сидя в извозничьей пролетке, медленно везомой парой изморенных кляч по невозможно грязной дороге из Телятинок.— Что-то там теперь делается? Может быть, уже все готово и недостает только одной моей подписи! А может быть, понадобятся и те свидетели! Но как им туда явиться ни с того ни с сего? Да и мне как-то неловко показаться туда после такого малого промежутка. Вот я сейчас приеду и вдруг, тут же в передней, столкнусь с Софьей Андреевной! Что я ей скажу? Скажу формальную правду. Скажу, что приехал по поручению Черткова прямо в его усадьбу, но, не застав дома управляющего и узнав, что он возвратится только через несколько часов, решил приехать к вам, а управляющего просил тотчас по его возвращении прислать сюда же. Такое объяснение моего появления в Ясной Поляне, а за мной и управляющего, будет очень естественным. Что же касается Булыгина, то может же он как сосед появиться здесь вполне самостоятельно и независимо от нас». Так я думал, сидя в извозничьей пролетке и вместе с тем переживал чувства очень похожие на те, что вот приходится укрываться от Софьи Андреевны. Бррр! Мороз подирал меня по спине, когда я, вылезши из пролетки, отворял узкую, сдерживаемую упругим блоком, половинку входной двери в переднюю яснополянского дома.

— Лев Николаевич встал? — спросил я у незнакомого мне, нового помощника, Ивана Васильевича, здороваясь с ним.

— Встали и сидят в своем кабинете. У них там приезжий из Москвы... Как его?

— Гольденвейзер? — быстро подхватил я.

— Точно так. Они самые.

— А Софья Андреевна встала?

— Графиня еще не выходила.

Я вздохнул свободнее. Сняв пальто, я прошел в комнату Душана Петровича Маковицкого, оправился там после дороги и стал ждать зова Александра Борисовича, но, не дождавшись, поднялся по лестнице и вошел в залу. Там я застал за утренним чайным столом Александру Львовну и Варвару Михайловну Феокритову. Только что я поздоровался с ними, как вышел

от Льва Николаевича через гостиную Гольденвейзер и обратился ко мне с упреком, почему я так долго не являюсь, и с радостным сообщением, что Лев Николаевич своей рукой переписал весь текст завещания без единой пометки, и что дело только за мною, недостает моей подписи.

Я не помню, как очутился в кабинете Льва Николаевича, как поздоровался с ним. Но зато хорошо запомнил вид лежащего на его столе, свеженького, только что написанного столь знакомым мне его крупным размашистым почерком документа. Зная наизусть те немногие слова, которые я должен был подписать на бумаге, я спросил Льва Николаевича, где то перо и те чернила, которыми он писал.

— Вот еще что? — удивился Лев Николаевич на мою предусмотрительность и с улыбкой указал мне на то и другое. В это время возвратился в комнату Гольденвейзер, и я при нем и Льве Николаевиче сделал свою подпись. Когда я брался за перо, Лев Николаевич поочередно запер обе противоположные друг другу двери своего кабинета. Признаюсь, странно и необычно мне было видеть его в роли человека, принимающего предосторожности от непрошенных посетителей. Не умею выразить, какое облегчение я почувствовал, когда совсем готовый, драгоценный документ был свернут Гольденвейзером в трубку, и мы оба вышли из кабинета Льва Николаевича. Первой моей заботой после этого было то, чтобы предупредить появление уже не нужных свидетелей. Они могли быть уже на пути к Ясной Поляне, и поэтому я поспешил к ним навстречу все на том же извозчике, взятом мною из Щекина. Ко мне в пролетку подсела Ольга Константиновна Толстая, тоже посвященная в наше дело, которая таким образом явилась первой слушательницей моего рассказа о благополучно выполненной миссии.

Запасных свидетелей мы не только не встретили по дороге, но даже не нашли их по своему приезду в телятинской усадьбе. Они явились туда еще час с лишним спустя после нашего приезда... Вечером я снова приехал в Ясную Поляну, но уже в качестве простого гостя и, как ни в чем не бывало, обедал там, затем наблюдал шахматную игру Льва Николаевича с Гольденвейзером и Булыгиным, сопровождавшим нас с Ольгой Константиновной при нашем возвращении из Телятинок и, наконец, около 11 часов, после вечернего чая, покинул яснополянский дом. Прощаясь с Софьей Андреевной, я внимательно всмотрелся в ее лицо: полное спокойствие и радушие по отношению к отъезжающим гостям было настолько ясно на нем выражено, что я нимало не сомневался в ее полном неведении.

Я уезжал с приятным сознанием тщательно исполненного долга, долженствующего иметь несомненные исторические последствия. Только маленький червячок копошился где-то

внутри меня; то были угрызения совести, причинявшие мне некоторое беспокойство за конспиративный характер наших действий. Разумеется, документ мы взяли с собой в Москву, подальше от тех глаз, которые не должны его видеть до самой смерти Льва Николаевича. Такова воля самого Льва Николаевича.

8 ноября 1909 года.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> В «Круг чтения», по замыслу Л. Н. Толстого, кроме отдельных мыслей мудрых людей, вошли отрывки из художественных произведений и статей. Толстой называл их «Недельными чтениями», считая, что их (по числу недель в году) следовало «приготовить» пятьдесят два.

<sup>2</sup> Неосуществленное издание. Машинописный экземпляр «Свода» хранится в Москве, в отделе рукописных фондов Государственного музея Л. Н. Толстого.

<sup>3</sup> Машинописный экземпляр, отпечатанный на пишущей машинке системы «Ремингтон».

<sup>4</sup> Чертков В. Об издании полного собрания мыслей Л. Н. Толстого. М., 1915, с. 19.

<sup>5</sup> Семнадцать неопубликованных писем Ф. А. Страхова к Л. Н. Толстому (1897—1910) хранятся в отделе рукописных фондов Государственного музея Л. Н. Толстого.

<sup>6</sup> Лит. наследство. У Толстого. 1904—1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, т. 90, кн. 1, с. 366.

<sup>7</sup> Петербургская газета, 1911, 6 ноября.

<sup>8</sup> Булгаков В. Ф. О Толстом. Тула, 1978, с. 323.

<sup>9</sup> Думаю, под словом «гоі» Лев Николаевич подразумевал того самого Владимира Григорьевича Черткова, которому он поручил составить совместно с адвокатом Н. К. Муравьевым текст своего завещания, того Черткова, которого вскоре после смерти Льва Николаевича так беспощадно обвинили в изнасиловании его воли в деле составления завещания и которому, как я хорошо это знаю, и во сне не снилось «крайнее решение», столь внезапно объявленное нам с Александрой Львовной в тот незабвенный для нас день 26 октября 1909 года. (Прим. Ф. А. Страхова.)

В. Ф. Булгаков

## ДОМ ТОЛСТОГО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(Публикация Н. А. Никитиной)

Последний личный секретарь Льва Толстого Валентин Федорович Булгаков (1886—1966) прожил долгую и яркую жизнь. Молодым студентом он появился в Ясной Поляне в последний год жизни писателя и с тех пор навсегда остался верен идеям великого гуманиста.

Впоследствии В. Ф. Булгаков был не только талантливым мемуаристом, биографом и популяризатором творчества Толстого, но и высокопрофессиональным музейным специалистом, внесшим значительный вклад в становление и развитие советского музееведения. Много сил он отдал сохранению яснополянского мемориала.

В 1925—1927 годах, в связи с предстоявшим в 1928 году знаменательным юбилеем — столетием со дня рождения Толстого, в Ясной Поляне производились крупные ремонтно-реставрационные работы. Предстояло восстановить интерьеры толстовского дома точно в том виде, какими они были в момент ухода Толстого из Ясной Поляны в 1910 году.

Ученый совет яснополянского музея обратился в феврале 1927 г. к В. Ф. Булгакову<sup>1</sup> с просьбой детально описать внутренний облик комнат дома Толстого, на что Булгаков откликнулся обширным описанием толстовских интерьеров. Это описание, наряду с указаниями еще живших членов семьи писателя, легло в основу экспозиции дома писателя, существующей доныне.

Письмо В. Ф. Булгакова публикуется со значительными сокращениями по подлиннику, хранящемуся в архиве музея-усадьбы «Ясная Поляна». Имеющиеся в нем рисунки-схемы опущены.

«В Совет Яснополянского музея

Прага, 4 апреля 1927 <года>

Мне доставило большое удовольствие получение Вашего письма от 3 февраля, как доставляет удовольствие и отвечать на него.

[...] Я очень приветствую Вашу счастливую мысль вернуть-

ся, наконец, именно к 1910 году, остановиться именно на этом последнем периоде в жизни Льва Николаевича при восстановлении исторического вида комнат. **Только это решение правильно.** (Здесь и далее подчеркнуто автором.— Н. Н.). При Толстом все менялось органически, жило, отражая на себе и его жизнь, но раз он ушел, ушел из дома и ушел из земной жизни — все застыло и должно быть сохранено именно в том виде, как оно сложилось в этот последний момент.

Вы просите указаний о трех комнатах, но позвольте мне расширить мой ответ, сделать некоторые общие указания и коснуться также некоторых других комнат.

То, что в течение десяти и более лет вдова Льва Николаевича и частью его семья и близкие продолжали обитать в доме и свободно пользоваться им для своих нужд, как частным и принадлежащим им помещением, сильно исказило исторический вид дома. Некоторые предметы (как вольтеровское кресло и [...] кресла вокруг круглого стола в зале, у которых изнасилась обивка) были испорчены и в своем первоначальном виде уже потеряны навсегда. (Об этом, собственно, уже не стоит и говорить.) Другие предметы были переставлены. Наконец, третьи привнесены в дом.

Из привнесенного вновь наибольшие изменения в исторический вид дома внесли: 1) перевозка Софьей Андреевной со складов из Москвы значительной части мебели, стоявшей раньше в Хамовническом доме в Москве; 2) перенос ею же целого ряда книжных шкафов из «Кузминского»<sup>2</sup> флигеля в дом.

Перейдем к отдельным комнатам. (Для облегчения самого себя и для удовольствия вспомнить всю милую мне Ясную Поляну, позвольте мне идти чередой даже не по некоторым, а по всем комнатам дома Льва Николаевича и делать мои указания, сравнивая положение 1910-го года с тем положением, какое я наблюдал в последний раз, кажется, весной 1921 года. Я [...] буду счастлив, если мои заметки помогут внести и дальнейшие исправления в исторический вид комнат момента «ухода Толстого».)

1. **Передняя.** Тут, кажется, в 1921 году почти все было в порядке. Шкафы со старинными книгами: два — против входа и один — у лестницы наверх; зеркало налево от входа; вешалка направо от входа; стойка для тростей и зонтов в уголку у лестницы. Но [...], кажется, был убран широкий желтый деревянный диван, приставленный к двум шкафам против входа. Под этим диваном стоял (стоит ли?) длинный ящик с шарами и молотками для крокета. И, почти наверное, был убран также низкий и широкий шкаф со старинными ружьями: он стоял налево от входа в «лакейскую», т. е. направо от входа в «комнату с бюстом». Софья Андреевна, кажется, перенесла его именно в эту «комнату с бюстом». **Это все надо восстановить.**

На одном из шкафов в передней Лев Львович водрузил свою работу: гипсовую голову Ильи Васильевича<sup>3</sup>. Так как это было сделано после смерти Льва Николаевича, то голову нужно убрать.

2. **Площадка лестницы.** Здесь, над лестницей, в простенке между окнами, Софьей Андреевной или, вернее, Львом Львовичем, повешен портрет Андрея Львовича — неоконченная работа художника Орлова<sup>4</sup>. Его нужно убрать. Надеюсь, что занимают прежние места: книжный шкаф налево от входа в гостиную и маленький желтый буфет, направо от того же входа. Вспоминаю, что, кажется, по совету Грузинского<sup>5</sup>, Софья Андреевна повесила здесь какие-то портреты (Голицыных), принесенные из флигеля. Если это так, то их надо убрать.

[...] 3. **Зал.** Тут меня больше всего оскорбляли в 1921 году<sup>6</sup>: 1) безобразная электрическая люстра, повешенная над большим столом, с очень сильными лампочками, и днем, и особенно вечером, совершенно нарушавшая гармонический вид комнаты, и вечером обращавшая ее из милого интимного яснополянского зала, где Толстой за чаем, бывало, читывал и пересказывал своим близким рассказы Семенова<sup>7</sup>, прямо в какой-то ресторан. 2) злился я на... невинные **коричневые** венские стулья, привезенные Софьей Андреевной в 1912, кажется, году из Москвы и поставленные ею, в несоразмерном количестве, в зале, вместо удаленных оттуда «старых», стоявших при Льве Николаевиче, **желтых** венских стульев. Это — ужасная несурезица. Она лишает зал прежней простоты, вносит разноголосицу, так как ведь около маленького круглого столика в углу направо стоят по-прежнему простые **желтые** диванчик и кресла. Лев Николаевич за обеденным столом сидел, первым от хозяйки направо, тоже на **желтом** кресле: оно имеет дыру в сетке и отмечено надписью под сиденьем рукою Софьи Андреевны; это кресло надо поставить именно около обеденного стола [...], а не в стороне от него.

Далее о зале. Бюст Софьи Андреевны (работы Льва Львовича), хотя и сделан уже в 1910 году, но при жизни Льва Николаевича; на лице Софьи Андреевны — та драма, которая привела к уходу Льва Николаевича, — и этот бюст должен быть оставлен в зале. Но, помнится, этажерка, на которой он стоит, стояла в 1910 году не в углу, за малым роялем, а у двери из зала в гостиную, направо. Пусть это вспомнит [...] И. В. Сидорков. Тут же, у окна, стоял четырехугольный желтый стол с журналами и газетами, а на окне, за ним, стояла клетка с канарейкой. Граммофон (привезенный в 1910 году П. А. Сергеев)<sup>8</sup> стоял на маленьком столике между **большим** роялем и «вольтеровским» креслом Льва Николаевича. После его переставили к малому роялю, к входу в зал с лестницы. Это надо исправить.

Боюсь, что [...] тяжело будет решиться, но думаю, что и

это должно быть сделано: прелестные полуовальные «горчаковские» столики с инкрустацией отсутствовали в Ясной Поляне при жизни Льва Николаевича, по крайней мере в 1910 году, и были привезены Софьей Андреевной после смерти Льва Николаевича. Их надо удалить.

[...] На малый рояль в зале надо положить большую серую книгу с газетными вырезками за 1910 год (т. е. последнюю при жизни Льва Николаевича), веденную Софьей Андреевной. Эта книга всегда лежала здесь, и Софья Андреевна с гордостью часто показывала ее гостям Ясной Поляны. Тут же лежала папка с оригинальными картинами и рисунками русских художников, кажется, исключительно «передвижников», преподнесенная художниками Льву Николаевичу, если не ошибаюсь, в 1908 году, по поводу его 80-летия. Тут же стоял метроном.

[...] Особо надлежит, по-моему, охранять в зале кушеточку Льва Николаевича, не позволяя на нее никому садиться или ложиться [...]. С кушеточкой этой у меня неразрывно связан образ Льва Николаевича, который вечерами часто и сидивал на ней, слушая музыку и плача при этом. Софья Андреевна, в последние годы своей жизни, слабая, больная [...] тоже часто леживала и иногда, во время беседы, засыпала от слабости на этой кушеточке... Она тоже имела на это неотъемлемое право... Я бы хотел, перед смертью, полежать один раз на этой кушеточке...

На подзеркальнике старого зеркала, стоящего в левом простенке стены, выходящей в парк, стоял и, конечно, стоит и теперь, запыленный гипсовый бюстик Льва Николаевича (работы Трубецкого)<sup>9</sup>, по бокам его стояли высокие, неуклюжие бокалы для цветов. На подзеркальнике правого зеркала лежала (лежит ли?) «книга гостей», роскошное издание, календарь, куда каждый вписывал что-нибудь в день своего рождения. Там были автографы Льва Николаевича, Танеева, Токутоми<sup>10</sup>, семейных Льва Николаевича и других.

[...] 4. Гостиная. Эта комната подвергалась ужасным превращениям после смерти Льва Николаевича. Тут жила Варвара Михайловна Феокритова<sup>11</sup>. Тут жил и болел Д. П. Маковицкий<sup>12</sup>. Мебель была переставлена, частью унесена. Картинки на стенах перевешаны. А, между тем, эта комната очень важна. Лев Николаевич часто принимал здесь своих посетителей. Он всегда проходил через эту комнату, выходя к чаю, к обеду, выходя на прогулку. Через нее вели к нему в кабинет трепещущих гостей из зала. Здесь, сидя на кушеточке, он раздвигался на ночь. Иногда отдыхал на кушеточке днем.

Я бы хотел на несколько мгновений очутиться в этой комнате: я ее помню, сравнительно, очень хорошо, всегда страдал об ее искажении и запущении и, наверное, сейчас указал бы в ней все отступления от порядка 1910 года. Ведь через эту комнату Лев Николаевич проходил, уходя из Ясной Поля-



ны [...]. В письме трудно все указать, так как в этой комнате много мелких предметов. Скажу, что могу. Прежде всего, надо восстановить здесь вид **гостиной**. Диван должен перестать быть (конечно, уже перестал?) постелью. Он, наверное, здорово ободрался! Перед диваном должен стоять овальный стол со скатертью, с лампой. Под лампой стояли, на деревянной подставке, листки «Мыслей мудрых людей на каждый день». Вокруг стола должны быть поставлены кресла того же ассортимента, что и диван. Помню, в 1921 году, когда вся гостиная была разорена, я видел эти кресла **внизу, в бывшей комнате няни, где жил тогда со своей супругой бухгалтер Витя Щеглов**, — время правления Н. Л. Оболенского<sup>13</sup>. Я возмущался, плакал внутренне, но ... вмешаться, помочь дому «не имел права». Так вот, эти кресла, стиль 80-х годов, обитые полосатой шелковой материей, надо все собрать, спасти и поставить в гостиную.

В гостиной стоял письменный столик Софьи Андреевны с разными фотографиями (помню фотография Татьяны Львовны, Сергея Львовича и Ильи Львовича с детьми стояла там). На столе всегда лежал бархатный малиновый бювар Софьи Андреевны, с вышитыми желтым шелком ее инициалами и графской короной наверху. При входе в гостиную с лестницы, тотчас налево, стоял стеклянный шкаф с негативами в коробках и с другими фотографическими материалами Софьи Андреевны. Подальше шкафчика, тоже налево, углом, стояла кушеточка [...] На подзеркальнике зеркала стояли, под стеклянным колпаком и без него, разные маленькие, иногда уродливые статуэтки Льва Николаевича.

Порядок картин и портретов на стенах укажу, когда приеду в Россию. Иначе мое письмо разрастется до 1 тома.

**5. Кабинет Льва Николаевича.** Здесь, в общем, все в порядке. Но надо: непременно вернуть от Черткова<sup>14</sup> увезенный им после смерти Льва Николаевича раздвижной столик, на котором Лев Николаевич **всегда** писал в последний год жизни, и поставить у старого желтого кресла в углу (между креслом и большим письменным столом); 2) просить А. Б. Гольденвейзера<sup>15</sup> вернуть когда-то им подаренную Льву Николаевичу и затем унесенную после его смерти машинку для чинки карандашей и поставить ее на круглом столике около желтого кресла в углу; 3) [...] сделать новый холщовый занавес на все огромное окно-дверь в кабинете, а старый, подлинный занавес оставить спокойно висеть в сторонке, так как от употребления он треплется и выгорает на солнце, и через 50—60 лет обратится в тряпье.

**7. Комната Софьи Андреевны.** (О которой Вы просите.) Тут мне очень трудно писать: 1) потому, что в этой комнате, как в гостиной, много мелких предметов, фотографий на стенах и т. д. и 2) потому, что я не знаю тех изменений, какие были

произведены в этой комнате ее случайными жильцами или, вернее сказать, жилицами (я слышал, что такие были) после смерти Софьи Андреевны. При мне комната эта была в порядке. Поэтому я ограничусь лишь приведением общего плана комнаты. Разумеется, эту комнату **нужно** сохранить в ее неприкосновенном виде. Она очень интересна.

Было ли изменено расположение портретов, фотографий? Писать об этом невозможно, разрешите посмотреть по возвращении в Россию. О большой иконе, висевшей направо в углу, Софья Андреевна не раз говорила мне, что это была **чудотворная** икона и висела она где-то не то на воротах, не то на перекрестке двух дорог; один из власть имевших предков Льва Николаевича снял ее с ее места, заменил другой, а оригинал присвоил себе.

8. **«Ремингтонная».** [...] Эта комната (разделенная стеной со спальней Льва Николаевича) называлась обычно «ремингтонной». Тут работала и писала на ремингтонах В. М. Феокритова. Тут жили секретари Льва Николаевича: Ю. И. Игумнова, Гусев<sup>16</sup> и в 1910 г. — я. Это была, так сказать, «главная военная канцелярия», откуда разносилось в письмах и книгах «зловредное» учение Льва Николаевича по всему миру. Отсюда отправлялась почта. Здесь запаковывались посылки с книгами. Лев Николаевич очень часто заходил в эту комнату дать поручение секретарям, поглядеть на их работу, проверить и подписать свои, переписанные начисто на ремингтоне письма и т. д. Иногда он запросто беседовал здесь со своими друзьями. Помимо кабинета Льва Николаевича, «ремингтонная»-то и была главным пунктом «толстовства» в Ясной Поляне. Я считаю, что эта комната, за ее характерность, должна быть восстановлена.

[...] Надо еще восстановить прежнее расположение картин. В 1910 году было так: 1) «Ян Гус на костре» (подарок чешского общества «Славия») висел над невысоким шкафом у окна, налево от входа из библиотеки; 2) два пейзажа масляными красками в золотых рамах висели над двумя шкафами на той стене, где печка [...] 3) прямо над диваном, помнится, висел большой фотографический портрет Льва Николаевича (кажется, Шерера-Набгольца), а также фотография — группа со Львом Николаевичем, где, кроме жены и семьи, имеются Маклаков, С. Д. Николаев, «Митя» Кузминский<sup>17</sup> и другие.

9. **Библиотека.** Отсюда лучше удалить неплохой большой бюст Льва Николаевича и бюст старичка Александра Петровича (работы Л. Л. Толстого), так как оба эти бюста сделаны и поставлены сюда уже после смерти Льва Николаевича. Стол в библиотеке стоял не боком, как его поставила Софья Андреевна, а длинной стороной к окну. На столе стояли: подставка для чернильницы, склеенная из деревянных, выпиленных лобзиком частей, и гипсовая статуэтка Льва Николаевича (работы

Гинцбурга<sup>18</sup>, с палочкой). На одном из шкафов стояла гипсовая фигура лошадки. Очень бы стоило восстановить здесь, за шкафом, так называвшийся, «уголок Марьи Александровны», т. е. М. А. Шмидт<sup>19</sup>, ночевавшей там во время своих приездов в Ясную Поляну. Там спали и другие гости.

10. **«Комната с бюстом»** (бывший кабинет Льва Николаевича). Не знаю, какие планы существуют насчет этой комнаты. Думаю, что едва ли можно восстановить ее в виде кабинета Льва Николаевича, так как тогда придется делать копии вещей (стола и т. д.), а мне почему-то кажется, что лучше от всякого «музейничества» и выставки копий в Ясной Поляне отказаться, а лучше сохранить все так, как было к моменту ухода Льва Николаевича. В 1910 году это была исключительно комната для гостей. Лев Николаевич часто разговаривал здесь со своими посетителями, особенно с простыми «толстовцами» и людьми из народа, которым вход наверх, в царство Софьи Андреевны, был затруднителен.

[...] 11. **Комната Д. П. Маковицкого.** (Проходная между передней и комнатой «под сводами».) О ней Вы спрашиваете. Отсюда тоже надо взять один или два узкие желтые стеклянные шкафы с книгами, перенесенные сюда позже Софьей Андреевной из «Кузминского дома» (в одном из них лежат старые, едва живые книги, вынесенные Софьей Андреевной тоже уже после смерти Льва Николаевича из скотного двора, куда они были брошены и пролежали там много лет; среди этих книг есть одна, принадлежавшая матери Льва Николаевича с соответствующей надписью на титуле).

[...] 12. **«Комната под сводами».** [...] Может быть, Вы восстанавливаете здесь прежний, 90-х годов, кабинет Льва Николаевича, что мне представляется очень трудным, так как пришлось бы или брать вещи из верхнего кабинета (диван, стол), что невозможно, или довольствоваться копиями, что скучно. И, может быть, было бы «веселее» восстановить здесь девическую комнатку, с линолеумом и т. д. [...] младшей дочери Льва Николаевича [...]. А историю комнаты можно при этом рассказывать (кстати, тут жилали Ге, Л. Андреев и др.).

[...] О спальне Льва Николаевича я не говорил потому, что там все в порядке.

Последний мой совет: не жалеть удалять ненужные, хотя бы и ценные, вещи. Надо, действительно, восстановить картину дома такой, как она была,— восстановить **впечатление целого**: простого, ясного, уютного, ничем особым не загроможденного... У Ясной Поляны, действительно, было **свое лицо**. И важно для каждого почитателя памяти великого хозяина Ясной Поляны увидеть ее лицо таким, каким оно было.

Вот все, что пока, издавека, я мог сказать в ответ на вопрос Совета.

Шлю сердечный привет [...] всем, знакомым и незнакомым, сотрудникам и обитателям Ясной Поляны!

**Вал. Булгаков.**

Р. С. Пожалуйста, известите меня о получении письма».

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> В. Ф. Булгаков с семьей проживали тогда в Праге (Чехословакия).

<sup>2</sup> Имеется в виду флигель, где часто, гостя в Ясной Поляне, проживала Т. А. Кузминская — сестра С. А. Толстой — с семьей.

<sup>3</sup> Сидорков Илья Васильевич (1858—1940), в 1893—1910 гг. — слуга в яснополянском доме; с 1921 г. — сотрудник музея.

<sup>4</sup> Орлов Николай Васильевич (1863—1924), художник, писавший картины из народной жизни. Альбом картин Н. В. Орлова «Русские мужики» с предисловием Л. Н. Толстого, изданный в 1909 году, хранится в Ясной Поляне.

<sup>5</sup> Грузинский Алексей Евгеньевич (1858—1930), литературовед, автор ряда исследований о творчестве Л. Н. Толстого.

<sup>6</sup> Автор имеет в виду споры, которые велись в 1921 году, по поводу мемориального облика большого зала толстовского дома.

<sup>7</sup> Семенов Сергей Терентьевич (1868—1922), писатель, выходец из крестьянской среды. Толстой высоко ценил произведения Семенова и написал предисловие к первому тому его «Крестьянских рассказов».

<sup>8</sup> Сергеевко Петр Алексеевич (1854—1930), беллетрист и литературный критик, знакомый Л. Н. Толстого и автор книги о нем.

<sup>9</sup> Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866—1938), скульптор.

<sup>10</sup> Танеев Сергей Иванович (1856—1915), композитор, друг семьи Толстых; Токутоми Кэндзиро (псевд. Рока) (1868—1927), японский писатель; побывал в Ясной Поляне в 1906 году.

<sup>11</sup> Феокритова Варвара Михайловна (1875—1950), переписчица-машинистка у Толстых.

<sup>12</sup> Маковицкий Душан Петрович (1866—1921), словак, друг и помощник Л. Н. Толстого: в 1904—1910 гг. был его домашним врачом, исполняя одновременно роль секретаря. Автор широко известных «Яснополянских записок», изданных «Лит. наследством» (т. 90) в пяти книгах (М., 1979).

<sup>13</sup> Оболенский Николай Леонидович (1872—1934), зять Л. Н. Толстого; в 1919—1921 гг. являлся заведующим совхозом «Ясная Поляна».

<sup>14</sup> Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936), близкий друг, единомышленник и издатель сочинений Л. Н. Толстого.

<sup>15</sup> Гольденвейзер Александр Борисович (1875—1960), пианист, композитор, один из друзей Л. Н. Толстого; автор мемуаров «Вблизи Толстого».

<sup>16</sup> Игумнова Юлия Ивановна (Жюли) (1871—1940), художница, подруга Т. Л. Толстой; Гусев Николай Николаевич (1882—1967), в 1907—1909 гг. — секретарь Л. Н. Толстого.

<sup>17</sup> Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957), адвокат, член Государственной думы; Николаев Сергей Дмитриевич (1861—1920), экономист, единомышленник Л. Н. Толстого; Кузминский Дмитрий Алексеевич (род. в 1888 г.), сын свояченицы Л. Н. Толстого Т. А. Кузминской.

<sup>18</sup> Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1939), скульптор.

<sup>19</sup> Шмидт Мария Александровна (1843—1911), друг и единомышленица Л. Н. Толстого.

## ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ Л. Н. ТОЛСТОГО

### I

Экспонат № 1 музея-усадьбы Л. Н. Толстого в Москве — письменный стол писателя. Стол сосновый, офанерованный темным мореным орехом, с прямоугольной столешницей длиной 168 см, шириной — 85 см, с тремя выдвижными ящиками. Средняя часть столешницы прикрыта зеленым сукном, обрамленным ореховым полированным фризом. По краю фриза укреплена деревянная невысокая решетка, состоящая из 58 точеных балясинок с постаментом и перильцами. Шесть ножек стола (четыре с передней стороны, две — с задней) — точеные, с резными утолщениями вверху, соединены проножками. Высота стола — 77 см. Он куплен в 1881 году за 125 рублей на машинно-столярной фабрике Ф. Фламанского на Тверской улице в Москве. Счет выписан на имя графини С. А. Толстой 28 августа 1881 года.

Стол был куплен в день рождения Л. Н. Толстого 28 августа и первоначально отправлен в дом Волконского на Пречистенку, в Денежный переулок, дом 3, где в то время Толстые снимали квартиру. После того, как летом 1882 года Толстыми был куплен дом по Долго-Хамовническому переулку и он был надстроен и капитально отремонтирован, Лев Николаевич перевез мебель, в том числе и письменный стол, с квартиры Волконского в Хамовники, в собственный дом. Письменный стол был поставлен в кабинете писателя, где он стоит и по сей день.

Описание письменного стола Толстого или упоминание о нем можно найти в записках современников. Писатель Н. Н. Иванов, побывавший в Хамовниках в 1886 году, так описывает письменный стол Толстого: «...у окна стоял большой письменный стол с двумя-тремя небольшими ящиками, на высоких ножках, с решеточкой по краям... На столе были разложены книги, бумаги, письма и письменные принадлежности, из которых мое внимание привлекло маленькое пресспапье из белого мрамора в форме раскрытой книги»<sup>1</sup>.

30 мая 1896 года Толстого в Хамовниках посетил В. В. Стасов. Об этом визите и о кабинете писателя он подробно рассказывает в письме к брату Д. В. Стасову: «...у окна большой

письменный стол, тот самый, что ты уже знаешь... На столе большая формальная чернильница без употребления, потому что сам барин-то пишет прямо макая в баночку с чернилами...»<sup>2</sup>.

На столе все необходимое для работы. На металлической дугообразной подставке — ручка в виде вишневой веточки, наполовину очищенной от коры, заостренной к концу и покрытой бесцветным лаком. В ручку вставлено стальное перо № 786.

Чернильный малахитовый прибор, состоящий из пяти предметов: двух подставок, малахитовой и бронзовой, хрустальной песочницы и хрустальной чернильницы с бронзовой крышечкой, а также перочистки в виде мраморного темно-серого стаканчика со щетиной. Прибор был куплен С. А. Толстой 1 ноября 1891 года за 11 рублей 50 копеек серебром на «Выставке и складе горнопромышленных и кустарных изделий в Москве»<sup>3</sup>. Вот этот-то чернильный прибор В. В. Стасов и назвал «большой формальной чернильницей».

На столе несколько прессов: в виде прямоугольника со срезанными углами из малахита; в форме раскрытой книги из белого мрамора в малахитовом переплете; небольшой овальный из желтого смальтового стекла с бронзовым орлом на шаре; мраморный прямоугольный светло-табачного цвета с аппликацией в виде цветка из темно-зеленого мрамора. Здесь же — деревянное пресс-папье, черная четырехгранная линейка, металлическая кубовидная коробочка с листами промокательной бумаги.

На столе слева — папки. В розовой — несколько конвертов от иностранных адресатов и небольшая записка, состоящая из одной фразы: «В пользу голодающих детей, Люки, Кати и Ани». Без даты. Интересен большой серый конверт от письма неустановленного лица к Л. Н. Толстому. На лицевой стороне черными чернилами по-французски написан адрес: «Графу Льву Толстому. Ясная Поляна. Россия». У нижнего края рукой Л. Н. Толстого простым карандашом сделана надпись: «Деньги». Марка утрачена, два штампа почти совмещены, год установить можно предположительно: «26/XI—1891». Однако оба документа свидетельствуют о работе Толстого на голоде, начавшемся в средней полосе России вследствие неурожая 1891—1893 годов. Толстой не мог остаться безучастным к бедственному положению народа. В конце октября 1891 года он с дочерьми был уже на голоде в деревне Бегичевке Рязанской губернии, где оказывал помощь голодающим. Толстой устраивал бесплатные столовые в Тульской, Рязанской и Орловской губерниях. С. А. Толстая, оставшаяся в Москве с младшими детьми, тоже не бездействовала. 3 ноября 1891 года она поместила в газетах воззвание о пожертвованиях для голодающих с указанием адреса: «Москва, Долго-Хамовнический переулок, 15, гр. С. А. Толстой». За первые две недели ноября 1891 года в Хамов-

никах было ею получено свыше 13000 рублей. Деньги пересылались Льву Николаевичу. К середине 1892 года было собрано 141 тысяча рублей и открыто 246 бесплатных столовых.

«С устройством всякой столовой,— описывал впоследствии друг и помощник Толстого П. А. Сергеенко,— связано немало хлопот, требующих осмотрительности, такта, энергии и терпения. Приходилось вести сложные отчетности по складу, по приему пожертвований, по распределению провизии, по доставке и отправке различных материалов. На призыв Л. Н. Толстого откликнулись со всех мест, даже из-за границы. Все верили, что шлют свои пожертвования в надежные руки»<sup>4</sup>.

На просьбу английского издателя А. Фишера быть посредником между руководителями сбора пожертвований в Англии и комитетом по оказанию помощи голодающим в России Толстой ответил 4 ноября 1891 года: «Я очень тронут тою симпатией, которую выражает английский народ к бедствию, постигшему ныне Россию. Для меня большая радость видеть, что братство людей не есть пустое слово, а факт» (66, 76).

Свои мысли, вызванные народным бедствием, Толстой высказал в статьях «Страшных вопрос» и «Письма о голоде», которые прозвучали сильнейшим обличением всего тогдашнего социального порядка.

Другая, голубая, папка на столе напоминает нам об участии Толстого в общемосковской переписи населения в январе 1882 года.

По верхнему краю наклейки рукой С. А. Толстой черными чернилами написано: «Папка, с которой Л. Н. ходил во время переписи (получила от Танечки)»<sup>5</sup>.

В трактате «Так что же нам делать?» Толстой писал: «Мне назначили для переписи, по моей просьбе, участок Хамовнической части, у Смоленского рынка, по Проточному переулку, между Береговым проездом и Никольским переулком» (25, 196). Здесь он близко познакомился с жизнью городской бедноты, что дало ему материал для создания целого ряда обличительных публицистических статей. «Прелюдией» работы Толстого на переписи явилась его статья «О переписи в Москве». Статья была опубликована в газете «Современные известия» 20 января 1882 года и вызвала многочисленные одобрительные отклики. Эта статья, можно сказать, привела в дом Толстого художника Н. Н. Ге, который в 1884 году написал портрет Толстого за его письменным столом.

## II

Т. Л. Толстая в книге «Друзья и гости Ясной Поляны» вспоминает о том, как создавался этот портрет. «...Прекрасный портрет моего отца, находящийся теперь в Третьяковской галерее, был написан им (Н. Н. Ге) в несколько сеансов в Москве

в то время, как отец занимался писанием у себя в кабинете. Я помню, как доволен был Ге тем, что во время работы отец иногда совсем забывал о его присутствии и иногда шевелил губами, разговаривая сам с собой...»<sup>6</sup>.

Портрет был необычен, глаза смотрели вниз, на бумагу. Это очень смущало Софью Андреевну. В письме к сестре Т. А. Кузминской в январе 1884 года она писала: «Приехал в Москву художник Ге, пишет сам для себя портрет Левочки с опущенной головой, пишущего за столом. Портрет очень хорош, но глаз нет, а это для близких жалко, все выражение у Левочки в глазах...»<sup>7</sup>.

18 января 1884 года она сообщает сестре: «Ге кончил портрет Левочки и вышел очень хорош, мне обещают копию. Но жаль, что смотрит вниз, глаза глядят на бумагу, и он в позе пишущего. Этот портрет будет на передвижной выставке, тогда посмотри его весной...»<sup>8</sup>.

Т. А. Кузминская побывала на передвижной выставке не раз: и сама ходила, и детей своих водила смотреть портрет. Вот как пишет она о своем впечатлении от портрета в письме к С. А. Толстой от 9 марта 1884 года: «Видела на выставке портрет Левочки, и оторвать глаз не могла, и детей водила глядеть. Это живой сидит, удивительно похож, и все принадлежности для письменного стола, знакомые мне, так приятно было видеть: пресс-папье белесый, и загородочка стола без четырех палочек, а Левочка сам уж так серьезен, что я его редко таким видела. Глаз нет, вот что жаль. А художники здешние говорят — не окончен»<sup>9</sup>.

В семье Толстых очень любили и ценили этот портрет. Любил его и сам Н. Н. Ге. Своему другу, литератору Н. Н. Гаевскому, художник писал: «В этом портрете я передал все, что есть драгоценного в этом удивительном человеке... Лев Николаевич заключает в себе необъятно огромный мир идей и образов»<sup>10</sup>.

Н. Н. Ге остался доволен своей работой и сделал много авторских повторений портрета, С. А. Толстая отмечает в еще неопубликованной книге «Моя жизнь»: «Портрет, написанный Ге, был им впоследствии продан Третьяковской галерее (в 1891 г.). Он был еще много раз повторен: один был заказан Александром Александровичем Стаховичем и находится у него в Петербурге...»<sup>11</sup>.

Продолжая этот перечень, можно сказать, что портрет писателя, повторенный Ге, находится ныне в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве, а в Ясной Поляне экспонируется тот, что был у А. А. Стаховича. Еще одно авторское повторение было сделано Ге для друзей Толстого графов Олсуфьевых. Их имение находилось в Московской губернии, в Никольском-Обольянинове, 20 верстах от г. Дмитрова. Толстой бывал у них зимой, гостил по несколько дней. В 1895 году он рабо-



тал в Никольском над рассказом «Хозяин и работник».

В библиотеке дома в Никольском и висел портрет Л. Н. Толстого. Он очень нравился молодому художнику П. И. Нерадовскому, который учился тогда в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, и Нерадовский решил его копировать. «Умение мое было тогда невелико, но желание писать и старания были», — вспоминал он впоследствии<sup>12</sup>. Окончив копию, он сделал на обороте надпись: «Копия с картины худ. Ге (принадлежит гр. Олсуфьевой) сделана в с. Никольском в 1892 году художником П. Нерадовским». Осенью ее привезли в московскую квартиру Олсуфьевых, в Староконюшенном переулке. Зимой 1894 года Н. Н. Ге видел эту копию своей работы и одобрил ее. В 1921 году портрет поступил в дом-музей Л. Н. Толстого в Хамовниках от младшей дочери писателя, которой он был передан из московской квартиры Олсуфьевых. Сейчас копия П. И. Нерадовского с известного портрета Ге висит в большой гостиной музея-усадьбы Л. Н. Толстого в Москве.

Письменный стол Толстого был еще не раз запечатлен в живописи и особенно в фотографиях.

### III

В 1893 году И. Е. Репин сделал акварельный портрет писателя за письменным столом в кабинете московского дома. К 1898 году относится фотография Толстого за письменным столом в хамовническом кабинете. Ее сделал известный в то время профессор-физик П. В. Преображенский, бывавший в доме Толстого и читавший там в апреле 1898 года лекцию о цветовых и световых иллюзиях.

За своим письменным столом, многократно изображенным на холстах и фотографиях, Толстой много и напряженно трудился. В книге «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой» П. Сергеевко приводит ответ Толстого на вопрос некоей дамы о том, правда ли, что он пишет повесть из кавказской жизни, где фигурирует один из сподвижников Шамиля? «Да, да, пишу. Я все пишу, — сказал скороговоркой и неохотно Лев Николаевич»<sup>13</sup>.

В течение 19 московских зим Толстой за своим письменным столом работал над большим количеством произведений (их около ста), самых различных по содержанию и по жанру. Здесь им написаны публицистические статьи, статьи об искусстве, научно-философские трактаты («О переписи в Москве», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», «Что такое искусство?», «Рабство нашего времени»), повести («Смерть Ивана Ильича», «Холстомер», «Крейцера соната», «Хаджи-Мурат»), народные рассказы («Хозяин и работник», «Много ли человеку земли нужно», «Два старика»), драматические про-

изведения («Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп»), роман «Воскресение». Над романом писатель работал с перерывами в течение десяти лет, с 1889 по 1899 год.

На столе лежит муляж корректуры «Воскресения». Лист испещрен поправками. «Лев Николаевич,— пишет П. Сергеев,— превращает корректурные листы в сплошную сеть поправок. Со второю корректурой происходит то же самое. И можно сказать, не преувеличивая, что, если бы Льву Николаевичу пришлось держать 99 корректур какого-нибудь из своих произведений, то и 99-я корректура была бы испещрена поправками»<sup>14</sup>.

На столе справа — русские и иностранные газеты, журналы. В газете «Новое время» от 4-го (16-го) января 1899 года мы читаем следующее объявление: «Подписчики «Нивы» получают в 1899 году 52 №№ журнала «Нивы» (до 1500 столбцов текста и 500 гравюр). В нумерах «Нивы» за 1899 год будет печататься приобретенный редакцией в рукописи новый роман графа Льва Николаевича Толстого «Воскресение» со множеством рисунков-иллюстраций Л. О. Пастернака».

Следует напомнить, что роман «Воскресение» имел в виду В. И. Ленин, когда писал, что Толстой, «...в своих последних произведениях обрушился со страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь»<sup>15</sup>.

Роман «Воскресение» послужил одним из главных поводов к отлучению Толстого от церкви. Свою непримиримую позицию по отношению к церковникам Толстой подтвердил в статье «Ответ Синоду», написанной в конце марта 1901 года. Это — последнее произведение, над которым Толстой работал за столом кабинета в своем московском доме.

8 мая 1901 г. Толстой уезжает в Ясную Поляну, а после тяжелой продолжительной болезни (1901—1902 гг.) отказывается от жизни в городе.

В 1909 году Хамовнический дом вновь увидел в своих стенах Толстого. В сентябре этого года Толстой решил посетить своего друга В. Г. Черткова, высланного царским правительством из пределов Тульской губернии. Он проживал в Крекшине, недалеко от Москвы. 3-го сентября вечером Толстой прибыл из Ясной Поляны в Москву вместе с доктором Д. П. Маковицким и пианистом А. Б. Гольденвейзером, который описал этот приезд в книге «Вблизи Толстого»: «В Хамовниках ждал неприятный сюрприз: все думали, что жена Сергея Львовича и его сын уже в Москве. Оказалось, что они приезжают только завтра утром. В доме о приезде Льва Николаевича никто не знал, так что там был полный беспорядок. Наскоро Льву Николаевичу устроили спальню в гостиной наверху...»<sup>16</sup>.

На следующий день Толстой уехал в Крёкшино, где пробыл две недели. От Черткова в Хамовники он вернулся 18-го сентября, вечером. Утром 19-го сентября Толстой в последний раз работал в кабинете. Он написал письма И. Ф. Наживину и А. И. Иконникову, но сделал это не за письменным столом.

#### IV

В 1904 году Софья Андреевна сдала часть своего архива и архива Толстого, его стол с письменными принадлежностями на хранение в Исторический музей в Москве. 18-го января этого же года она записывает в дневнике: «Я намерена отдать на хранение в Исторический музей и рукописи, и вещи Толстого». Ниже, продолжая эту мысль, она пишет: «Теперь я вся поглощена заботой о перевозке вещей и еще рукописей Льва Николаевича туда же. Надо спасти все, что можно, от бестолкового расхищения вещей детьми и внуками»<sup>17</sup>.

Желая сохранить дом писателя в Хамовниках без всяких переделок и изменений, С. А. Толстая продала его в ноябре 1911 года Московской городской управе. В «Толстовском ежегоднике» сообщалось: «Вместе с домом гр. С. А. Толстой к городу перешла и несложная обстановка двух маленьких комнат, где собственно жил гр. Толстой,— его кабинета и передней. Среди этих вещей — письменный стол, хранящийся уже несколько лет в Историческом музее»<sup>18</sup>.

С 11-го октября по 6-е декабря 1911 года стол писателя, с разрешения С. А. Толстой, экспонировался на Толстовской выставке в Историческом музее. Об этом 10-го октября 1911 года она сделала запись в дневнике: «Послала телеграмму с разрешением взять на выставку витрину с вещами в Историческом музее. Стол дала раньше»<sup>19</sup>.

После закрытия выставки письменный стол Толстого был затребован Московской управой в Хамовнический дом, ставший уже собственностью города. Однако Исторический музей не торопился расставаться со столом писателя и не допускал никого в так называемую Толстовскую комнату. Все ожидали особого распоряжения Министерства народного просвещения в связи с возникшим спором о правах литературного наследства между С. А. Толстой и ее младшей дочерью. Только после разрешения спора стол был водворен на свое прежнее место в кабинете Толстого в Хамовниках, но не был доступен для обозрения посетителей.

«Декрет Совета Народных Комиссаров о национализации Дома Льва Толстого в Москве», подписанный 6-го апреля 1920 года В. И. Лениным, открыл новую страницу и в жизни дома, и в истории предметов, его наполнивших. 20 ноября 1921 года дом в Хамовниках стал музеем, и, все желающие

получили возможность увидеть кабинет Толстого — место его многолетней работы над своими произведениями. С этого времени письменный стол Толстого начал свою вторую жизнь в качестве драгоценного музейного экспоната. В 1926 году мастером И. И. Бедняковым была проведена первая реставрация стола. Выпавшие балясины решеточки, а также точеные части проножек были собраны и поставлены на место.

1927-й год начался для музея тревожным событием. Вот как описывает его тогдашний хранитель дома-музея Вениамин Федорович Булгаков:

«В 12 часов дня, 28 января, в дом-музей вошел неизвестный гражданин, который быстро вбежал по парадной лестнице вверх и, пробежав зал и длинный полутемный коридор — «катакомбы», достиг кабинета Л. Толстого.

Здесь он вытащил из кармана плоскую бутылку с особой легко воспламеняющейся жидкостью, которую и вылил на письменный стол писателя. Едва поспевавшая за этим гражданином сотрудница Аграфена Алексеевна Гольцова хватала его за руки, оттаскивая от стола, но он успел чиркнуть спичку, и на столе Толстого вспыхнуло пламя разлитой горючей жидкости. Сотрудница бросилась бежать вниз, чтобы поднять тревогу, но поджигатель догнал ее и, свалив ударом в спину на пол, выбежал на двор и на улицу, чтобы спастись от преследования. Гольцова кинулась бежать за ним, подняла тревогу. За поджигателем бросился дворник дома Льва Толстого В. И. Шумилин. Бежавший поджигатель был схвачен толпой рабочих, вышедших на обед из пивоваренного завода, и доставлен в дом-музей.

Пока шла поимка поджигателя на улице, в кабинет Толстого вбежал вместе с Гольцовой гражданин в военной форме и овчинным полушубком накрыл огонь на письменном столе, где сгорели только несколько старых газет и четвертка рукописи писателя из его произведения «Рабство нашего времени». Поджигатель оказался помешанным, с бредовой идеей уничтожения культурных ценностей. Он пытался до поджога кабинета Толстого поджигать ряд музеев Москвы. Он был вскоре заключен в психиатрическую лечебницу. Имя этого нового Герострата остается для истории неизвестным»<sup>26</sup>.

Письменный стол Толстого пережил не только пожар, но и Великую Отечественную войну. Все военные годы музей был закрыт. Экспозиция была свернута, экспонаты, в том числе и письменный стол, хранились на складе рядом находящегося московского пивоваренного завода, в подвале, до весны 1944 года, затем были возвращены в дом. Толстовский стол встал на свое прежнее место.

В 1960 году была проведена самая большая и серьезная реставрация стола учеными-реставраторами Исторического музея. Об этом свидетельствует акт, составленный ими 1-го июля

1960 г.: «Настоящий акт составлен в том, что ученые-реставраторы Городцов М. В. и Орлова Л. П. закончили реставрацию письменного стола Л. Н. Толстого, находящегося в музее-усадьбе. Произведены следующие работы: удалено поврежденное огнем и невозможное к восстановлению сукно, закреплена и консервирована древесина стола, на местах утраченного сукна вставлено сукно 80-х годов, восстановлена полировка стола, подклеены балясины и угловые соединения в решетке стола, проведены профилактические меры для предотвращения разрушения сукна, очищены от полировки края сукна, сукно тонировано»<sup>21</sup>.

В настоящее время состояние письменного стола Л. Н. Толстого, как и всех других ценных экспонатов, находится под постоянным контролем работников музея, которые заботятся о его бережном хранении.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Иванов Н. Н. У Л. Н. Толстого в Москве в 1886 г.— В кн.: Л. Н. Толстой: Юбилейный сборник. М.— Л., 1928, с. 184.

<sup>2</sup> Модзалевский Л. Б. Стасов и Толстой.— В кн.: Л. Н. Толстой. Юбилейный сборник, с. 356.

<sup>3</sup> Счет фирмы «Сибирский базар» (Отдел рукописей ГМТ).

<sup>4</sup> Сергеев П. Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой. М., 1898, с. 46.

<sup>5</sup> Имеется в виду старшая дочь — Татьяна Львовна Толстая-Сухотина.

<sup>6</sup> Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания, М., 1976, с. 273.

<sup>7</sup> Письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской, январь 1884 г. (Отдел рукописей ГМТ).

<sup>8</sup> Письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 19 января 1884 г. (Отдел рукописей ГМТ).

<sup>9</sup> Толстой в Москве, М., 1985, с. 221.

<sup>10</sup> Ге Н. Н. М.: Искусство, 1978, с. 118.

<sup>11</sup> Толстая С. А. Моя жизнь, с. 191—192 (Отдел рукописей ГМТ).

<sup>12</sup> Нерадовский П. И. Из жизни художника. Л., 1965, с. 46.

<sup>13</sup> Сергеев П. Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой, с. 51.

<sup>14</sup> Там же, с. 65.

<sup>15</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 40.

<sup>16</sup> Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого, т. 1, М., 1922, с. 321.

<sup>17</sup> Толстая С. А. Дневники, т. 2, М., 1978, с. 100.

<sup>18</sup> Толстовский ежегодник, издание Общества Толстовского музея в Петербурге, 1911, с. 195.

<sup>19</sup> Толстая С. А. Дневники, т. 2, с. 359.

<sup>20</sup> Булгаков В. Ф. История дома Льва Толстого в Москве.— В кн.: Государственный литературный музей. Летописи, кн. 12. М., 1948, с. 583—584.

<sup>21</sup> Архив музея-усадьбы Л. Н. Толстого в Москве.

*З. Н. Иванова*

## НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ

Последний обзор новых документов, поступивших в отдел рукописей в течение 1982—1984 гг., был дан в «Яснополянском сборнике 1986 г.» (Л. Гладкова). В настоящем обзоре будет рассказано о наиболее интересных материалах, поступивших в отдел в 1985 году.

Как всегда, они были самыми разнообразными. Были среди них и два подлинных письма Л. Н. Толстого 1910 года, уже опубликованные в Юбилейном издании его сочинений. Одно из них — к крестьянину Саратовской губернии Ивану Федоровичу Чепурину (82, 35), другое — к неизвестным адвокатам (82, 143). Оба письма поступили из одного источника: от Михаила Ивановича Горбунова-Посадова (г. Москва), доктора технических наук, сына Ивана Ивановича и Елены Евгеньевны Горбуновых-Посадовых, о которых мы скажем ниже.

Разбирая последние оставшиеся у него материалы из архива родителей, большую часть которого еще при своей жизни Елена Евгеньевна сдала на хранение в государственные хранилища, Михаил Иванович обнаружил письма Л. Н. Толстого. Вместе с этими письмами он передал еще одно письмо (автограф) Софьи Андреевны Толстой и шесть писем (автографы) Марии Львовны Оболенской к И. И. Горбунову-Посадову. Все письма относятся к маю 1890 года и все они о Л. Н. Толстом. Письма М. Л. Оболенской написаны из Ясной Поляны после возвращения Толстого из Пирогова, куда он ездил со своей дочерью. В Пирогове Толстой заболел, его — больного — привезли в Ясную Поляну, и Мария Львовна, которая не отходила от отца все это время и вела его дела, подробно пишет Ивану Ивановичу о состоянии здоровья Льва Николаевича, о его работе и печатании его произведений, о том, чем он в ту пору интересовался, о гостях, живших тогда в Ясной Поляне.

От Виктора Леонидовича Малькова (г. Москва) поступило письмо (ксерокопия) от 26 декабря 1888 года, написанное по поручению Льва Николаевича его старшей дочерью, Т. Л. Сухожиной, к Натану Доулу, американскому писателю и перевод-

чику произведений Толстого. В Юбилейном издании это письмо не зафиксировано.

От Евгения Викторовича Королева (г. Москва) поступило письмо (автограф) от 16 ноября 1905 года, написанное по поручению Л. Н. Толстого Ю. И. Игумновой, к Владимиру Ивановичу Мезенцеву, жившему в г. Омске. Это письмо зафиксировано в Юбилейном издании в списке писем, написанных по поручению Толстого (76, 277).

В рукописном отделе тексты обоих этих писем отсутствовали.

Редким поступлением являются подлинные письма к Л. Н. Толстому. В 1985 году их поступило два и очень ценных. Это письма писателей И. А. Гончарова от 22 июля 1887 года и Г. П. Данилевского от 22 августа 1885 года. Автографы этих писем хранились в архиве Николая Николаевича Арденса, доктора филологических наук, профессора, исследователя творчества Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и других русских писателей. Их принесла в музей его дочь Ольга Николаевна Арденс. Подробная информация об этих письмах была дана в заметке Л. В. Гладковой «Корреспонденты Льва Николаевича Толстого», опубликованной в газете «Вечерняя Москва» 5 сентября 1985 года.

Собирает наш рукописный отдел и биографические материалы о лицах, связанных с Л. Н. Толстым, его корреспондентах, среди которых были люди самые разные и по социальному положению, и по взглядам, и по профессиям. Далеко не о каждом из них у нас имеются нужные и полные сведения. А ведь среди них были люди с интересными, необычными судьбами. Получить сведения об одном из таких корреспондентов Л. Н. Толстого помогла нам Наталья Борисовна Кузякина, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории советского театра Ленинградского Государственного института театра, музыки и кинематографии, работавшая в рукописном отделе в сентябре 1984 года. Она попросила у нас письма к Л. Н. Толстому украинского поэта, прозаика и драматурга Ивана Даниловича Шевченко, друга украинского драматурга М. Кулиша. В Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого имя И. Д. Шевченко упоминается дважды: в томе 58 (примечание к записи в дневнике от 10 августа 1910 года об ответах на полученные в этот день письма) и в томе 82 (в списке писем, написанных по поручению Л. Н. Толстого 10 августа 1910 года). Кто такой И. Д. Шевченко, в этих примечаниях не говорится. Из самих писем И. Д. Шевченко к Л. Н. Толстому (их три за годы 1909—1910) мы видим, что написаны они из села Каланчака Таврической губернии Днепровского уезда четырнадцатилетним мальчиком, сыном крестьянина. Мальчик присылает Толстому свои стихотворения, пишет о своем увлечении его книгами, о горячем желании учиться, о тяжелых обстоятельствах его

жизни. Он просит Толстого вызвать его в Ясную Поляну и помочь ему.

На конвертах первых двух его писем имеется пометка Л. Н. Толстого «Б О» (без ответа). На конверте третьего, последнего письма — конспект ответа для секретаря (82, 259).

Н. Б. Кузякина прислала по нашей просьбе краткую биографическую справку о И. Д. Шевченко (псевдоним И. Днепровский), которую она составила на основании материалов архива И. Д. Шевченко, хранящегося в Центральном гос. архиве-музее литературы и искусства СССР в г. Киеве. Из нее мы узнали обо всем, что пережил этот человек, ставший профессиональным украинским писателем.

Приобрел отдел рукописей в 1985 году и несколько воспоминаний о Л. Н. Толстом. Из них хочется отметить отрывок из ценных воспоминаний Сергея Дмитриевича Урусова, родного племянника князя Сергея Сергеевича Урусова, севастопольского товарища Л. Н. Толстого.

Подлинник этих воспоминаний хранится в отделе рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина.

Родственница С. Д. Урусова Екатерина Алексеевна Фадеева, проживающая в г. Москве, предложила нам к приобретению машинопись отрывка из воспоминаний, в котором идет речь о Л. Н. Толстом. В отрывке рассказывается о посещении С. Д. Урусовым и его женой «семьи Л. Н. Толстого в Москве в доме их по Хамовническому переулку» 8 февраля 1900 года. Ни в дневнике Л. Н. Толстого, ни в «Ежедневнике» С. А. Толстой записей об этом посещении нет. Любопытны эти воспоминания тем, что это — свидетельство человека далеко не симпатизирующего Толстому, человека совсем из другого круга по убеждениям и жизненной позиции.

Как говорит сам автор воспоминаний, «в нашей семье поклонение Толстому, как мудрецу и учителю жизни, не привилось. Ни у меня, ни у моей жены, ни у наших детей такого увлечения не было».

Наш отдел приобретает и рукописные списки произведений Л. Н. Толстого. Так распространялись произведения писателя, запрещенные цензурой к изданию в России. В некоторых из них оказываются переписанными ранние редакции произведений писателя. В 1985 году в отдел поступил редкий список нескольких теоретических произведений Толстого 900-х годов.

Самая большая группа приобретенных в 1985 году материалов относится к архивам лиц, близких к Л. Н. Толстому и посвятивших жизнь изучению его творчества. От старейшего сотрудника нашего музея, доктора филологических наук А. И. Шифмана поступила переписка его с одним из первых секретарей Л. Н. Толстого Виктором Анатольевичем Лебренем за 1959—1978 годы (56 писем). Вместе с письмами была переда-



на и статья В. А. Лебрена «Полвека спустя». Последние годы жизни В. А. Лебрен проживал во Франции, где и умер в 1979 году.

От Константина Сергеевича Родионова поступили машинописные копии дневников (за годы 1911—1960) его брата Николая Сергеевича Родионова, одного из членов редакции Полного собрания сочинений Толстого (Юбилейное издание).

От Михаила Ивановича Горбунова-Посадова мы получили последнюю часть обширного архива его родителей: Ивана Ивановича и Елены Евгеньевны Горбуновых-Посадовых, очень близких к Л. Н. Толстому лиц. Иван Иванович долгие годы руководил книгоиздательством «Посредник», Елена Евгеньевна была ближайшим его помощником в этом деле. Основная часть их архива находится в ЦГАЛИ. Она была приобретена у Елены Евгеньевны В. Д. Бонч-Бруевичем. В 1946 году она передала другую часть материалов Гос. музею Л. Н. Толстого. И вот то, что осталось (1292 док.), передал в 1985 году музею их сын.

Полученные от М. И. Горбунова-Посадова материалы самым непосредственным образом дополняют часть, полученную в 1946 году. Половину их составляют документы, относящиеся к издательству «Посредник». Другая половина — это документы родителей и родственников Ивана Ивановича и Елены Евгеньевны, биографические материалы, переписка, материалы их общественной и творческой деятельности.

Среди материалов разных лиц, сохранившихся в архиве Горбуновых-Посадовых, имеется и группа документов фельдшерицы Елизаветы Прохоровны Кутелевой, знакомой Л. Н. Толстого и его корреспондентки. Е. П. Кутелева, по совету Л. Н. Толстого, принимала участие в помощи голодавшим крестьянам Рязанской губернии в 1891—1892 гг., организовывала столовые для голодающих и лечила их. Имя ее неоднократно упоминается в письмах Л. Н. Толстого.

В 1985 году умерла Эвелина Ефимовна Зайденшнур, работавшая в Гос. музее Л. Н. Толстого всю свою сознательную жизнь. Вместе с ней работал в музее и ее муж Владимир Александрович Жданов. Имена их хорошо известны толстоведам. Родственники Э. Е. Зайденшнур согласно ее просьбе передали в дар музею обширный архив супругов (209 папок) и библиотеку (701 книга).

*И. К. Грызлова*

## ДРАГОЦЕННЫЕ ЭКСПОНАТЫ

За последние два года в фонды яснополянского музея поступило значительное количество новых материалов, многие из которых скоро найдут, а некоторые уже нашли достойное место в его литературных экспозициях.

Вот альбом 1903 года, составленный П. Ф. Рербергом и посвященный памяти защитников Севастополя. Это сборник портретов участников обороны Севастополя 1854—1855 годов. Тут же — планы, схемы, виды мест боевых действий русских войск. Помещен и редкий снимок, сделанный почти через 50 лет по окончании Крымской войны. Это фотография 1903 года ветеранов — бывших защитников Севастополя. Всматриваясь в их лица, невольно вспоминаешь слова Л. Н. Толстого из его севастопольских рассказов: «Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли,— это убеждение в невозможности... покорять где бы то ни было силу русского народа,— и эту невозможность видели вы... в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя» (4, 16).

Альбом экспонируется в Ясной Поляне на выставке, открытой в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, в разделе «Лев Толстой — воин и патриот».

Дополнением к этой теме явились четыре черно-белых лубка — литографии, изданные в Москве в конце 80-х годов прошлого века, изображающие отдельные моменты сражений за Севастополь, а также возвращение искалеченных солдат домой. Лубки передают народную точку зрения на происходящие события: не только чувство глубокой любви к отечеству, но и заразительный народный юмор, высмеивающий врагов, осмелившихся вступить на русскую землю.

Лубки приобретены у одного из ленинградских коллекционеров. Оттуда же были привезены ценные для экспозиции иллюстрации советского художника К. И. Рудакова к романам «Война и мир» и «Анна Каренина». Рудаков начал работу над рисунками к «Анне Карениной» перед Великой Отечественной войной, а в 1944 году, в освобожденном от блокады Ленинграде, приступил к иллюстрированию «Войны и мира», где нашел

много созвучного современной ему героической действительности. Его мастерство проявилось в создании психологических портретов Наташи Ростовой, Пьера Безухова, фельдмаршала Кутузова и других действующих лиц романа. Перед нами эскизы к этим рисункам, в них ярко выраженная экспрессия юной Наташи, мудрость и собранность великого полководца М. И. Кутузова.

Еще большей глубины в передаче душевного состояния и переживаний художнику удалось достигнуть в изображении Анны Карениной. Приобретенные иллюстрации показывают нам Анну в самые драматические моменты ее жизни: сцены после разрыва с Вронским и во время встречи с сыном Сережей. Мы видим перед собой то подавленную душевной болью женщину, то трогательно нежную, любящую мать.

Высоким эстетическим и этическим образцом иллюстраций к произведениям Л. Н. Толстого явилась серия автолитографий художника Н. А. Тырсы, созданная еще в 1939 году и приобретенная только теперь у его дочери в Ленинграде, где автор умер во время блокады. Иллюстрации «выполнены в манере беглого наброска, создают впечатление непосредственных зарисовок с натуры»<sup>1</sup>. Таковы, например, сцены: «Объяснение Левина и Кити», «Каренин после отъезда жены», «Свидание Анны с сыном» и другие.

Значительно пополнился отдел редкой книги, куда поступила из разных букинистических магазинов целая серия ценнейших первых и других прижизненных изданий Л. Н. Толстого, а также книги об эпохе Петра I, Отечественной войне 1812 года, 60-х годах прошлого века; некоторые из них служили писателю источником для работы над его сочинениями.

Особо хотелось бы выделить книгу М. И. Пыляева, изданную в 1887 году, «Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы» со 100 гравюрами — видами Петербурга, и «Новую азбуку» Л. Н. Толстого, изданную в Туле Отделом народного образования в 1918 году. Последняя — дар музею от жительницы Тулы Н. Ф. Раковой.

Оставляет большое впечатление рукописный экземпляр «Крейцеровой сонаты» в темно-синем бархатном переплете с монограммой «Л. Т.» на фигурной кожаной накладке и надписью на титульном листе: «января 12 дня 1891 г. г. Нерчинск» — дар от Л. Л. Поповой из Львова, и факсимильное издание альбома Д. П. Маковицкого с записями и рисунками родственников Л. Н. Толстого и гостей Ясной Поляны в 1905—1911 годах — дар от Общества чешско-советской дружбы.

Среди скульптурных работ интересен привезенный из Киева бюст Л. Н. Толстого, выполненный в Петербурге современником писателя — академиком Р. Бахом. Как известно, Бах является автором многих скульптурных произведений. Наиболее значительные из них — памятник «Пушкин-лицеист» (бронза,

г. Пушкин), памятник Петру I (бронза, г. Тула), бюсты П. И. Чайковского, А. Г. Рубинштейна, И. С. Тургенева и других писателей и композиторов.

Не менее привлекательна скульптурная композиция «Толстой на пашне», выполненная в 1966 году А. И. Посядо. На ней Толстой изображен стоящим рядом с лошадью у сохи. Скульптура передана музею Республиканским центром художественных выставок и пропаганды изобразительного искусства в 1984 году. В работе чувствуется большая любовь автора к писателю, которая подтверждается собственным признанием скульптора в его письме в музей от 30 декабря 1984 года: «Великого Льва Толстого люблю, считаю его произведения философскими и замечательно художественными. Удивляюсь ему, как мог он, при большой переписке и разнообразных интересах и делах, столько написать»<sup>2</sup>.

Отдел живописи пополнился интересными полотнами русских и советских художников. Здесь прекрасная жанровая картина В. М. Максимова из жизни русского народа конца прошлого века — «Нищие». Перед нами слепой старик и мальчик-поводырь по дороге к деревне. Они написаны со спины, но сколько безысходного горя и страдания, униженного человеческого достоинства читается в позе обоих! Все это дается в контрасте с красотой деревенского русского пейзажа: богатого зеленого луга, сверкающей на солнце за изгибами лентой реки и простора голубого неба.

Картина будет помещена в экспозицию литературного музея, как своеобразная и выразительная иллюстрация тяжелой жизни крестьян, так правдиво отраженной в творчестве великого писателя.

Очевидно, в экспозиции найдет также достойное место и другая недавно приобретенная картина «Вид на яснополянскую засеку», написанная в 1891 году тульским художником В. П. Батуриным. Она вложена в тяжелую глубокую раму с бронзовым мерцанием лепнины, оттеняющей розовый закат осеннего солнца и желтизну пожухлой травы и кустарника. На полотне — проселочная дорога со сложными по обеим сторонам штабелями напиленных дров. За ней виден идущий поезд с пассажирскими и товарными вагонами. Белый дым от паровоза тает в синей дали леса и серого неба. Это редкий сюжет, — впервые изображена яснополянская железнодорожная станция, куда Толстой часто ездил или ходил пешком за почтой и откуда в последний путь его провожала многотысячная толпа, неся на руках гроб с его телом до места захоронения на яснополянской усадьбе.

Из новых приобретенных работ тульских художников хотелось бы отметить несколько пейзажей С. В. Ширенкова, запечатлевших разные уголки яснополянской усадьбы, и этюды В. П. Голубева, которые написаны зимой, ранним утром. Работа

при рассветном тумане — своеобразная особенность этого художника. В его пейзажах чувствуется, что автор глубоко и тонко понимает природу, горячо любит Ясную Поляну, свой родной край. С настроением написаны им «Старая ветла на берегу Большого пруда», «Зимний день» (Дом Л. Н. Толстого), «Нижний пруд», а также уголки старой Тулы, где нередко на протяжении своей долгой жизни бывал Лев Толстой.

Художник много и плодотворно работает, постоянно совершенствует свое мастерство.

Фонды музея будут пополняться и впредь. Ясная Поляна и произведения великого писателя дают неисчерпаемые темы для работы все новым и новым поколениям художников.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> БСЭ. М., 1977, т. 26, с. 401.

<sup>2</sup> Музей-усадьба «Ясная Поляна». Фонды.

*Т. Т. Бурлакова*

## ЯСНОПОЛЯНСКОМУ ПЕРЕДВИЖНОМУ МУЗЕЮ — 10 ЛЕТ

В 1975 году в Ясной Поляне был создан передвижной музей Толстого. Его появление закономерно связано с процессом все возрастающего интереса к жизни и творчеству писателя, растущего паломничества в толстовские места. Особой популярностью пользуется Ясная Поляна, с которой связана большая часть жизни Л. Н. Толстого, его литературной, педагогической, общественной деятельности. Интерес к Ясной Поляне особенно возрос в 60—70-е годы, которые были отмечены ростом популярности музеев, возрастающим значением их в культурной жизни нашего общества. Однако возможности мемориального музея-заповедника по приему посетителей ограничены. Тогда и возникла идея создания передвижного музея, который мог бы рассказать о жизни и творчестве Толстого, о горячо любимой им Ясной Поляне тем, кто живет далеко за ее пределами. Создание литературного музея, его экспозиции — задача довольно сложная. Создать литературный передвижной музей сложно вдвойне. Как и любой другой музей, он должен решать ряд эстетических и воспитательных задач: служить образованию людей, расширению их культурного кругозора. На примере жизни и на произведениях Л. Толстого он должен воспитывать чувство патриотизма, любви к труду, чувство прекрасного. Это тем более важно, что основную часть его посетителей составляют школьники и студенты. Толстой — писатель, которого изучают в школе. Однако передвижной музей, его экспонаты не должны были играть роль наглядных пособий для учащихся, а экскурсии стать продолжением школьных уроков. Его экспозиция имеет цель вызвать глубокое переживание у посетителей. Для них посещение музея — это встреча с Толстым и Ясной Полянкой; у многих, возможно, единственная. Необходимо было найти также выразительные средства, которые могли бы помочь посетителям представить внутренний мир Толстого и дух Ясной Поляны.

Посещение Ясной Поляны оказывает огромное эмоциональ-

ное влияние на людей благодаря хранящемуся в ней большому количеству подлинных вещей. В передвижном музее эти вещи представить нет возможности, поэтому необходимо было найти иные выразительные средства. И создатели первой экспозиции музея Т. Н. Архангельская, В. Б. Ремизов, художник Н. Ф. Кривенкова нашли интересное решение. Все экспонаты — фотографии Л. Н. Толстого, издания его произведений, личные вещи писателя — разместили на фоне прекрасных, увеличенных до размера 2×1 м фотографий яснополянских пейзажей. С точки зрения композиции этот прием позволил удачно объединить весь материал. Создание экспозиции было завершено в мае 1975 года. Остались позади несколько лет напряженной работы, волнений, хлопоты, связанные с подготовкой к отъезду. Впереди — первая поездка в Воронеж. С воронежской землей у Толстого существовала неразрывная связь. Немало близких друзей писателя родились в Воронежской губернии. Из них многие посещали Ясную Поляну. Бывал у них и Л. Н. Толстой. Имена Н. Н. Ге, отца и сына Русановых, В. Г. Черткова, уроженцев здешних мест, тесно связаны с Толстым. В марте 1894 года Лев Николаевич с дочерью Марией гостил в Воронежской губернии, на хуторе Ржевск, который принадлежал В. Г. Черткову. Вернувшись в Москву, Толстой написал ему, что эта поездка останется для него одним «из дорогих воспоминаний» (87, 267). А на обратном пути из Ржевска Толстой провел вечер (1 апреля 1894 г.) в семье своего друга Г. А. Русанова. Русановы произвели на него «самое радостное впечатление» (87, 268).

После Воронежа маршруты передвижного музея пролегали через Углич, Переславль-Залесский, Рыбинск (ныне — Андропов) и Смоленск, Кострому, Киев... И везде тысячи людей радовались встрече с Толстым. За время своего существования передвижной музей побывал в 35 городах РСФСР, Украины, Армении, Грузии, Татарии. Его посетили более 700 тысяч человек. Особый интерес экспозиция музея вызвала в трех городах, которые связаны с именем писателя. Навсегда нам запомнилось посещение Казани, города, с которым Льва Николаевича соединяли семейные связи и где для него «начался период самостоятельной жизни»<sup>1</sup>. Мы ходили по Казани и видели город юности Толстого: здесь, в доме на углу бывшего Арского поля, он жил со своими братьями; в этом городе он познакомился с Д. А. Дьяковым, человеком, к которому испытал «истинно нежное, благородное чувство дружбы»<sup>2</sup>. По признанию самого Толстого, эта дружба в первый год его студенческой жизни послужила ему материалом для изображения в «Отрочестве» и «Юности» дружбы Николеньки Иртеньева с Дмитрием Нехлюдовым. Не случайно передвижной музей вызвал большой интерес у жителей города, особенно те экспонаты, которые рассказывали о связях Толстого с Казанью. Специально для этой поездки была подготовлена выставка, которая так и

называлась «Толстой и Казань». В нее вошли схема маршрута, каким ехал Лев Толстой со своими братьями из Ясной Поляны в Казань в ноябре 1841 года, копия прошения на имя ректора Казанского университета Н. И. Лобачевского о допущении к вступительному экзамену на восточный факультет, портреты деда писателя И. А. Толстого, который был в 1815—1820 гг. губернатором г. Казани, тетки П. И. Юшковой, Д. А. Дьякова и т. д. Огромной популярностью пользовались фильмы о Толстом в Ясной Поляне, которыми научные сотрудники сопровождали свои экскурсии.

Шло время и оно, естественно, выдвигало свои требования к музею.

Новая передвижная экспозиция, созданная в 1981 году к 60-летию музея-усадьбы «Ясная Поляна» (авторы — худ. Ю. И. Антонов и научный сотрудник музея-усадьбы А. Н. Полосина), включала материалы, которые раскрывали разные периоды жизни и творчества Толстого. Так же как и раньше, основное место в передвижном музее заняли экспонаты, рассказывающие о глубокой связи писателя с Ясной Поляной.

Несмотря на то, что мы сохранили прежнее название музея — «Лев Толстой и Ясная Поляна», вторая экспозиция не стала повторением предыдущей. В ней появились новые темы, многое переосмысливалось заново.

В передвижном музее около 200 экспонатов из «Ясной Поляны» и Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве. Основу его экспозиции составляют фотографии и рукописи писателя.

Большое место отведено также книгам. Наибольший интерес вызывают первые издания произведений Толстого: повести «Детство», романов «Война и мир», «Анна Каренина», первая публикация романа «Воскресение». Впервые в экспозицию передвижного музея включены книги из личной библиотеки писателя с автографами его современников: Р. Роллана, А. Франса, И. Бунина, Л. Андреева, К. Тимирязева. О популярности Толстого в нашей стране и за рубежом напоминают современные советские издания и книги на иностранных языках. Представлены в экспозиции и уникальные реликвии — письменные принадлежности, принадлежавшие Льву Николаевичу, орудия физического труда и т. д.

В дни празднования 60-летия музея-усадьбы в центральном выставочном зале г. Тулы состоялось открытие новой передвижной экспозиции. А затем, по приглашению мемориального музея поэта Ованеса Туманяна, мы отправились в столицу Армении.

Армянский народ всегда с большим вниманием относился к Толстому. Лучшие его представители в разное время обращались к творчеству великого русского писателя, переводили его



произведения на родной язык, знакомили с ними народные массы. Многие армянские литераторы, общественные деятели, как и вся демократическая общественность в мире, откликнулись на смерть Толстого, переживая утрату. «Весь мир оплакал его смерть, потому что он думал, страдал и писал для всего человечества», — написал в 1910 г. О. Туманян.

Прекрасным дополнением к передвижному музею стала выставка произведений Л. Н. Толстого, переведенных на армянский язык, в том числе и книги из личной библиотеки Ованеса Туманяна, хранящейся в доме-музее поэта. Работая в Ереване, мы постоянно чувствовали дружескую поддержку и помощь сотрудников этого музея: ведь только в первые дни нашу экспозицию посетили более 7 тысяч человек! Это были не только жители и гости столицы Армении, но и люди из самых отдаленных районов республики.

Каждый новый маршрут означает для нас и «новое открытие» Толстого. Много интересного принесла нам поездка в Грузию. Впрочем, здесь нет ничего удивительного, поскольку с этим краем связан важный этап в жизни Л. Н. Толстого. Сюда он приехал в 1851 г., а в письме Т. А. Ергольской от 12 января 1852 г. Толстой пишет, что на Кавказе в нем «произошла большая нравственная перемена», что здесь он «стал лучше»; и далее: «я твердо уверен, что бы здесь со мной ни случилось, всё мне на благо...» (59, 162).

На Кавказе Толстой завершил работу над повестью «Детство», пребывание здесь дало ему материал для рассказов «Набег», «Рубка леса», повести «Казак». Всю жизнь Толстой любил Грузию, интересовался ее историей и культурой, имел друзей-грузин. В свою очередь, и грузинская интеллигенция горячо интересовалась личностью и творчеством Л. Н. Толстого. Начиная с 80-х годов XIX века, писатели, критики, журналисты постоянно публиковали материалы о русском писателе и мыслителе. Газета «Иверия», которую редактировал Илья Чавчавадзе, уделяла большое место произведениям Толстого. А Лев Николаевич, в свою очередь, в 1909 г. также интересовался творчеством Чавчавадзе.

Символично, что передвижной музей Толстого открылся именно в доме-музее самобытного грузинского поэта. На торжественное открытие музея собрались около 300 человек: представители общественности, видные ученые-литературоведы, студенты.

Со многими своими грузинскими знакомыми Толстой поддерживал связь и после отъезда из Грузии. Он интересовался положением местных духоборов, крестьянским движением в крае. О крестьянских выступлениях 1905 г. сообщил Толстому Н. Накашидзе через своего знакомого М. К. Кипиани. «Сведения, которые он, Кипиани, сообщил мне, — писал Толстой Накашидзе, — по моему мнению, огромной важности и непре-

менно надо познакомить людей с тем огромной важности событием, которое произошло в Грузии» (75, 215).

И грузинский народ отвечал горячей любовью на внимание Толстого. Начиная с 70-х годов, его произведения печатаются в грузинской прессе (в 1883—1903 годах в журналах «Джеджили», «Накадули»), выходят отдельными изданиями. В наши дни Толстой в республике у Черного моря — один из любимых авторов.

В 1984 году передвижной музей из Ясной Поляны по приглашению дирекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника экспонировался в городах Владимирской области. С владимирской землей у Толстого не было таких тесных связей, как с Казанью, Киевом, Грузией. Но ему приходилось бывать и здесь. 22 марта 1889 года Толстой отправился из Москвы в имение своего знакомого С. С. Урусова Спасское, которое находилось на границе Московской и Владимирской губерний.

С некоторыми владимирцами, писателем Н. Н. Златовратским, журналистом М. А. Левитским, врачом И. Ф. Лазаревым, Толстой поддерживал отношения и состоял в переписке. В личной библиотеке писателя до сих пор хранятся произведения Н. Н. Златовратского: «Барская дочь» («Рассказ доктора») и «Избранные рассказы для юных читателей».

Большим событием для нас была и поездка в Польскую Народную Республику в сентябре 1985 года, где мы приняли участие в Днях культуры Тульской области, проходивших в Валбжихском воеводстве, которое уже много лет является побратимом нашей области. Это была первая поездка за рубеж, принесшая нам, вместе с волнениями, много нового и интересного.

6 сентября наша делегация прибыла в г. Валбжих, а 7 сентября, в день официального открытия Дней культуры, мы торжественно открывали две наши выставки: передвижную экспозицию — в Доме советско-польской дружбы и выставку «Ясная Поляна в творчестве тульских художников» — в замке-музее «Ксёнж».

Нескончаем был поток посетителей на выставках в дни 157-й годовщины со дня рождения Л. Н. Толстого, которую мы встретили в Валбжихе. Специально для этой поездки в передвижной музей был включен целый ряд уникальных экспонатов: подлинные книги из личной библиотеки писателя и его портрет кисти польского художника Яна Стыки, с которым Толстой находился в переписке, выполненный в 1910 г. Особый интерес вызвали «Мемуары о революции 1830—31 гг.» Тадеуша Вылежинского, использованные Львом Николаевичем в период работы над статьей «Одумайтесь!» и рассказом из времен польского восстания «За что?», а также книга Стефании Лаудиновой с ее автографом: «Великому русскому. На память весны русско-польских отношений».

В течение ряда лет за пределами Ясной Поляны функционировали выставки «Толстой и народ», «Толстой и природа», «День Толстого», «Ясная Поляна в годы Великой Отечественной войны», которые размещались в школах, домах культуры, библиотеках, подшефных колхозах и воинских частях. Выставка «Ясная Поляна в творчестве московского художника А. Москаленко» побывала на БАМе и в областях Нечерноземья. Сотрудники нашего музея выезжали с этой выставкой на агитпоездах ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда» и «Ленинский комсомол».

А сколько забот и радости принесла нам выставка «Толстой глазами детей»! Это собрание, насчитывающее в общей сложности 1425 работ, из которых для экспонирования жюри отобрало 225 лучших, явилось результатом Всероссийского конкурса детских художественных работ, объявленного к 60-летию музея-усадьбы.

В 1984 году была создана еще одна передвижная выставка — «Толстой в фотографиях современников». Для показа было отобрано 80 фотографий из фондов ГМТ и Ясной Поляны. Это фотографии, выполненные известными фотографами того времени С. Л. Левицким, И. Жерюзе, либо людьми, близкими писателю — С. А. Толстой, В. Г. Чертковым. Авторы выставки (научный сотрудник музея-усадьбы Э. П. Абрамова, худ. Ю. И. Антонов) старались, чтобы на выставке были представлены как фотографии, хорошо знакомые нашим посетителям, что создавало бы «эффект узнавания» облика любимого писателя, так и редкие, мало известные. За два года выставка была показана в Туле, Москве, городах Владимирской и Тульской областей.

10-летие музея — это время подведения итогов. Много сделано за этот срок, многое предстоит сделать. Сотрудниками «передвижного» было прочитано более 700 лекций, сопровождавшихся показом фильмов, слайдов и другого иллюстративного материала, проведены десятки встреч со зрителями, любителями произведений Толстого. Передвижной музей — это и прекрасная возможность демонстрации фондов музея, растущих из года в год. Одна из самых главных задач на сегодняшний день: создание серии выставок для тружеников сельского хозяйства. И, конечно, мы думаем о новых экспозициях, о том, каким в будущем станет наш музей.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954, с. 158.

<sup>2</sup> Толстой Л. Н. Отрочество, гл. XX.

Б. С. Свадковский

### ДОМАШНИЕ ВРАЧИ ТОЛСТОГО

Толстого лечили многие врачи. Как ныне принято говорить, «по месту жительства». Лев Николаевич в Москве — его пользуют московские врачи. Он в Ясной Поляне — тульские. Иногда врачи из Калуги, иногда — из Москвы. Домашнего или постоянного врача у Толстого не было.

Придет новый век. Льву Николаевичу исполнится 73 года. Он, как всегда, будет много работать. Писать «Хаджи-Мурата», статьи, вести обширную переписку. В хамовническом, а затем яснополянском доме писателя по-прежнему будет много гостей.

Толстой стареет. Чаше навещают его болезни. Софья Андреевна обеспокоена здоровьем Льва Николаевича. Дочь врача, она вносит в дневник<sup>1</sup> симптомы болезней с медицинской достоверностью.

7 мая 1901 года Толстой написал в дневнике: «Смерть, казавшаяся невероятной, становится все более и более вероятной, и не только вероятной, но несомненной» (54, 97).

Отдельные визиты врача уже не могут быть эффективными. Что как болезнь застанет врасплох и еще до прибытия врача завершится трагически?

В Ясной Поляне возникает мысль о домашнем враче Толстого. С. А. Толстая приглашает врача, хотя бы на время, пожить в доме писателя. «Живет у нас, — записывает в дневнике Софья Андреевна, — молодой врач Витт Николаевич Саввин, следит за пульсом Л. Н., который при малейшей усталости учащается до 90 ударов...»<sup>2</sup>. У Толстого «появились то боли в области печени, то расстройство пищеварения, то стеснение в груди при частом и неровном пульсе. Врачи определяли хроническую болезнь печени, малярию и расстройство деятельности сердца»<sup>3</sup>.

Толстой нуждается в покое. Он должен быть освобожден от работы. Нужна неторопливая, размеренная, тихая жизнь. Лучше в мягком ласковом климате. Таким местом может быть Крым. И Софья Андреевна принимает все меры, чтобы исполнять советы врачей.

Из Ясной Поляны Лев Николаевич уехал в Крым 5 сентября

1901 года. Казалось, он был здоров. Еще 25 августа его осматривал главный врач Калужской губернской больницы И. И. Дубенский. Он нашел, что «Л. Н. в удовлетворительном состоянии»<sup>4</sup>. В Туле, в вагоне поезда, Толстой начал задыхаться. Поднялась температура. Был созван консилиум врачей. Возвращаться в Ясную или ехать в Крым? Толстой уехал в Крым.

В Крыму болезни не оставляют писателя. Особенно критическим стало положение Толстого в начале 1902 года. У Льва Николаевича тяжелое воспаление легких, плеврит. У постели Толстого почетный лейб-медик из Петербурга Л. Б. Бертенсон, из Москвы — В. А. Щуровский, ялтинский врач И. Н. Альтшуллер, мисхорский врач К. В. Волков, врач-писатель С. Я. Елпатьевский, великокняжеский доктор В. А. Тихонов. Были и другие доктора.

«Мой Левочка умирает», — записывает в дневник Софья Андреевна<sup>5</sup>. «Толстой очень плох, — пишет А. П. Чехов в письме к О. Л. Книппер. — ...Вероятно, о смерти его услышишь раньше, чем получишь это письмо. Грустно, на душе пасмурно»<sup>6</sup>. А. М. Горький сообщает В. А. Поссе: «Возможно, что когда ты получишь это письмо, Льва Толстого уже не будет в живых...»<sup>7</sup>.

— Думал, что умирает, — рассказывала Мария Львовна о болезни отца в Крыму, — говорил мне о завещании...<sup>8</sup>

С. А. Толстая приглашает в Крым «жить пока постоянно» земского врача И. М. Сивицкого. В аттестации врач не нуждается. Он обслуживает имение старшей дочери писателя Т. Л. Сухотиной-Толстой. И. М. Сивицкий живет у Толстых с 18 февраля по 8 марта 1902 года. Врач уехал. А как быть дальше?

П. А. Буланже писал: «Лев Николаевич стал выздоравливать, но был в такой степени слаб, с неправильной деятельностью сердца, нуждался в досмотре врача. Семья решила, несмотря на противодействие больного, пригласить постоянного врача, который бы жил у них в доме и следил за здоровьем Льва Николаевича»<sup>9</sup>.

Перенесена тяжелая болезнь. Речь шла о жизни и смерти писателя. Толстой еще «совершенно беспомощен», — пишет об отце Татьяна Львовна<sup>10</sup>. Но П. П. Буланже прав, говоря о «противодействии больного». Что стоит за этим «противодействием»?

Толстой не любил обращаться к врачам. Критически относился к лекарствам. Только настойчивость, «приставание», как напишет позже Д. П. Маковицкий, Софьи Андреевны и детей принуждали его покориться осмотру врача, принятию медицинского пособия.

«Мне кажется, — писал врач-литератор С. Я. Елпатьевский, — что отношение к медицине у него было, так сказать, крестьянское. Он так же, как и крестьяне, признавал только серьезное лечение, действенное, очевидное, показательное».

Так бывало, когда Льва Николаевича одолевали затянувшийся недуг или тяжелая болезнь, как случилось в Крыму. Тогда Толстой сам искал врача, принимал медицинское пособие. И «чем дальше шла болезнь,— отмечал С. Я. Елпатьевский,— ...тем покорнее *⟨он⟩* становился к медицине»<sup>11</sup>.

Толстой принимает врача, верит в него и его помощь. Об этом писал Л. Б. Бертенсон<sup>12</sup>. Он застал писателя не только в тяжелой болезни. Совсем плохо было то, что больной терял веру в выздоровление и ждал смерти. Надо было ободрить Льва Николаевича, поддержать его. Беседы, проведенные опытным врачом, не прошли даром. «Приехал Бертенсон,— записал Толстой в дневнике,— разумеется *⟨болезнь⟩* пустяки» (54, 119).

Да, когда тяжелая болезнь, нужен врач и его пособие. Можно понять Льва Николаевича. «Жизнь, какая бы ни была,— писал он,— есть благо, выше которого нет никакого» (54, 127).

Но болезнь была позади. Возвращалось здоровье, а с ним и прежнее отношение к своим недугам, к врачу и его пособию. Это и определяло «противодействие больного».

Толстой жил в обществе, раздираемом непримиримыми противоречиями. Граф по происхождению, он был на стороне простого русского мужика. Он знал его нелегкий удел и мучительно искал путей к его счастью. Лев Николаевич знал, что обездоленный крестьянский люд не имел в достатке хлеба, лишен был медицинский помощи.

Он писал в дневнике: «...пошел к Константину. Он неделю болен, бок, кашель. Теперь разлилась желчь. Курносенков был в желчи. Кондратий умер желчью. Бедняки умирают желчью!» (48, 47).

Толстой знал и писал о несостоятельности земской медицины. «Я знаю,— говорит Левин в «Анне Карениной»,— что рождаются детей миллионы без Москвы и докторов». С каким сарказмом писатель рассказывал о больнице Вронского, которая строилась и без родильного отделения, и без отделения для инфекционных больных. А эпидемии, одна за другой, шли по России. Бывали и холера, и тифы. Лев Николаевич посещал больных брюшным тифом. Интересовался мерами предупреждения инфекционных болезней и борьбы с ними. Сам предлагал простые и доступные для народа меры, пресекающие распространение таких болезней. Писатель знал, что «нет средств лечить рабочий народ», что «нет больниц», «не хватает докторов и фельдшеров». Нет необходимых медикаментов, хирургического инструментария, перевязочных средств.

Выздоровливая, Толстой часто вспоминал Ясную Поляну. Крапивинский уезд, куда входила Ясная, насчитывал 98 тысяч жителей. В нем было всего два земских участка и только один из них врачебный. По сегодняшним временам их там было бы двадцать пять.

Однажды Лев Николаевич спросил врача К. В. Волкова: «лечат ли в земской больнице больных стариков так же, как его?

Ему совестно было, что за ним так тщательно ухаживают и что столько врачей его лечат»<sup>13</sup>.

Как при таких обстоятельствах принять решение о домашнем враче?

Толстой идет на компромисс в спорах с Софьей Андреевной о домашнем враче. Но он ставит «одно неперемное условие». Врач должен лечить не только писателя, но и крестьян Ясной Поляны и окрестных деревень. Это был медицинский, «яснополянский компромисс» Толстого.

Приедет домашний врач в Крым. Позднее Толстой и семья вернутся в Ясную Поляну. А с ним и врач, чтобы исполнить «яснополянский компромисс» Толстого. Но Льва Николаевича не покидают сомнения о принятом им решении. Он остается верен себе и записывает в дневник: «безнравственно пользование исключительной помощью врачей, доступной только богатым» (54, 136—137).

Но пока еще идут поиски домашнего врача.

Татьяна Львовна обращается к врачу-писателю В. В. Вересаеву. Она пишет об отце: «оставлять его без врачебной помощи и надзора — невозможно... Мы ищем к нему постоянного врача». В письме высказывается пожелание — «как важно для нас, чтобы врач был симпатичным и хорошим», а также «тактичным человеком». «Не знаете ли кого-нибудь, кто взял бы на себя эту должность?» — спрашивает Татьяна Львовна.

Дочь Толстого не знает имени и отчества В. В. Вересаева. Она обращается к нему по фамилии. Фамилия его хорошо известна по нашедшим «Запискам врача». Они понравились Толстому.

«Нетрудно понять,— вспоминал В. В. Вересаев,— что тут в деликатной форме приглашают меня самого». Нелегкие раздумья врача. Раздумья в «жесточайших колебаниях». «Врач я молодой,— писал о себе В. В. Вересаев,— всего несколько лет со студенческой скамьи, неуверенный в себе, без достаточной опытности». «Записки врача», считал их автор, только осложняли положение. В них — критический взгляд на медицину, врачей, лечение. Вряд ли они будут способствовать авторитету домашнего врача. И В. В. Вересаев позже, в августе 1908 года, посетив Ясную Поляну, будет искренне удивлен, как послушен и деликатен в своем отношении к домашнему врачу Толстой.

И вот ответ врача: «написал Татьяне Львовне, что не решаюсь взять на себя ответственность за такую дорогую для меня и для всех жизнь, как жизнь Льва Николаевича»<sup>14</sup>.

«...в начале марта,— писал П. А. Буланже,— я уезжал на север... с поручением семьи подыскать такого врача, который

вскоре и нашелся»<sup>15</sup>. Известны имена кандидатов. Среди них Н. А. Петрусович, Н. А. Решетов, Д. В. Никитин. Врач П. С. Усов и адвокат В. А. Маклаков — люди тогда близкие к семье Толстого — рекомендовали молодого врача Д. В. Никитина<sup>16</sup>.

Дмитрий Васильевич Никитин (1874—1960) окончил медицинский факультет Московского университета в 1897 году. Экстерном, а затем штатным ординатором служил в терапевтической клинике известного профессора А. А. Остроумова. Учитель мог оказать влияние на решение своего ученика. А. А. Остроумов особенно подчеркивал возможность плодотворной деятельности врача в условиях русской деревни. «Врачебная деятельность в ограниченном тесном кругу,— говорил он,— дает больше средств для наблюдений. Где врач часто знает больного и его среду задолго до болезни, где лечит и родных больного, продолжает наблюдать всю семью и после болезни, дает больше материала для научных выводов»<sup>17</sup>.

30 марта 1902 года Д. В. Никитин приехал в Крым. Постоянный домашний врач. Новое в семье писателя. Об этом сообщает Софья Андреевна в письмах к сестре, Т. А. Кузминской. В первом — о том, что «доктор... постоянно следит» за здоровьем Льва Николаевича. Но еще не ушло сомнение — приживется ли? Во втором — сомнение как будто рассеялось: «У нас живет постоянный доктор»<sup>18</sup>. А как принял врача Толстой? Он пошел на компромисс. Врача надобно принимать. И в день его приезда Лев Николаевич записал в календарном блокноте: «Приехал доктор Никитин жить» (54, 303).

27 июня Толстой, его семья и домашний врач возвратились в Ясную Поляну.

Доктор Никитин лечит Льва Николаевича и его семью<sup>19</sup>. Открывается бесплатный прием больных в Ясной Поляне. В амбулатории ежедневно проводился прием 20—25 больных. Были и визиты к больным на дом. Некоторое время врачу помогала дочь писателя, Александра Львовна, выполняя обязанности фармацевта.

«Местные крестьяне,— сообщала канцелярия тульского губернатора в секретном уведомлении врачебному управлению от 29 октября 1902 года,— ввиду дальнего расстояния их места жительства от земского врачебного пункта, охотно являются за медицинской помощью к доктору Никитину и лечившиеся у него отзываются с полной благодарностью»<sup>20</sup>.

Д. В. Никитин участвовал в переписке рукописей «Хаджи-Мурата». Иногда выполнял отдельные поручения как секретарь писателя.

Наряду с медицинской деятельностью, Д. В. Никитин выступает в печати, критикуя бесправие и жестокую эксплуатацию рабочих. Активная общественная деятельность — бесплатная медицинская помощь крестьянам, выступления в печати, а также работа домашним врачом Толстого — навлекли на него



репрессии. В июне 1904 года Тульское губернское жандармское управление затребовало от губернатора сведения о благонадежности врача. Ответ, по-видимому, был отрицательный. Д. В. Никитин не был утвержден врачом в земскую больницу, что было равносильно его вынужденному уходу от Толстого.

2 сентября 1904 года Д. В. Никитин покинул Ясную Поляну. За время работы домашним врачом он дважды выезжал. Сначала по семейным обстоятельствам, затем по предложению Толстого был за границей, где проходил профессиональное усовершенствование и посетил В. Г. Черткова в Англии. Немногом более года врач провел вместе с писателем. Д. В. Никитин называл это время самым счастливым в его жизни. Он еще не раз посетит Толстого. Не раз примет участие в оказании писателю медицинской помощи. Врач пользовался высоким профессиональным авторитетом и был искренним другом писателя и его семьи. Лев Николаевич ценил и уважал Д. В. Никитина. «Он очень внимательный человек и знает все, что знает теперь медицина» (74, 145). «Дмитрий Васильевич хороший, милый человек, старательный»<sup>21</sup>.

1910 год. Астапово. Последняя болезнь Толстого. В ночь с 1 на 2 ноября Александра Львовна отправляет брату Сергею Львовичу телеграмму: «Положение серьезное. Привези немедленно Никитина». 3 ноября врач был у постели Толстого.

Д. В. Никитину принадлежат воспоминания о днях, проведенных у постели больного в Ясной Поляне, в Крыму, а также о последних часах жизни писателя<sup>22</sup>.

В первый отъезд Д. В. Никитина обязанности домашнего врача временно исполнял Эразм Леопольдович Гедговд. Он — соученик Д. В. Никитина по ординатуре у профессора А. А. Остроумова. «1 февраля 1903 года. Приехал новый домашний врач Э. Л. Гедговд», — записала в ежедневнике С. А. Толстая (ГМТ).

«У нас живет, — сообщал Лев Николаевич в письме к Татьяне Львовне, — ...бесполезный, но приятный, веселый доктор» (74, 84). «Приятный, веселый» нрав врача Толстой подчеркивает и в письме к Марии Львовне и ее мужу, сообщая им об обстановке в яснополянском доме: «доктор хохочет» (74, 54). А какая медицинская деятельность врача? О ней сведений нет. «Бесполезный» — в письме Толстого — это не оценка профессиональной деятельности врача, а отношение писателя к своему лечению.

Интересно свидетельство П. А. Сергеевко. «Знаете, — говорил он Д. П. Маковицкому, — вы первый врач, к которому Л. Н. относится дружески. Гедговд был совсем противоположных взглядов»<sup>23</sup>. Видимо, врач не был сторонником мировоззрения Толстого.

Такое уже случалось у Льва Николаевича с врачами. Долгие годы писатель дружил с известным профессором Г. А. Захарьиным. Но между ними произошел разлад. Однажды Толстой

спросил Г. А. Захарьина: «Читали ли вы мою книгу «В чем моя вера?». Врач ответил отрицательно, сославшись на всегдашнюю занятость. Лев Николаевич настойчиво просил его найти время для знакомства с названной книгой. Г. А. Захарьин прочел и «В чем моя вера?», и «Исповедь», но не принял религиозного учения Толстого и особенно критиковал его отношение к смерти. Беседа между ними на эту тему оказалась их последней беседой<sup>24</sup>.

Но вряд ли эта коллизия повторилась в отношении домашнего врача. Э. Л. Гедговд оставался в Ясной Поляне до возвращения Д. В. Никитина. 3 июля 1903 года Толстой сообщал в письме к Татьяне Львовне: «Завтра счастливый день. Один доктор уедет, другой не приедет» (74, 163). Не любит Лев Николаевич лечиться, и это снова выражено в его письме. 4 июля возвратился Д. В. Никитин.

Э. Л. Гедговд покинул Ясную Поляну. Он уехал военным врачом на Дальний Восток. Позднее он сообщит в письме к Ю. И. Игумновой, что китайский посланник является поклонником творчества Льва Николаевича<sup>25</sup>. В 1909 году он передает Д. В. Никитину для Льва Николаевича учебник японского языка и японские книги. В дневнике Толстого есть запись о чтении этих книг (57; 189, 394).

Во время второго отъезда Д. В. Никитина обязанности домашнего врача принял Григорий Моисеевич Беркенгейм (1872—1919). Он был университетским товарищем Д. В. Никитина. Одаренный врач, человек большой культуры и редкого такта, он быстро нашел контакт с писателем и его семьей.

Толстой писал своему корреспонденту: «Григория Моисеевича чем больше узнаешь, тем больше его ценишь» (90, 329). С. А. Толстая сделала запись в дневнике: «Доктор Беркенгейм участливо смотрит на меня, видя мою тоску, и читает мне по вечерам. Читали Чехова и это приятно»<sup>26</sup>.

Г. М. Беркенгейм еще не раз посещал Ясную Поляну. Особенно, когда уезжал временами на родину Д. П. Маковицкий. Был он в тяжелые дни и в Астапово. Он оставил ценные воспоминания о писателе и последних днях его жизни<sup>27</sup>.

После отъезда Д. В. Никитина снова начались поиски домашнего врача. Одним из кандидатов был В. К. Кайзер — ученик профессора А. А. Остроумова, однокурсник и друг Д. В. Никитина. Он был знаком с С. Л. Толстым, его сыном Сергеем, знал детей И. Л. Толстого. Но от обязанностей домашнего врача Толстого В. К. Кайзер отказался<sup>28</sup>.

Домашним врачом в Ясную Поляну приехал Владимир Васильевич Рахманов (1864—1919). Он был единомышленником Толстого. Жил в толстовских общинах А. В. Алехина, М. А. Новоселова. Обсуждал с писателем возможности оказания материальной помощи духовоборам. Бывал в доме Толстого. С. А. Тол-

стая не любила его, относилась к числу чуждых и несимпатичных людей, тяжелых в семейной жизни<sup>29</sup>.

Д. В. Никитин передал В. В. Рахманову медицинские сведения о болезнях Толстого. Но врач недолго пробыл в Ясной Поляне. Причиной тому могла быть неприязнь к нему Софьи Андреевны.

С 18 декабря 1904 года домашним врачом писателя стал Душан Петрович Маковицкий (1866—1921). Словак по происхождению, он окончил медицинский факультет Карлова университета в Праге. Единомышленник Толстого, он дважды посещал Ясную Поляну, прежде чем стал жить в ней. Был у писателя в Крыму. В октябре 1904 года он жил в Англии, у В. Г. Черткова. По его поручению 26 октября приехал в Ясную Поляну. Софья Андреевна предложила ему временно остаться домашним врачом Толстого. Случилось так, что он выполнял свои обязанности до последних минут жизни писателя.

Толстой горячо любил Д. П. Маковицкого. «Желал бы быть Душан Петровичем. Ах, он все знает, всем нужен»<sup>30</sup>. «Душан все больше и больше привлекает меня серьезностью, умом, знанием, добротой» (57, 136). «Что за милый, удивительный по добродетели человек. Учиться у него надо. Я не могу без любовного умиления о нем думать» (58, 11).

Д. П. Маковицкий следит за здоровьем писателя. Выполняет назначения приглашаемых к Толстому врачей. В периоды ухудшения его состояния неотлучно находится около больного.

Вновь открывается амбулатория в Ясной Поляне. С 8 утра до 2 часов дня прием больных. Затем визиты к больным на дом. «Много больных», «множество больных», «наплыв больных», — записывает он в дневнике. «Я весь день был занят больными и вернулся только к вечеру». «У меня было 24 новых и 20 старых больных». «Сегодня в амбулаторию приехало больных на 20 санях»<sup>31</sup>. Врач, вспоминал В. Ф. Булгаков, «на тряской телеге разъезжал по округе с радиусом верст сорок и совершенно бескорыстно или за 5-копеечные гонорары лечил крестьян многих деревень, бесплатно раздавал лекарства, делая перевязки, помогая роженицам»<sup>32</sup>.

В приеме больных, как и прежде Д. В. Никитину, помогает Александра Львовна. Она «ходит в амбулаторию... с того самого времени, как я начал жить в доме Толстых», — свидетельствует Д. П. Маковицкий<sup>33</sup>. Бывали у него и другие помощники из семьи писателя или его друзей. Работу медицинской сестры исполняла местная крестьянка М. А. Орехова. Позже она стала женой врача.

Д. П. Маковицкий оставался в Ясной Поляне еще несколько лет после смерти Толстого. В 1914 году он был арестован за то, что подписал воззвание против войны. Ясная Поляна осталась без врача. С. А. Толстая сообщала в письме к В. Ф. Булгакову: «Весь народ вокруг Ясной ... бедствует без медицинской помо-

щи. Вчера был случай на деревне, где нужна была немедленная хирургическая помощь, а подать ее некому, и вероятно больной умрет. И много таких случаев»<sup>34</sup>. Что может быть убедительнее значения «яснополянского компромисса» Толстого!

Были и временные отъезды Д. П. Маковицкого на родину в Словакию. Врача подменяли в 1905 году — Г. М. Беркенгейм, в 1907 году — В. М. Арцимович, в 1908 и 1909 годах в Ясную Поляну снова приезжали Д. В. Никитин и Г. М. Беркенгейм, иногда и другие доктора.

Когда Д. П. Маковицкий был занят лечением писателя или членов его семьи, Толстой беспокоился: «А как другие больные?» Д. П. Маковицкий сопровождает писателя во время его пребывания в Кочетах. Там врачу сообщили из земской управы о распространении холеры в Тульской губернии. Толстой беспокоился, не упрекают ли Маковицкого за отъезд из Ясной Поляны, не зовут ли? «Ему, видно, — записывает в дневник Д. П. Маковицкий, — неловко из-за меня, он помнит, что я бросил больных»<sup>35</sup>.

Толстого волнуют различные стороны медицинского обеспечения Ясной Поляны и окружающих деревень. И какие больные преобладают, и как протекают эпидемии инфекционных болезней, и эффективна ли врачебная помощь. Писателя интересуют и отдельные болезни, их распространение, причины, лечение<sup>36</sup>.

Не все можно признать безошибочным в действиях Д. П. Маковицкого как врача. После приступа грудной жабы писателю разрешается прогулка верхом на лошади. Такая же прогулка во время воспаления вен ноги вызывает обострение болезни.

Льва Николаевича осаждают посетители. Знакомые и незнакомые гости Ясной Поляны. Толстой утомлен.

— Эти хуже, чем экспроприаторы, — возмущается Софья Андреевна, — надо от них браунингами защищать Льва Николаевича.

Она обращается к Д. П. Маковицкому:

— Какой вы доктор, когда позволяете так утруждать его<sup>37</sup>.

Следует согласиться с упреками в адрес Маковицкого по поводу того, что он не смог удержать Толстого от поспешного отъезда из Ясной Поляны, приведшего к трагическому финалу.

«И все же, — справедливо говорит В. Ф. Асмус, — записи Маковицкого в целом правдиво воссоздают не только хронику последних дней, часов и минут Толстого, но и всю исполненную драматизма и смятения обстановку в яснополянском доме накануне и в дни его ухода»<sup>38</sup>.

Напомним, что не только заботы врача выпали на долю Д. П. Маковицкого. Он переписывал рукописи писателя. Был его переводчиком, главным образом на славянские языки. По-

могал разбирать почту. Выполнял и другие поручения Льва Николаевича. Но, пожалуй, наибольшую известность принесли Д. П. Маковицкому его «Яснополянские записки» — летопись последних лет жизни Толстого.

28 октября 1910 года Толстой ушел из Ясной Поляны навсегда. Его сопровождал Д. П. Маковицкий. В дороге писатель заболел воспалением легких — это была его последняя болезнь. Ранним утром 7 ноября Льва Николаевича не стало. Д. П. Маковицкий закрыл Толстому глаза. Часы на станции Астапово показывали 6 часов 5 минут...

Домашние врачи Толстого. Они оказывали писателю медицинскую помощь. Были его собеседниками в яснополянском доме. Присутствовали при встречах писателя с ходоками от народа, известными деятелями русской и зарубежной науки и культуры, гостями, друзьями и близкими. Им посчастливилось быть первыми читателями или слушателями только что написанных произведений писателя. Они помогали Толстому, выполняя обязанности его секретарей.

Врачи оставили будущим поколениям интереснейшие свидетельства о писателе, его привычках и склонностях, отношении к событиям личной и общественной жизни. И, конечно, в наибольшей степени это относится к «Яснополянским запискам» Д. П. Маковицкого.

Нельзя не сказать и о той высокой ответственности, которая выпала на домашних врачей за жизнь писателя.

Домашние врачи Толстого выполняли неперемное условие Льва Николаевича — оказывали медицинскую помощь крестьянам Крапивенского уезда. Этот яснополянский «медицинский компромисс» Толстого — еще один штрих к биографии писателя.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См.: Толстая С. А. Дневники: В 2-х т. М.: Худож. лит., 1978.

<sup>2</sup> Толстая С. А. Дневники, т. 2, с. 24.

<sup>3</sup> Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1965, с. 221.

<sup>4</sup> Толстая С. А. Дневники, т. 2, с. 27.

<sup>5</sup> Там же, с. 43.

<sup>6</sup> Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. М., 1950, том XIX, с. 71.

<sup>7</sup> Горький А. М. Собр. соч. М., т. 28, № 194.

<sup>8</sup> Лит. наследство, т. 90. У Толстого. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. М., 1979, кн. 1, с. 100.

<sup>9</sup> Буланже П. А. Болезнь Л. Н. Толстого в 1901—1902 гг. — Минувшие годы, 1908, № 9, с. 65.

<sup>10</sup> Письмо Т. Л. Сухотиной-Толстой к В. В. Вересаеву от (февраль — март?) 1902 года. Цит. по кн.: В. В. Вересаев. Лев Толстой: — Соч. М., 1948, т. 4, с. 492.

<sup>11</sup> Елпатьевский С. Литературные воспоминания. М., б/г, с. 33, 36.

<sup>12</sup> Гуревич С. А. Врач, лечивший И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, М. П. Мусоргского (о выдающемся русском враче и общественном деятеле Л. Б. Бертенсоне). — Клиническая медицина, 1977, № 2, с. 151.

- <sup>13</sup> Толстой С. Л. Очерки былого, с. 226.
- <sup>14</sup> Вересаев В. В. Лев Толстой. Соч. М., 1948, т. 4, с. 492.
- <sup>15</sup> Буланже П. А. Болезнь Л. Н. Толстого в 1901—1902 гг., с. 65.
- <sup>16</sup> Кулижников Г. А. Первый домашний врач Льва Толстого. М., 1978, машинопись (ГМТ).
- <sup>17</sup> Остроумов А. А. Клинические лекции. Избр. соч. М., 1950, с. 259.
- <sup>18</sup> Письма С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 11 апреля и 2 июня 1902 года (ГМТ).
- <sup>19</sup> Никитин Д. В. Рабочие на железнодорожных постройках (из записок врача).— Русское богатство, 1904, № 6, с. 202—220.
- <sup>20</sup> Петухов А. А. Врач Л. Н. Толстого под надзором полиции.— Советские архивы, 1971, № 4, с. 104.
- <sup>21</sup> Маковицкий Д. П. Яснополянские записки, кн. 1, с. 168.
- <sup>22</sup> Никитин Д. В. Последние дни Л. Н. Толстого.— Русские ведомости, 1911, 6 ноября, № 256; Последние часы Льва Толстого.— Яснополянский сборник. Тула, 1960, с. 185—192; Маковицкий Д. П. Яснополянские записки, кн. 1.
- <sup>23</sup> Там же, с. 125.
- <sup>24</sup> Коладзе Н. Н. Николай Федорович Голубов (к 125-летию со дня рождения).— Клиническая медицина, 1982, № 11, с. 123.
- <sup>25</sup> Маковицкий Д. П. Яснополянские записки, кн. 1, с. 125.
- <sup>26</sup> Толстая С. А. Дневники, т. 2, с. 98.
- <sup>27</sup> Беркенгейм Г. М. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом и его последних днях.— Русские ведомости, 1911, 6 ноября.
- <sup>28</sup> Иванова З. Н. О чем рассказал автограф.— Вечерняя Москва, 1978, 4 сент.
- <sup>29</sup> Толстая С. А. Дневники, т. 2, с. 123.
- <sup>30</sup> Маковицкий Д. П. Яснополянские записки, кн. 2, с. 128.
- <sup>31</sup> Там же, кн. 1, с. 197, 251, 253, 311, 414, 476.
- <sup>32</sup> Булгаков В. Ф. Д. П. Маковицкий. В кн.: Лев Толстой, его друзья и близкие (воспоминания и рассказы). Тула, 1970, с. 200.
- <sup>33</sup> Маковицкий Д. П. Яснополянские записки, кн. 1, с. 197.
- <sup>34</sup> Письмо С. А. Толстой к В. Ф. Булгакову от 12 мая 1915 года.— В кн.: Булгаков В. Ф. О Толстом. Тула, 1964, с. 297.
- <sup>35</sup> Маковицкий Д. П., Яснополянские записки, кн. 4, с. 351.
- <sup>36</sup> См.: Там же, кн. 3, с. 16, 147.
- <sup>37</sup> Там же, с. 112.
- <sup>38</sup> См.: Асмус В. Ф. Толстой в дневнике Маковицкого. Эпоха, мировоззрение, быт; Зайденшнур Э. Е. Яснополянские записки. Их место среди других дневников о Толстом. Обзор основного содержания. Предыстория публикации.— В кн.: Маковицкий Д. П. Яснополянские записки, кн. 1, с. 31, 65, 67—68.

Г. М. Поляков

## ТОЛСТОЙ В ДОМЕ У И. И. ОЗОЛИНА

Случай свел вместе великого писателя Льва Николаевича Толстого, чья слава уже давно перешагнула границы России, и скромного начальника железнодорожной станции Астапово Ивана Ивановича Озолина.

До той встречи, 31 октября 1910 года, когда с поезда № 12, следовавшего из Смоленска в Козлов, сошел, в сопровождении дочери Александры Львовны, ее компаньонки В. М. Феокритовой и доктора Д. П. Маковицкого, заболевший в пути Толстой, Озолин не был лично знаком с писателем. Но, как и тысячи людей в России, знал его не только как автора выдающихся произведений литературы, но и великого борца с социальной несправедливостью, за права угнетенного народа. Знал он, несомненно, и то, что царское правительство ненавидело Толстого за его выступления, что он отлучен от церкви, а близкие к нему лица подвергались гонениям.

Однако это не помешало Озолину (тут мы должны заметить, что, будучи лицом официальным, начальник станции Астапово шел на серьезный риск, принимая у себя опального писателя) без колебаний предложить больному Льву Николаевичу лучшую комнату в своей квартире. В тот же вечер для лиц, сопровождавших Толстого, Озолин освободил и вторую комнату.

Почему он так поступил? Только ли из общих соображений элементарной гуманности? Наверное, нет. Сын рабочего, прошедший суровую жизненную школу и хорошо знавший положение трудового народа в царской России, Озолин задолго до встречи с Толстым в Астапове относился к нему с уважением и глубокой симпатией.

И. И. Озолин родился 1 (13) января 1873 года в Витебске. По национальности латыш, он «был приписан», как тогда сообщали в официальных бумагах, к г. Риге Лифляндской губернии. Отец Ивана Ивановича работал осмотрщиком железнодорожных вагонов на станции Витебск. Умер он, вероятно, до 1890 г., точных сведений не сохранилось. Не знаем мы и имени матери Озолина. Известно лишь, что, кроме него, в семье

были еще младший брат Артур и старшая сестра Люция. Впоследствии она жила в Саратове, работала портнихой, а брат служил офицером где-то в Сибири.

Начальное образование И. И. Озолин получил в родном городе, но из-за крайней бедности вынужден был пойти, когда ему минуло 16 лет, работать. По всей вероятности, как и отец, он поступил рабочим на железную дорогу.

Однако через некоторое время Озолин уезжает в Саратов, где ему удастся продолжить образование. По нашим предположениям, он оканчивает Саратовское техническое железнодорожное училище при управлении Рязано-Уральской железной дороги. Кстати, и должности помощника начальника станции, и начальника станции, которые впоследствии занимал Озолин, предусматривали для кандидата на эти посты наличие соответствующих дипломов об образовании. В дальнейшем вся недолгая жизнь Ивана Ивановича была связана с Рязано-Уральской железной дорогой.

В 1897 году Озолин (в то время телеграфист) женился на Анне Филипповне Асмус. Молодой, подающий надежды служащий, быстро продвигался: его назначают помощником начальника станции Ильинка, затем Саратов-Товарная (ныне Саратов-2), потом — Козлов (ныне — Мичуринск). Позднее он работает уже начальником станции — в Увеке, Кочетовке (между Мичуринском и Богоявленском), Елани и Сердобске.

По воспоминаниям Анны Филипповны, ее мужа в 1905 году за участие в революционном движении начальство уволило. Но неожиданно в 1909 году Озолина снова назначают начальником, теперь уже узловой станции Астапово, что считалось несомненным повышением.

Судьбе было угодно распорядиться так, что последние дни своей жизни великий писатель России провел в доме именно этого человека, а название станции Астапово стало известно всему миру.

...Состояние здоровья Толстого быстро ухудшалось, болезнь — воспаление легких — прогрессировала. Стало ясно, что Лев Николаевич не сможет, как намеревался, продолжать свой путь. Тогда, 3 ноября, желая создать писателю полный покой, Озолин освобождает полностью свою четырехкомнатную квартиру. Супруга его и четверо детей от 2 до 8 лет переселяются в комнату сторожа в том же доме. Сам же Иван Иванович остается в квартире, чтобы в любое время быть готовым помочь больному и его окружающим.

В напряженной, насыщенной драматизмом обстановке «астаповских дней» И. И. Озолин старался быть максимально полезным Льву Николаевичу. Все свободное от служебных обязанностей время он находился вблизи писателя — выполнял его просьбы и просьбы дочери Толстого и его доктора, а позже —



и поручения приехавшего в Астапово друга писателя В. Г. Черткова.

Озолин приглашает к больному местных врачей Л. И. Стоковского и А. П. Семеновского, ходит в аптеку за лекарствами, лично относит на почту телеграммы. В комнате, где находился больной, Иван Иванович сделал все так, чтобы Толстому было максимально удобно.

В первые дни после приезда писателя в Астапово начальника станции, по просьбе младшей дочери, не отвечает на вопросы о здоровье Толстого уже появившихся здесь корреспондентов.

Однако не только газетных репортеров интересовало, как и зачем покинул Толстой Ясную Поляну. Озолина вызвал на допрос чиновник, присланный тульским губернатором. В присутствии начальника жандармского отделения тот интересовался: куда ехал писатель, кто его сопровождает, не здесь ли и В. Г. Чертков?

Однако ему пришлось удовольствоваться весьма и весьма краткими ответами начальника станции.

Вскоре в Астапово начали приезжать родственники Льва Николаевича, его друзья и единомышленники, приехали и доктора из Москвы. Почти всех их Озолин встречал, радушно принимал, устраивал на квартиры. С жильем, кстати, возникали сложности, но служащие станции, зная, что это делается ради спасения Толстого, шли своему начальнику навстречу.

Утром 2 ноября приехали В. Г. Чертков и А. П. Сергеевко, которым больной очень обрадовался. Хотя им и была приготовлена квартира, но, по просьбе Озолина, они разместились у него. Вечером приехал старший сын писателя, Сергей Львович, — для него нашлось место в квартире помощника начальника станции.

В 11 часов вечера Иван Иванович встречает экстренный поезд, с которым прибыли жена писателя Софья Андреевна, его дочь Татьяна, сын Михаил, а также сын Андрей со своей женой и родственником В. Н. Философовым. Отказавшись от приготовленных для них квартир, приехавшие изъявили желание жить в вагоне. Обстановка вокруг Толстого сразу же осложнилась в связи с настойчивым желанием Софьи Андреевны увидеться с мужем — этому противодействовали, боясь за состояние больного, остальные члены семьи и домашний доктор писателя, Д. П. Маковицкий.

3 ноября с утренним поездом из Москвы прибыли врач Д. В. Никитин, издатель И. И. Горбунов-Посадов и профессор консерватории А. Б. Гольденвейзер.

4 ноября из Москвы вызвали врача Г. М. Беркенгейма, а 6-го — приехали в Астапово известные, московские врачи В. А. Щуровский и П. С. Усов. Состоялся консилиум, на кото-

ром доктора сошлись во мнении, что состояние здоровья писателя нельзя признать безнадежным.

К маленькой станции в центре России в те ноябрьские дни было приковано внимание миллионов людей в разных странах мира. Более 100 корреспондентов, приехавших в Астапово, постоянно передавали информацию о состоянии здоровья писателя. Однако все усилия врачей спасти жизнь Толстого оказались напрасными: в 6 часов 5 минут утра 7 ноября 1910 года Лев Николаевич скончался. Озолина в тот момент в доме не было — он встречал поезд, в котором прибыл в Астапово Управляющий Рязано-Уральской железной дорогой Д. А. Матренинский.

И. И. Озолин и его супруга приготовили свою квартиру для прощания народа с покойным. К тому времени из Москвы приехали еще скульпторы С. Д. Меркуров и И. Я. Гинцбург, художник Л. О. Пастернак. Тысячи крестьян, железнодорожников и солдат пришли почтить память великого писателя.

8 ноября в 13 ч. 10 минут поезд с траурным вагоном отправился из Астапово на ст. Засака, вблизи Ясной Поляны. И. И. Озолин поехал вместе с близкими и друзьями покойного в Ясную Поляну для участия в похоронах. Из всех служащих станции только ему одному Управляющий дорогой разрешил эту поездку. Сам начальник дороги проводил покойного до ст. Горбачево.

По мнению многих, И. И. Озолин в те горестные дни сделал все от него зависящее, чтобы хоть немного облегчить страдания Толстого. И делал он это с большим тактом, участием, необыкновенной чуткостью. В ту неделю и позже начальник станции получил много писем и телеграмм из всех уголков России от лиц разных сословий с выражением ему благодарности «за Толстого».

Даже сам писатель в первые дни своего пребывания в квартире Озолина несколько раз благодарил хозяев и успел записать в дневнике: «Любезный начальник станции дал две прекрасные комнаты» (58, 126).

Слова благодарности слышал Озолин и от близких, единомышленников и друзей Толстого.

Вернувшись с похорон писателя, Иван Иванович сразу объявил, что комната, где умер Лев Толстой, должна сохраняться как мемориальная, со всей обстановкой. Тогда же и позднее Озолины показывали комнату посетителям, главным образом пассажирам прибывающих в Астапово поездов. Отказа, как вспоминает няня семьи начальника станции М. А. Сысоева, не было никому.

После смерти Толстого Иван Иванович прожил всего два с небольшим года. Влияние на него писателя, его личности оказалось так велико, что он, уже будучи тяжело больным,

перечитал многие произведения Льва Николаевича и до конца своих дней не расставался с его портретом.

Внезапная беда — жестокий приступ инсульта — сделала невозможным для Озолина исполнение обязанностей начальника железнодорожного узла. Работу пришлось оставить, и два или три месяца он лечился в Пироговской больнице в Москве, куда его привезла жена. В дальнейшем здоровье Озолина несколько улучшилось, но о службе не могло быть и речи. Семья переехала в Саратов, где жили сестра жены Анны Филипповны, а также мать и сестра Ивана Ивановича.

Озолины приехали в город на Волге осенью 1912 года, захватив с собой небольшую часть своего скромного имущества, среди которого был и большой сундук с книгами. В нем, в частности, хранилось полное собрание сочинений Толстого с дарственной подписью «графиня Софья Андреевна Толстая». Известны лица, проживающие доныне в Саратове, которые видели эти книги. Но до наших дней книги, увы, не сохранились.

В Саратове Анна Филипповна сняла небольшую квартиру в доме Шуваева по Железнодорожной улице, 42, на окраине города. В этом доме Иван Иванович умер от паралича 15 (28) января 1913 года.

Позже на могиле Озолина (не без помощи семьи Толстых) был установлен памятник из черного мрамора. К сожалению, ни дом, где провел свои последние дни начальник станции Астапово, ни лютеранское кладбище, где была его могила, не сохранились.

Сохранился музей на нынешней железнодорожной станции Лев Толстой (б. Астапово), начало которому было положено И. И. Озолиным. Сохранилась память благодарных потомков об этом человеке, настоящем представителе демократической интеллигенции России.

С. С. Корыстин

## Л. Н. ТОЛСТОЙ И Э. КРОСБИ

(Из истории переписки)

В одной из дневниковых записей около 27 мая 1891 года Толстой отметил получение письма «...от англичанина из Египта. Книга о жизни помогла ему жить» (52, 34). Автором этого письма был Эрнест Кросби, занимавший в Международном суде в городе Александрия видный пост судьи. Ранее, до назначения на эту должность он после окончания курса в университете был определен на службу в суде Нью-Йорка, на то место, которое до него занимал будущий президент США Т. Рузвельт. Кросби ждала большая карьера. Но в дальнейшем судьба его сложилась иначе.

Случайно в книжном магазине в Александрии ему попалась, переведенная на французский язык книга Толстого «О жизни». Ранее Кросби знал русского писателя как автора романа «Анна Каренина» и еще нескольких статей о «вредных привычках». Знакомство с понравившимся романом, статьями Льва Николаевича невольно привлекло внимание Кросби к его новой книге под заманчивым названием, и он решил приобрести ее. Об этой покупке Кросби вспоминал так: «Принеся ее домой, я прочел ее почти в один присест»<sup>1</sup>.

Книга эта перевернула всю его жизнь. Кросби неожиданно отказался от должности представителя Соединенных Штатов в Международном суде, от заманчивой политической карьеры и написал Толстому то самое письмо, о котором Лев Николаевич сделал пометку в дневнике.

А 12 мая 1894 года Толстой сообщил находившейся в то время в Москве Софье Андреевне, что у него в Ясной Поляне находится Кросби, с которым он «...гулял и промок...» (84, 217). В дневнике за 15 мая читаем еще одну запись: «Был американец Crosby. Не знаю, как определить его» (52, 118).

Посетителей у Толстого было много, а единомышленников и последователей, особенно искренних, мало. Не мудрено поэтому, что Толстой, как вспоминал он позднее об этом, «...несмотря на привлекательную личность Кросби, я в своем суждении не выделил его из обычных американских посетителей, руководимых в своих посещениях только моей извест-

ностью» (40, 339). Впрочем, обычный вопрос к Толстому во время прогулки о том, что он посоветует ему делать по возвращении в Америку, несколько удивил Толстого своей необычностью, но после этого он не изменил своего отношения к Кросби. К высказанному американским гостем Ясной Поляны намерению о перемене образа жизни Толстой отнесся с недоверием и вспоминал о нем так: «Я никак не думал, что этот образованный, красивый, богатый, пользующийся хорошим общественным положением человек мог серьезно думать о том, чтобы, пренебрегши всем прошедшим, посвятить свою жизнь служению Богу» (40, 339).

Но, несмотря на свое недоверие, Толстой ответил Кросби: «есть у них в Америке великий человек Джордж, и послужить его делу есть дело, на которое стоит направить все свои силы» (40, 340). Как известно, учение Генри Джорджа об отмене собственности на землю и о едином налоге Толстой связывал с теорией непротивления злу насилием. Тем не менее вскоре недоверие Толстого к Кросби уступило место чувству приязни, так как ему стало известно, «что он не только исполнил мой совет и стал энергичным борцом за дело Джорджа, но стал человеком, во всей своей жизни и деятельности преследующим одну и ту же со мною цель» (40, 340). С тех пор простое знакомство Толстого с его американским корреспондентом переросло в дружбу, поддерживаемую регулярной и длительной перепиской.

Вернувшись домой, Кросби стал энергично пропагандировать идеи Толстого и Генри Джорджа, ездил с лекциями по городам США, основал Общество социальных реформ, содействовал изданию в Америке произведений Толстого, сам начал писать о Толстом и его деятельности. В 1896 году Кросби издал в Соединенных Штатах книгу под названием «Жизнеописание Толстого», а в 1897 году — воспоминания «Два дня с графом Толстым». Однако наиболее удачной, по отзывам современников, оказалась его третья книга — «Толстой как школьный учитель».

В ней, выдержавшей несколько изданий, педагоги особенно ценили главу о методах обучения. Писал Кросби и о своем мировоззрении, но, как говорил Толстой, «к сожалению, в стихах» (40, 340). Кроме того, он выступал и против многочисленных сокращений и описок в издающихся в Америке переводах произведений Толстого.

Известны семнадцать писем, написанных Львом Николаевичем Кросби. Темы их были разными. Самое большое из писем Толстого — от 4—12 января 1896 года, в нем изложены основы мировоззрения писателя. Письмо это было написано в ту пору, когда у Толстого уже не оставалось никаких сомнений относительно искреннего характера нравственных исканий Кросби. Об этом свидетельствует и начало письма Толстого, в котором

сказано, что ему радостно знать о деятельности американского последователя и о том, «что деятельность эта начинает обращать на себя внимание» (69, 13). Письмо это, как и затронутые в нем вопросы, большое. Напечатанное в 69-м томе Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, оно занимает почти 10 страниц книжного текста (69, 13—23)<sup>2</sup>. Толстой высказывал здесь свои мысли о том, как надо людям жить правильно, как прилагать законы добра к жизни.

Впрочем, проповедуя всеобъемлющую любовь, размышляя на эту тему, Толстой порою и сам сомневался в непогрешимости своей теории. Так, 13 июня 1894 года он записал в дневнике: «Гуляя в лесу, думал: ...что же такое любовь? Зачем любовь, когда жизнь состоит в этих столкновениях с своими пределами. Столкновение с этими пределами необходимо, и в этих столкновениях игра жизни. При чем тут любовь? Не помню как, но это представление жизни упразднило любовь, делало ее ненужной. И на меня нашло сомнение и уныние. Не выдуманное ли все то, что я думаю и говорю о любви... Но как же питаться, не убивая растений, не давя траву, насекомых, т. е. не нарушая любви. Стало быть, как не увеличивая пределы, в этом мире невысказано осуществление полной любви...» (52, 119—120). Но в письмах к немногим избранным корреспондентам, в числе которых был и Кросби, Толстой, развивая тему любви к людям, о своих сомнениях не упоминал. В письме к Кросби, о котором идет речь, он писал: «Сердце мое спокойно и радостно только тогда, когда я отдаюсь чувству любви к людям, требующему того же» (69, 16).

Да и Эрнест Кросби в своих письмах вопросы о всеобъемлющей любви к людям и о теории непротивления злу насильем глубоко не затрагивал. Судя по его деятельности, о которой он сообщал Толстому, его более интересовала политика, участие в социалистических изданиях. Он заявлял свой протест против империализма и милитаризма. 20 декабря 1905 года Кросби писал Толстому: «Очень сожалею, что наше правительство в Вашингтоне так реакционно: с одной стороны, они строят огромный военный флот, а с другой — готовы установить в столице позорный столб для мужей, избивающих своих жен. Г-н Рузвельт не может измыслить иного способа творить добро, как только грубой силой»<sup>3</sup>. Письмо это, начатое 20 января, было продолжено 23 января следующими словами: «На этом месте меня прервали. С тех пор произошли вчерашние ужасающие события. Кажется невероятным, чтоб солдаты могли стрелять в мирное шествие безоружных людей, своих соотечественников, среди которых были женщины и дети. Надеюсь, что это означает конец самодержавия»<sup>4</sup>. И далее Кросби писал о том, что «весь американский народ и печать сочувствуют революционерам»<sup>5</sup>.

Сам Кросби, как это видно из его писем Толстому, не

только сочувствовал революции в России, но и верил, что она скоро победит. В одном из них он сообщал, что приедет повидаться с ним, «когда в России всё успокоится и она станет более свободной, чем Америка»<sup>6</sup>. Это строки из письма Кросби от 3 апреля 1906 года. Толстой в своем ответе 25 апреля того же года писал ему: «Не откладывайте своего приезда в Россию до окончания нашей революции. Это будет не так скоро. Что касается беспорядков, происходящих сейчас, они только предвещники великой революции» (76, 138).

Как видно из приведенных выдержек, переписка великого писателя и его последователя из США не ограничивалась темой толстовского мировоззрения, которой, по существу, было посвящено лишь одно упомянутое письмо от 4—12-го января 1906 года. Темы всех других писем были, можно сказать, продиктованы реальной жизнью.

Толстой искренне любил Эрнеста Кросби и, пожалуй, не столько за единомыслие, которое вряд ли было полным, сколько за его чуткое улавливание разносторонних явлений общественной жизни и их правильную (для своего времени) оценку, а также за критику всего отрицательного в ней.

Кросби, в свою очередь, преклонялся перед талантом Толстого и очень дорожил дружбой с ним. Его письма в Ясную Поляну очень деликатны, он избегал затруднять Льва Николаевича какими-либо просьбами. Но один раз он все-таки обратился к Толстому — попросил написать предисловие к его брошюре «Шекспир и рабочий класс». Толстой просьбу эту удовлетворил, написав свою известную статью «О Шекспире и о драме», которая была переведена на английский язык и напечатана вместе со статьей Э. Кросби в 1907 году.

Свои письма к Толстому, оберегая время писателя, Кросби часто заканчивал так: «Я не жду ответа на это письмо». Эта же фраза завершает и письмо от 18 июня 1906 года, под которым подписался: «С глубочайшей любовью ваш друг Э. Х. Кросби». А после подписи добавил: «Мне приятно, что Вы называете меня «молодым». Мне пошел уже пятидесятый год!»<sup>7</sup>. Но обещанного приезда Кросби в Ясную Поляну для того, чтобы повидаться еще раз с Толстым, так и не произошло: на пятидесятом году жизни Эрнест Кросби неожиданно скончался. О его смерти Толстого уведомила сестра Кросби — Грэс Эштон. Отвечая на это печальное сообщение, Толстой 12 февраля писал ей: «Ваш брат был для меня гораздо больше, чем обыкновенный знакомый. Он был одним из тех редко встречавшихся мне в жизни людей, с которыми я сразу чувствовал, что могу думать и чувствовать заодно. Но не только это. Я сердечно любил его» (77, 22).

Кроме того, о смерти Кросби сообщили из Нью-Йорка еще Уиден Грехем и Бенедикт Прит. Отвечая на их письма, Толстой указал, что смерть Эрнеста Кросби для него большое горе

и что дружба с ним была очень «редким счастьем» (77, 23).

В письме Бенедикту Приту Лев Николаевич писал: «То же, что Вы о нем говорите, что он никогда ни о ком не сказал дурного слова, является величайшей похвалой, какую можно произнести о человеке» (77, 24).

В заметке «Первое знакомство с Эрнестом Кросби», написанной Толстым в 1907 году, он писал: «Первое мое знакомство было письменное. Он прислал мне из Египта, где он был судьей, довольно большую сумму денег для пострадавших от неурожая. Я ответил на его письмо, и скоро после этого он сам приехал» (40, 339).

Нельзя не пожалеть, что в современной Америке редко вспоминают о таких друзьях великого русского писателя, каким был Эрнест Кросби.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Лит. наследство. Толстой и зарубежный мир., т. 75, кн. I. М., 1965, с. 395.

<sup>2</sup> Будучи впервые опубликованным в 1911 году в «Новом сборнике писем Л. Н. Толстого», письмо это, одновременно с другими тринадцатью письмами, по приговору Московской судебная палаты было из книги изъято и уничтожено.

<sup>3</sup> Лит. наследство. Толстой и зарубежный мир., т. 75, кн. I. М., 1965, с. 398.

<sup>4</sup> Там же, с. 400. Имеются в виду события 9 января в Петербурге.

<sup>5</sup> Там же, с. 405.

... <sup>6</sup> Там же, с. 406.

<sup>7</sup> Там же.



## ПАМЯТИ Э. Е. ЗАЙДЕНШНУР

Советское толстоведение понесло тяжелую утрату. После длительной болезни 27 октября 1985 года скончалась Эвелина Ефимовна Зайденшнур — выдающийся ученый, редкий знаток рукописного наследия Л. Н. Толстого.

Э. Е. Зайденшнур родилась 14 июля 1902 года. Еще в юности, увлекшись творениями Толстого, она в 1924 году оставила последний курс математического факультета Московского университета и перешла на работу в Государственный музей Л. Н. Толстого. Увлечение Толстым стало ее судьбой.

Э. Е. Зайденшнур проработала в музее Л. Н. Толстого свыше шестидесяти лет. За эти годы музей вырос в одно из крупнейших культурно-просветительных и научно-исследовательских учреждений, стал центром советского научного толстоведения. Вместе с музеем росли и его научные кадры, среди которых Э. Е. Зайденшнур вскоре по праву заняла место общепризнанного авторитета. Год от года росли ее знания и талант, работоспособность и трудолюбие, расширялся круг ее научных интересов.

Еще в тридцатых годах, участвуя вместе с крупнейшими учеными в подготовке Полного, 90-томного собрания сочинений Толстого, Э. Е. Зайденшнур решила приняться за гигантский труд — систематизацию и изучение обширного рукописного фонда романа «Война и мир», насчитывающего свыше 5 тысяч разрозненных листов. Целью задуманного было исследовать историю создания романа, а также восстановить все пропуски и ошибки, появившиеся в его тексте при печатании «Войны и мира» на родине писателя и за рубежом. В условиях, когда роман печатался в России и во всем мире по старым изданиям, со многими сотнями грубейших ошибок, этот замысел она считала не только важным литературным делом, но и своим гражданским, патриотическим долгом.

Прошло много лет, и Э. Е. Зайденшнур, выросшая в крупного текстолога и вдумчивого исследователя, блестяще справилась с этой задачей. Зорким глазом исследователя, опираясь на богатейший опыт советской текстологии, изучила — лист

за листом, страницу за страницей, строку за строкой — всю громадную массу черновиков, вариантов, рукописных отрывков, восстановила последовательность создания основных редакций произведения, освободила роман от тысячи с лишним ошибок и искажений, допущенных в течение почти 120 лет разного рода издателями, переписчиками, наборщиками, корректорами. В результате мы обладаем теперь строго выверенным, точным каноническим текстом романа, каким его создал великий Толстой.

Многолетняя исследовательская работа над текстом романа позволила Э. Е. Зайденшнур обобщить свои изыскания в капитальном научном труде: «Война и мир». История великой книги» (1966). где доказано, что «Война и мир» была задумана Толстым вовсе не как дворянская семейная хроника, что утверждалось во многих работах о романе, а как героико-историческая эпопея Отечественной войны 1812 года, в которой в полной мере проявился великий подвиг народа в борьбе за Родину.

Полноценным плодом и продолжением многолетней работы автора над автографами Толстого является и ее последний труд: «Война и мир». Первая завершенная редакция романа», изданный в 1983 году в виде обширного тома «Литературного наследства». Это издание уникально как по своему богатейшему содержанию, так и по научной тщательности, с которой оно выполнено. Благодаря этому научно-текстологическому труду, отнявшему у исследователя не одно десятилетие, история создания «Войны и мира» дополнена многими яркими материалами и наблюдениями, позволяющими с еще большей полнотой раскрыть творческую лабораторию художника.

Перу Э. Е. Зайденшнур принадлежат многочисленные другие талантливые труды. Таковы, например, подготовленные ею (в соавторстве с В. А. Ждановым) два тома переписки И. Е. Репина и Л. Н. Толстого (1949), книга «Толстой — редактор» (1965). Она приняла ближайшее участие в подготовке к печати 90-го тома «Литературного наследства», куда вошли четыре книги «Яснополянских записок» Д. П. Маковицкого (1979).

В сфере научных интересов Э. Е. Зайденшнур были также темы «Портрет Катюши Масловой», «Толстой и фольклор», педагогические взгляды Толстого, его мировые связи и переводы зарубежных классиков, «Толстой и литература для детей», а также богатейшее эпистолярное наследие писателя. Во всех этих и других областях Э. Е. Зайденшнур создала работы, которые отличаются исчерпывающим знанием материала, тонкостью и убедительностью анализа, глубиной проникновения в замысел писателя. Недаром В. Б. Шкловский писал ей в 1982 году, к ее 80-летию:

«...неустанный труд Толстого, его неудовлетворенность, его

требовательность гения имеют великого стража — человека немислимой нагрузки — Эвелину Ефимовну Зайденшнур. Мы приветствуем в ее лице счастье труда, смелости, удачливости. Мы приветствуем хранителя великих слов. Мы приветствуем общее ее и наше счастье. Она одарила человечество многими пластами гордости, требовательности, толстовской жажды превзойти самого себя».

Так же высоко оценивал работу Э. Е. Зайденшнур и академик Д. С. Лихачев. Получив в 1983 году том «Литературного наследства» с публикацией первой завершенной редакции «Войны и мира», он писал Эвелине Ефимовне: «Это выдающееся событие в литературоведении и литературе. Интересно необыкновенно. Громадное Вам спасибо».

Большое значение научным трудам Э. Е. Зайденшнур при-давали К. А. Федин, А. Т. Твардовский, В. Г. Лидин, Б. М. Эйхенбаум, Д. Д. Благой, Н. К. Гудзий, Н. Н. Гусев и другие деятели культуры.

Отдельно следует сказать о музейной деятельности Э. Е. Зайденшнур. Постоянно занятая напряженной научно-исследовательской работой, она находила время для участия во всех сферах деятельности, во всех начинаниях Государственного музея Л. Н. Толстого. Многим памятливы отличные экспозиции и выставки, подготовленные с ее участием, ее интересные лекции, экскурсии, беседы, ее семинары о Толстом для музейных работников, в том числе семинары для молодых писателей, которых она знакомила с тем, как работал великий художник.

Драгоценен и опыт Э. Е. Зайденшнур как наставника молодых архивных работников. Созданный и руководимый ею семинар явился отличной школой подготовки кадров в области толстовской текстологии.

Э. Е. Зайденшнур отличалась высокой требовательностью, но она принадлежала к людям, которым свойственно спрашивать с себя строже, чем с других. В научных же спорах, в отстаивании своих идей эта добрая, сердечная женщина была непреклонна.

Э. Е. Зайденшнур оставила большое и содержательное литературное наследство. По ее завещанию оно поступило в Государственный музей Л. Н. Толстого и стало одним из его драгоценных фондов. Но дороже всего тот заметный след, который она оставила в литературоведении, в науке о Толстом, в советской текстологии. По этим ее трудам будет учиться не одно поколение молодых толстоведов.

Память о нашем друге и соратнике навсегда сохранится в сердцах всех знавших ее.

*Государственный музей Л. Н. Толстого.  
Музей-усадьба «Ясная Поляна».  
Редколлегия «Яснополянского сборника».*

**ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СБОРНИК ● 1988**

Редактор

**А. В. ФЕДОСОВ**

Художественный редактор

**Н. К. ЗАХАРОВ**

Технические редакторы

**С. А. ТИЛЯЕВА, Н. Ф. КЛЕНОВА**

Корректор

**Г. Ф. ШАЛИМОВА**

**ИБ № 1769**

Слано в набор 22.09.87. Подписано в печать 15.07.88. ЦП 00363.  
Формат бум. 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Офсетная № 2. Офсетная печать.  
Журнальная гарнитура. Усл. печ. л. 16+0,5 вкл. Усл. кр.-отт.  
16,75. Уч.-изд. л. 16,32+0,42 вкл. Тираж 10 000 экз. Заказ № 704.  
Изд. № 61. Цена 1 р. 50 к. Приокское книжное издательство,  
300000, г. Тула, Красноармейский пр., д. 27. Тульская типография  
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по  
делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600,  
г. Тула, проспект Ленина, 109

1862 г.  
Сам себя снял.



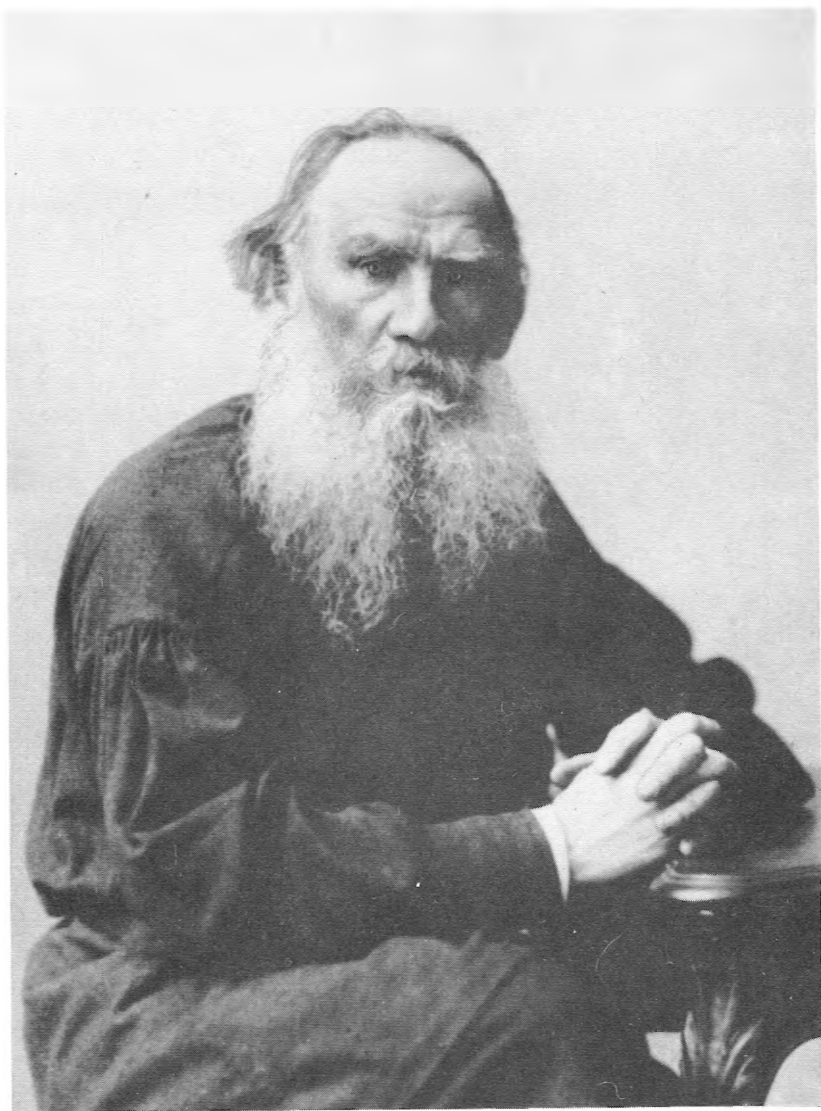
Л. Н.  
Толстой

фотографирован в Ясной Поляне

Л. Н. Толстой, 1862 г. Ясная Поляна. «Сам себя снял».



Л. Н. Толстой, 1892 г. Ясная Поляна.  
Фото фирмы «Шерер, Набгольц и К°».

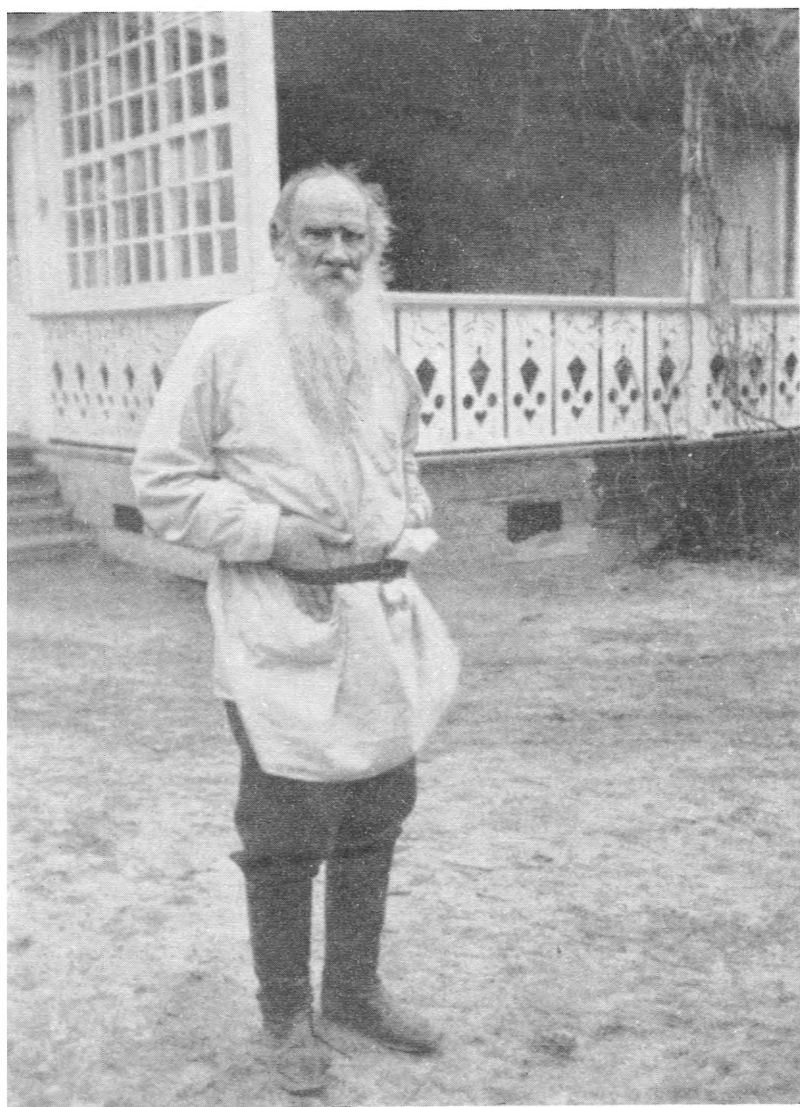


Л. Н. Толстой, 1896 г. Москва.  
Фото фирмы «Шерер, Набгольц и К°».



Л. Н. Толстой, 1908 г. Ясная Поляна. Фото К. К. Буллы.





Л. Н. Толстой, 1908 г. Ясная Поляна. Фото С. А. Баранова.



Л. Н. Толстой, 1909 г. Ясная Поляна. Фото Отто Ренара.



Ф. А. Страхов. 1890-е гг.



Дом, в котором родился Л. Н. Толстой. 1898 г. Село Долгое.  
Фото П. В. Преображенского.



Э. Е. Зайденшнур.



Ясная Поляна. Большой пруд. 1897 г. Фото С. А. Толстой.